

Вилли Бредель

Избранное

ВИЛЛИ БРЕДЕЛЬ

ИЗБРАННОЕ



Содержание

Испытание. Предисловие	3
Арест	16
Допрос	28
Концентрационный лагерь	60
Освобождение	242
Решение	250
Послесловие автора	269
Рассказы	272

Предисловие

Вилли Бредель — известный немецкий писатель нашего столетия, один из зачинателей литературы Германской Демократической Республики — являет редкостный пример единства жизненного и творческого пути. Он родился в Гамбурге, в первый год нового века. Слесарь гамбургских верфей, он уже в 1917 году становится членом союза «Спартак», славной боевой организации немецкого рабочего класса, сыгравшей большую роль в грозные революционные месяцы 1918 года. В дальнейшем Бредель вступает в ряды Коммунистической партии Германии и в 1925 году участвует в Гамбургском восстании, с оружием в руках выступая против немецкого буржуазного государства. За это молодой революционер поплатился двумя годами тюрьмы.

Когда Бредель вышел на волю, для него снова началась трудовая жизнь. То слесарь, то моряк, он все активнее участвует в революционной борьбе. Накопленный им жизненный и политический опыт просится под перо: Бредель пробует силы в гамбургской прессе. Начав с театральных рецензий и газетных заметок, он переходит к работе над произведениями больших масштабов. Приговоренный в 1930 году к двум годам заключения в крепости, Бредель именно там, как он сам потом вспоминал, окончательно утверждает в своем выборе — стать писателем немецкого рабочего класса.

Жертвой усилившихся нацистских преследований оказывается и коммунист Бредель. Уже в 1933 году его бросают в Фульсбютгельский концентрационный лагерь. Через тринадцать месяцев ему удается бежать в Чехословакию, откуда он вскоре попадает в Москву.

Начинается новый этап его жизни, борьбы и писательского труда. В Москве Бредель вместе с другими немецкими писателями редактирует известный антифашистский журнал «Слово» и принимает деятельное участие в жизни нашей страны. С 1937 по 1939 год Бредель — в Испании в качестве одного из военных комиссаров Интернациональных бригад.

Когда нацистские полчища обрушиваются на СССР, Бредель с первых же дней Отечественной войны активно помогает борьбе советского народа за свою свободу и независимость, обращаясь к солдатам гитлеровских армий с призывом повернуть оружие против их подлинных врагов. Как военнослужащий Советской Армии он участвует в боях под Сталинградом. Затем он входит в комитет «Свободная Германия», учрежденный зимой 1943 года для того, чтобы объединить вокруг задач борьбы с гитлеризмом, борьбы за демократическую Германию наиболее сознательных солдат и офицеров из числа военнопленных германского вермахта.

Бредель был среди тех представителей немецкой интеллигенции, которые с первых же дней после победы над нацизмом приступили к заложению основ демократической Германии. Он всемерно помогал восстановлению одного из старейших провинциальных университетов Восточной Германии, был активнейшим участником «Культурбунда» — союза передовой немецкой интеллигенции, сыгравшего видную роль в консолидации ее сил для огромной созидательной работы, которая развернулась в Советской зоне оккупации. Он стал одним из основоположников и авторитетнейших представителей рождающейся новой немецкой литературы XX века — социалистической литературы Германской Демократической Республики. Последние годы его кипучей жизни были до краев заполнены творческой работой писателя, жадно улавливавшего черты нового вокруг себя, создающего ценности для народа и во имя народа. Бредель принимает большое участие и в развитии передовой науки о литературе: он становится вице-президентом Академии искусств ГДР, где руководит секцией по изучению современной немецкой литературы, в частности, литературы демократической Германии.

В 1964 году безвременная смерть скосила Бределя. Он умер в расцвете сил, оставив много незавершенных работ и творческих замыслов.

Это была жизнь, наполненная трудом писателя, проявившего себя во всех жанрах прозы: творческое наследие Бределя составляют романы, повести, новеллы, очерки, рассказы, эссе, сценарии. Это был труженик, делившийся с читателями своим богатейшим опытом, своими раздумьями, надеждами.

Путь Бределя-художника, если не считать его ранних выступлений, начался большим рабочим романом «Машиностроительный завод N и K^o» (1930). То были годы, когда немецкая революционно-пролетарская литература заметно набирала силы. Ее ряды пополнялись за счет левой интеллигенции, под воздействием кризиса и натиска справа переходившей под знамена передового искусства, и особенно за счет молодых писателей из рабочих, принесших в немецкую революционную литературу свои оптимизм, уверенность в правоте и победе дела, за которое они боролись, жизненный и политический опыт человека труда, четкость социальной позиции, народный юмор. Конечно, им предстояло освоить тайны художественного мастерства. Но их участие в укреплявшейся и расширявшейся свои ряды немецкой антиимпериалистической литературе 20-х годов заметно оживляло ее, свидетельствовало о крепнущей связи ее с жизнью. Литература факта, литература жизненного документа нередко еще казалась начинающим писателям — и не без оглядки на опыт молодой советской литературы — средством постижения жизненной правды и

новаторством. К числу таких писателей принадлежал и Бредель. Их установки сказались в его первом произведении.

«Машиностроительный завод N и K», роман пролетарской повседневности — так звучало подлинное название этой книги, в которой в соответствии с общей концепцией автора будни большого капиталистического предприятия в Гамбурге действительно были и материалом, и объектом изображения. Стремясь раскрыть развитие характеров действующих лиц в динамике жизни, Бредель повествует о конкретных социальных конфликтах, фактах классовой борьбы, в которой сталкиваются предприниматель и его прихвостни, с одной стороны, и пробуждающаяся масса рабочих, с другой. На этом фоне вырисовывается роль сознательных и наиболее решительных пролетарских вожаков, борцов за интересы рабочего класса, расплачивающихся тюрьмой за верность своим идеалам. В первой же книге Бределя сказались характерная особенность его творчества: он создал произведение с совершенно конкретной целью — показать, за что и как надо бороться рабочим, как им следует защищать свои интересы против растущего наступления капиталистов. Уже эта книга была своеобразным учебником классовой борьбы в условиях временной стабилизации немецкого буржуазного общества, чреватой тем не менее усиливающимся кризисом.

Произведение это еще во многом публицистическое, но, безусловно, новое по жизненному материалу и по стилю, напоминающему стиль рабочей прессы 20-х годов, полное метких наблюдений, изобилующее свежей лексикой. Когда мы читали эту книгу в начале 30-х годов, уже будучи знакомы с лирикой Бехера и Вайнерта, с драматургией Вольфа, нам казалось, что немецкий рабочий, говоривший в стихах этих поэтов слогом высоким и торжественным, обрел какой-то иной язык, в котором полнее выражен богатый мир его переживаний и надежд. Примечательна и концовка романа: его герои возвращаются из тюрьмы несломленные, готовые к новым классовым битвам. Не тогдашние господа Гамбурга оказываются победителями в финале книги, а истомленные заключением рабочие, только что вырвавшиеся на свободу. Они уверены, что в конечном счете их ждет победа. Замечательна тональность этого первого произведения молодого Бределя, которое послужило как бы эпиграфом к целой серии его пролетарских романов.

Следующие два — «Улица Розенгоф» (1931) и «Параграф в защиту собственности» (1932) — впервые столь серьезно и глубоко вводили в немецкую литературу антифашистскую тему: в обоих романах речь шла о повседневном отпоре растущему натиску нацизма. И эти романы замечательны своей конкретностью, своей четкой направленностью.

Однако общим недостатком ранних произведений Бределя было отсутствие яркой фигуры главного действующего лица. Возможно, это явилось следствием ошибочного представления о том, что литературный герой как «яркая индивидуальность» не нужен пролетарской литературе, что он должен быть заменен героем-коллективом, к чему и стремился Бредель в своих первых трех романах. Таким коллективным героем в них была Коммунистическая партия Германии.

Но вот в 1934 году в Лондоне вышла в свет новая книга писателя — роман «Испытание», и это было поистине замечательное произведение, прочно вошедшее в классический фонд мировой антифашистской литературы, переведенное на многие языки, завоевавшее широкое международное признание.

Конечно, «Испытание» Бределя было великолепным учебником классовой борьбы в конкретных условиях, сложившихся в Германии после прихода к власти нацизма. Эта книга учила, как перенести испытание, выпавшее на долю узников нацистских концлагерей, и остаться верным знамени коммунизма, как выдержать страшный экзамен и, вернувшись в подполье, вновь найти свое место в строю. Не каждому это под силу: одни гнется и становятся на колени, другой предпочитает добровольную смерть и тем самым в конечном счете капитулирует перед врагом. Но самые стойкие, самые дисциплинированные выдерживают испытание ценою невероятного напряжения всех духовных и физических сил. Им помогают в этом и твердое сознание своего долга перед партией и народом, и жгучая ненависть к палачам, терзающим родину, и глубокое убеждение в исторической правоте дела, которому они посвятили свою жизнь. Бредель выражает уверенность в том, что сильных духом, способных выстоять — большинство, что среди узников в полосатых одеждах, подвергающихся пыткам и издевательствам, гораздо больше стойких и смелых людей, чем может показаться на первый взгляд. И в этой вере в человека, которой дышит книга, ее огромная сила. Но, конечно, особое достоинство романа состоит, в том, что из числа непокоренных страдальцев автор выделил отдельные наиболее характерные фигуры и среди них подлинного героя — опытного подпольщика Торстена, морально побеждающего своих палачей, остающегося самим собою, несмотря на все муки и пытки.

Бредель, изведавший ад Фульсбюттеля, сумел сконцентрировать в своем романе страшные впечатления от нацистского концлагеря, не впадая вместе с тем в натурализм. В середине 30-х годов книга его была первым правдивым рассказом о том, что творилось за проволочными ограждениями концлагерей, которые рекламировались нацистской пропагандой, как место «воспитания в национальном духе», где каждый

«получал по заслугам», «освобождался через работу», «учился любить нацистское отечество». Карцер, пытки, издевательства палачей, их посулы — через все прошел, все превозмог Торстен, заслужив право именоваться Человеком в самом высоком смысле слова.

Откуда, же Торстен черпал силы для такого подвига, что поддерживало его в самые страшные минуты? В романе он изображен как обыкновенный человек, автор отнюдь не стремится идеализировать его или поднять над другими людьми посредством какого-либо эффектного литературного хода. Но Торстен — представитель той тельмановской гвардии немецкого рабочего класса, которая, подобно самому Бределю, из года в год закалялась на партийной работе в подполье, на судебных процессах, в тюрьмах и концлагерях. Принадлежность к партии, чувство неразрывной связи с нею, ответственность за свое поведение — все это давало ему силы для того подвига, который, совершали тысячи немецких коммунистов в нацистских застенках. Великое чувство партийности в одних случаях помогала им встретить мученическую смерть героями, а в других — выжить, вернуться в строй и стать строителями новой жизни в очищенной от нацизма Германии. Поэтому роман Бределя был не простым повествованием о пережитом, но и попыткой заглянуть в будущее, в котором и Торстен, и ему подобные еще найдут применение своим силам.

Роман «Испытание» значителен не только образами антифашистов. В нем содержится и глубокий художественный анализ тех типических носителей нравственного вырождения, тупости, подлости, которые были широко представлены среди палачей Фульсбюттеля. И хотя нацистский сброд в целом показан как скопище преступников и негодяев, все же и тут Бредель различает существа, находящиеся на различных ступенях морального падения, полагая, что на отдельных из них еще можно оказать воспитующее воздействие. Эта новая для антифашистской литературы тех лет идея, выражавшая уверенность Бределя в конечной слабости противника, была весьма важна для тактики антифашистской борьбы внутри концлагерей.

Одной из великих идей: книги была идея единства. Известно, как губительно сказалось на развертывании антифашистской борьбы до и после 1933 года отсутствие единства в рядах немецкого рабочего класса, распри, переходившие нередко в кровавые столкновения между коммунистами и социал-демократами. Но теперь за колючей проволокой сидели и коммунисты и социал-демократы, пожилавшие горькую жатву своей разобщенности и вражды. Бредель призывал к совместным действиям во имя будущего Германии, и это был единственно верный путь, подтвержденный в дальнейшем всей практикой антифашистской борьбы, в

которой немецкие коммунисты и социал-демократы не раз стояли плечом к плечу, пока наконец после разгрома нацизма не была создана СЕПГ — Социалистическая единая партия Германии.

Богатая множеством великолепно подмеченных жизненных деталей, ясная в идейном отношении, показывавшая усложнение внутривнутриполитической ситуации в Германии, книга Бределя была крупным достижением в области литературы. Она воспитывала пафосом борьбы, правдивостью, мужеством, психологической достоверностью. Центральный орган ВКП(б), газета «Правда», в редакционной заметке с полным основанием причислил это произведение к литературе социалистического реализма.

Не так удачен оказался последовавший за «Испытанием» роман «Твой неизвестный брат» (1937). Опираясь на личный опыт подпольной работы и на опыт, накопленный партией с 1933 года, когда Бредель был уже в эмиграции, писатель пытался дать картину борьбы антифашистского подполья в первые годы после прихода нацистов к власти. Им владело желание показать силу этого движения, могучие возможности сопротивления, скрытые, как верил Бредель, в различных слоях народа, особенно в рабочем классе, и обреченность нацизма.

Но получилось так, что Бредель, совершенно справедливо не желая, преувеличивать силы врага, как то делали некоторые другие писатели-антифашисты, впал в иную крайность. Он недооценил и коварную тактику нацистских демагогов, и свинцовую силу гитлеровского террора, и настроения упадка и разочарования, ширившиеся даже среди антифашистов по мере того, как все большая полнота власти оказывалась в руках нацистов и все наглее становилась их внешняя политика, а другие капиталистические страны открыто потворствовали этому укреплению нацизма на Европейском континенте, да и за его пределами. В романе «Твой неизвестный брат» Бредель несколько упрощенно решает серьезнейшие проблемы тактики и стратегии антифашистской борьбы, на деле гораздо более сложные, а временами и трагичные. Недооценил он и страшную силу заблуждений, которым поддались в те годы миллионы немцев, впоследствии жестоко за это поплатившиеся.

Но каковы бы ни были недостатки этого романа, и он страстно призывал продолжать и усиливать сопротивление, и он выражал нестигаемую веру писателя в обреченность нацизма, веру в победу над ним. И в этом смысле роман Бределя стоит выше тех произведений антифашистской литературы, в которых звучали усталость, неверие, готовность принять нацизм как омерзительную, но неизбежную форму немецкой государственности.

Недостатки романа «Твой неизвестный брат» были искуплены новым произведением Бределя — «Битва на Эбро» (1939). Эпопея Интернациональных бригад хорошо известна в Советском Союзе. Но Бредель сумел показать боевые будни одного интербригадовского подразделения, раскрыл историю его внутреннего развития. К тому времени, когда Бредель, как и многие немецкие коммунисты, отправился в Испанию, где шла настоящая война с фашизмом, он уже был знаком с произведениями советской литературы, и воздействие Фурманова, Серафимовича, Фадеева чувствуется в романе, что делает его особенно близким и понятным для нас. Собственно, «Битва на Эбро» и не роман, а как бы художественный отчет о деятельности военного комиссара Бределя во вверенной ему части. По существу, это произведение совершенно нового жанра, каких немало появится в годы Отечественной войны в советской литературе. Конечно, репортерское начало, к которому так склонен был молодой Бредель, присутствует и здесь, но оно подчинено мастерству обобщения уже зрелого и опытного художника.

Роман «Битва на Эбро» посвящен операциям в районе испанской реки, за которой переформировывались войска республиканской Испании для дальнейшей неравной битвы, — неравной потому, что против молодых, плохо вооруженных сил республики сражались, кроме профессиональной армии Франко, большая экспедиционная армия Муссолини, оснащенная авиацией и танковыми частями, и сильная группировка немецко-фашистских войск. Бои на Эбро велись долго и были не очень успешны для республиканских войск. Но они тем не менее показали в этом сражении возросшую дисциплину, стойкость, умение выполнять сложные операции, требовавшие четкого взаимодействия. Испытание армии на Эбро, несмотря на неудачи, было выдержано. И потому эта операция исполнила душу верного солдата революции Бределя самых пылких надежд. В своей книге он и повествует, как спланировался, как укреплялся коллектив части, как бойцы разных национальностей, различных политических воззрений, несхожих характеров в конце концов слились в единый человеческий сплав, способный выносить любые испытания. В этом высохши смысл книги Бределя, занимающей особое место среди произведений об испанской войне, созданных немецкими эмигрантами-антифашистами, а затем уже и писателями ГДР.

Близилось время, когда Бредель окажется в бескрайних просторах заволжских степей и будет призывать немецких солдат к почетной сдаче в плен, когда он будет колесить по нашим фронтовым дорогам в составе боевых частей Советской Армии. Но в последние предвоенные годы, наряду с работой над циклом рассказов, он нашел в себе силы взяться за

огромное полотно из истории Германии, истории немецкого рабочего класса: он начал писать трилогию «Родные и знакомые», которую закончил спустя много лет, после краха нацистского рейха. Произведение это по праву можно рассматривать, как один из замечательных образцов социалистического реализма в жанре эпопеи.

Трилогия «Родные и знакомые» писалась с 1941 года по 1953 год. Она состоит из романов: «Отцы» (напечатан в 1943 г.), «Сыновья» (1949) и «Внуки» (1953). Эти три книги охватывают многие десятилетия жизни Германии — от франко-прусской войны 1870–1871 годов и провозглашения империи до конца Третьего рейха и победы над нацистским государством. Трилогия Бределя глубоко своеобразна по композиции: это и история рабочей семьи, трех ее поколений; это и история немецкого рабочего класса, его политического пробуждения и развития.

Надо отметить особую автобиографическую основу трилогии. В известной мере она строится на хронике семьи самого Бределя. Об этом свидетельствует малотиражное «домашнее» издание, подготовленное писателем для друзей, небольшой альбом, «освященный жизни матери Бределя и ее многочисленной семьи. Здесь мы находим снимки старого Гамбурга, фотографии конца прошлого века, на которых мелькают старые гамбургские социал-демократические ферейны, заседающие в своих локалях за кружкой доброго пива, крепкие мужчины в котелках, с сигарками — панаша Бредель и его друзья со своими женами, и среди них миловидная женщина со смелым и прямым взглядом черных глаз, столь схожая с самим писателем: это «родные и знакомые» в молодости, в ту пору, когда сам Вилли, засунув палец в рот, еще цеплялся за мамину юбку. А вот и драматический Гамбург 1918 года, где Вилли — представитель поколения «сыновей» — начнет самостоятельный путь. Около него стареющая фрау мама, милая хранительница семейных традиций. Самый интересный снимок Бределя тех далеких лет запечатлел писателя в берете Интербригады в Испании. Там отстаивал он честь немецкого парода и немецкой коммунистической партии, а мать все ждала его дома, уже годами ничего о нем не зная. Наконец ома Бредель, бабушка, в окружении сыновей и дочек на фоне поколения «внуков», строящих новую Германию. И подле нее ее любимец, совсем седой Вилли, сверкающий темными глазами и улыбающийся своей обаятельной улыбкой.

Конечно, трилогия не во всем следует семейной хронике, но ее сцены и образы оживают, когда листаешь эту книжечку, любовно воссозданную по семейным архивам, и, право, она лучшая иллюстрация к трилогии, лучший к ней комментарий. Три поколения — три огромных полотна: немецкое общество на заре эпохи империализма, его коллизии, вызревание немецкого

рабочего движения и его мучительные противоречия; эпоха борьбы за будущее Германии в годы Веймарской республики и первые годы рейха; вторая мировая война, в результате которой были созданы предпосылки для рождения новой Германии, первого государства немецких трудящихся.

Своеобразно искусство Бределя, умеющего передать дух эпохи, содержание ее конфликтов через изменения в характерах действующих лиц. Противопоставление людей, преданных делу пролетариата, нерешительным обывателям, людям половинчатым, над которыми тяготеет нацистская демагогия, отщепенцам и вырожденкам в нацистской форме и их пособникам, возникает само собою из фактов и событий, поступков и характеров, запоминающихся читателю благодаря мастерству, с которым эти факты и характеры изображены.

Идейное богатство эпопеи Бределя подчинено четко проводимой им мысли о том, что будущее Германии принадлежит немецким трудящимся и их авангарду, что именно они при поддержке верных и надежных друзей, трудящихся всего мира и в первую очередь Советского Союза, смогут заново начать историю своей родины.

Не все удалось в этой эпопее. Писатель сознавал это и настойчиво переделывал многие ее главы. Но несмотря на те или иные недостатки трилогии, в целом она — выдающееся произведение литературы социалистического реализма, написанное в традиции больших горьковских полотен или полотен Мартина Андерсена Нексе.

К трилогии Бределя о немецком рабочем классе примыкает его сценарий двухсерийной кинопоэмы «Эрнст Тельман — сын своего класса» (1953) и «Эрнст Тельман — вождь своего класса» (1955). Каковы бы ни были упреки, высказанные автору по поводу этого сценария, упреки частично справедливые, ничего более возвышенного и яркого о Тельмане в немецкой художественной литературе написано не было.

С последней частью трилогии «Родные и знакомые» и сценарием о Тельмане мы перешагнули уже важнейшую дату в жизни Бределя и его народа и оказались в послевоенном времени, в Германской Демократической Республике.

Бредель любил рассказывать о том, как он помогал строить новую жизнь на родной земле, о том, как в старом университете города Ростока студенты и профессора встретили ректора-коммуниста Бределя, о том, как содействовало ему советское командование в трудах по восстановлению нормальной жизни университета. Пришло время, и Бредель поделился своими воспоминаниями тех лет в романе «Новая глава» (1959), положившем начало новой эпопее («Хроника одного превращения»), в

которой повествуется уже о налаживании мирной жизни и о возведении фундамента Германской Демократической Республики. Увлеченный своей деятельностью, — прежде всего строительством основ социалистического общества в ГДР, — Бредель сумел собрать колоссальный жизненный материал, изобразить десятки людей, немцев и русских, одушевленных общей целью, узнающих друг друга и самих себя по-новому в условиях мирной, созидательной работы. Следует подчеркнуть боевой интернационалистский дух этой книги, стремление ее автора привить немецкому читателю любовь и уважение к советским людям; в искренности этих чувств Бределя мог убедиться каждый из лично знавших писателя и хранящих о нем светлую и благодарную дружескую память.

Бредель был неутомимым искателем нового и в области тематики, и в области жанра. Его наследие составляет весьма заметный вклад в историю немецкого романа нашего столетия и особенно в историю романа ГДР. Вместе с тем велик его вклад и в развитие малых повествовательных жанров — повести, новеллы, рассказа, очерка.

Еще до войны Бредель создал ряд рассказов на исторические темы, связанные главным образом с эпохой Великой французской буржуазной революции и освободительными войнами 1810-х годов. Сам Бредель, выступая перед немецкими студентами МГУ в 1956 году, объяснил появление этой серии рассказов своей давней и прочной симпатией к эпохе французской революции и особым интересом к войнам Наполеона I, к плеяде его современников. Серия рассказов и очерков Бределя, посвященных бурным событиям конца XVIII — начала XIX века, и возникла из его интереса к остроконфликтной, полной противоречий переломной поре мировой истории, к развитию освободительной борьбы в Европе. Из анализа романов Бределя явствует, что он и как романист сохранил это чувство истории, жадный интерес участника великих битв современности к их общему смыслу, некий прирожденный историзм, отличающий в целом его наследие. Бредель был глубоко сознательным наблюдателем и участником истории XX века.

Это глубокое ощущение исторического процесса, ощущение социальных и психологических перемен, стремление постичь их природу очевидно в его рассказах, многие из которых появились уже после того, как была провозглашена ГДР. Таков, например, цикл рассказов, посвященных второй мировой войне. Бредель осмысляет в них страшный опыт солдата вермахта именно как пример исторической судьбы простого немца, ставшего жертвой ложных представлений, всей историей Германии подведенного к чувству неодолимого страха, к ощущению неизбежности катастрофы. Страшный рассказ «Молчащая деревня» — повесть об одичании и

обесчеловечивании как типических чертах Третьего рейха. Наряду с этим в наследии Бределя есть немало юмористических, светлых и забавных страниц, раскрывающих и другую сторону его многогранной личности. Такова книга гамбургских преданий и анекдотов «Под башнями и мачтами», которую сам Бредель называл «историей нашего города в рассказах».

Из большого количества рассказов и новелл Бределя мы помещаем лишь несколько, показывающих его своеобразие как мастера этого жанра. Бредель — продолжатель традиций немецкого рассказа с его обстоятельной изобразительностью и известным элементом дидактики, в данном случае отчетливо политической, напоминающей, что рассказы написаны журналистом, сочетавшим в себе мастера репортажа и опытного агитатора. Это в известной степени «истории», что особенно чувствуется в рассказах «Смерть Зигфрида Альцуфрома» или «Кто же марает свое гнездо?» (в последнем случае характерна даже пословица, взятая в качестве заголовка). Шире и сложнее «Весенняя соната» — фрагмент из романа «Новая глава». Свообразна повествовательная манера Бределя: в любом его рассказе чувствуется личная интонация автора, так или иначе настраивающего читателя, как бы стремящегося вступить с ним в непосредственный разговор.

Неисчерпаемый боевой и политический опыт Бределя отражен в книге очерков «От Эбро до Сталинграда». В ней в полную меру сказался его талант военного журналиста, вооруженного не только наблюдательностью, но и солидными военно-историческими знаниями, которые помогают ему широко осмыслять события войны. Разностороннее участие Бределя в жизни ГДР нашло отражение и в его острых, боевых выступлениях на литературные темы. Такова его книга статей «Семь поэтов». Среди них особое впечатление на нас, советских людей, производит статья о Шолохове, в которой чувствуется подлинная любовь к советской литературе, и статья о Гете и Пушкине — дань мировому значению великого русского поэта. В речи «О задачах литературы и литературной критики» Бредель, опираясь на опыт мировой прогрессивной литературной мысли, выступил как подлинный представитель и поборник социалистического реализма, всем своим творчеством свидетельствующий об исторической закономерности и значении этого метода в литературе нашего столетия.

Одно из самых непосредственных, самых ярких выражений горячей любви Бределя к его социалистической родине — повесть-репортаж «50 дней», напоминающая советские книги эпохи первой пятилетки. Это рассказ о коллективе, который складывается на объекте, являющемся в

нашем понимании ударной стройкой. Надо помнить, что «50 дней» были написаны в начале 50-х годов, когда славная история ГДР только начиналась, когда действительно писалась та ее первая глава, которой был посвящен уже упомянутый нами роман Бределя. Но с какой пламенной верой, с какой любовью вел Бредель свой репортаж с одной из первых социалистических строек ГДР! Какая гордость за новых людей, за граждан молодой республики, формирующихся на глазах Бределя, звучит в этой небольшой книге, каким оптимизмом дышат эти страницы, повествующие о преодолеваемых трудностях, о перестраивающихся душах! Пророческим взором писателя, увлекающего своей верой и пафосом, Бредель видел впереди те великолепные, результаты, которых добилось социалистическое государство немецкого народа потом, во второй половине 50-х годов, в 60-х годах, в наши дни, когда уже нет с немецкой молодежью ее любящего наставника и художника — Вилли Бределя.

Советские люди и их немецкие друзья никогда не забудут Бределя — пролетария-подпольщика, смелого солдата революции, военкома, неутомимого строителя социализма, художника, ставшего у колыбели новой литературы новой демократической Германии.

Р. Самарин

Испытание

Предисловие автора к немецкому изданию

Эта книга, частью набросанная вчерне на бумаге и полностью завершенная мысленно за долгие недели и месяцы одиночного заключения в концлагере, как духовная контрабанда, вместе со мной оказалась на свободе. В Праге оставалось только перенести ее на бумагу, и уже осенью 1934 года в лондонском издательстве «Малик» она увидела свет.

Книга описывает концлагерь в первый год гитлеровского господства. Как известно, гестапо и эсэсовцы систематически совершенствовали технику пыток и убийств. Поход за истребление сторонников мира и свободы, начатый в самой Германии, с помощью новейших средств за десять лет превратился в методическое искоренение народностей и целых наций. Чтобы получить хотя бы приблизительное представление о фабрике уничтожения людей за последние годы нацистского господства, недостаточно даже в десять раз увеличить изображенные здесь факты.

Беспощадная правдивость этих зарисовок вызывала порой отвращение; но я видел свою задачу не в том, чтобы приукрасить или смягчить действительные факты, даже если они являются несмыслаемым позором для культуры нашего народа. Только ради изображения правды, причем правды документальной, выбрал я форму романа.

В предисловиях к предыдущим изданиям этой книги говорится: «Я изобразил то, что сам испытал и увидел. Кое-что я узнал от хорошо знакомых мне и заслуживающих абсолютного доверия товарищей по заключению. В этом романе нет ни одного вымышленного лица. Фамилии эсэсовцев — подлинные, равно как и фамилии штурмфюрера, коменданта лагеря, имперского наместника. Фамилии же заключенных (и некоторые эпизоды их жизни) я изменил».

Почему я изменил имена моих сотоварищей, не требует объяснения, хотя в настоящее время скрывать их нет необходимости. Так, в честном социал-демократе и эстете Фрице Кольтвице, который с первого дня ареста до своей так называемой «добровольной» смерти прошел путь ни с чем не сравнимых страданий, я пытался показать трагическую судьбу д-ра *Сольмица* из Любека, в стойком, презирающем смерть коммунисте Генрихе Торстене — героизм депутата рейхстага *Матиаса Тезена*, который после перенесенных мук первого года просидел в концлагере еще одиннадцать с половиной лет — весь период господства гитлеровской диктатуры — без суда и следствия, и затем, за несколько часов до окончательного краха Третьей империи, был зверски убит наемниками Гиммлера.

Выходившие до сих пор издания этой книги были посвящены антифашистам родного мне Гамбурга; это первое немецкое издание я посвящаю мужественному сыну нашего народа, мученику за свободу и гуманизм: Матиасу Тезену.

**Вилли Бредель,
Шверин, январь 1946 г.**

Арест

Скорый поезд Франкфурт-на-Майне — Гамбург — Альтона подходит к Гамбургу. Начинается новая полоса деятельности человека, который стоит сейчас в проходе вагона и смотрит в окно. Он едет из Берлина, но выбрал не прямой путь, а в объезд, через Ганновер.

Гамбург!

Будет ли и здесь его работе сопутствовать успех? Задача его трудная; нужны выдержка и осторожность. В Хемнице земля горела у него под ногами. Эти четыре месяца работа в Саксонии шла в атмосфере непрерывной травли, под постоянной угрозой предательства. Но партия жива, несмотря на убийства, аресты, издевательства; организация действует; работа продолжается... Правда, пришлось потерпеть ряд неудач. Провокаторы проваливали явки. Иногда их сразу удавалось разоблачить, но бывало, что под маской друзей и соратников они втирались в доверие и на протяжении недель, месяцев подтачивали организацию. Многие товарищи под гнетом жестокого террора теряли мужество и отказывались работать в подполье. Распадались ячейки, срывалась политическая работа. Какого труда, скольких жертв стоило вновь пустить в ход конспиративный аппарат! Но дело налажено...

Так было в Хемнице.

А теперь — Гамбург.

Поезд громыкает по железному мосту через Южную Эльбу.

Человек никогда не был в Гамбурге. И вот теперь он подъезжает к этому городу с радостным любопытством и с чувством какой-то смутной тоски и тревоги. Напрасно он убеждает себя, что в Гамбурге — крупном порту с миллионным населением — легче вести подпольную работу, чем в таком среднем промышленном городе, как Хемниц. И все же в это жаркое августовское утро он никак не может побороть легкой внутренней дрожи...

Мимо мелькают пастбища, небольшие поля, примечательные для Нижней Саксонии, приземистые крестьянские домики с высокими обомшелыми соломенными крышами. А рядом неуклюжие корпуса новых многоэтажных строений. Визг тормозов. Короткий пронзительный свисток. Поезд резко сбавляет ход. Вильгельмсбург.

Пассажиры зашевелились. Одни стаскивают с полок свои чемоданы и перекидывают через руку пальто, другие теснятся у окон — видна гавань.

Двумя далеко уходящими рядами лежат бок о бок океанские пароходы,

спящие чудовища, прикованные к черным сваям стальными тросами. Возле них покачиваются баркасы и небольшие буксиры. Рабочий день уже начался, а многочисленные складские помещения безлюдны; огромные краны, прислонившись к гранитной набережной, недвижно уставились в сверкающее небо. Людей почти не видно. Работают только на судах, пришвартованных у самой пристани.

— Разве в Гамбурге сегодня праздник? — простодушно спрашивает кто-то из пассажиров у окна.

— С тех пор как кризис, в Гамбурге что ни день, то праздник, — отвечает пожилой человек.

Раздается смех.

— Однако положение уже существенно улучшилось, — вмешивается в разговор бледный господин в пенсне и гамашах. — Кто следит за газетами, тому это совершенно ясно. Вот, например, еще несколько месяцев назад тоннаж судов, стоявших в Гамбургском порту, составлял семьсот тысяч тонн, а сейчас — всего четыреста.

— Так ведь то по газетам, а вы поглядите-ка на порт!

— Да, милостивый государь, однако я прошу вас не забывать, что о таких вещах можно судить лишь на основании статистических данных, но отнюдь не на глаз.

На целые километры тянутся правильные ряды, открытых и закрытых складов, лес кранов, сеть рельсов, по которым грузы подвозятся прямо к судам; океанские пароходы, кажущиеся непомерно огромными, поскольку на них замерла жизнь; верфи с высокими эллингами и мощными доками, как все же величествен этот порт, даже заброшенный и безмолвный!

Остались позади мост, рабочее предместье, сортировочная станция, газометр, спортивные площадки. В вагоне торопливые сборы, суета. Самые нетерпеливые уже пробрались к выходу. Но вокзала еще не видно.

Виадук... а под ним переливаются на солнце зеленые, красные, золотисто-желтые, синие краски: овощной и фруктовый базар.

Рядом высятся странные дома-великаны. Один похож на огромный океанский пароход: выпуклые фронтоны с плоской, как палуба, надстройкой выступают далеко вперед наподобие корабельного носа. Другой, как огромный сверкающий кристалл, брошен среди неубранных обломков разрушенного старого города. Здесь должен был возникнуть новый гамбургский Сити, но кризис перечеркнул весь план.

Вот и центральный вокзал. Приезжий входит в купе. Ему незачем торопиться: он выйдет дальше, на остановке Даммторбанхоф.

Суета и давка, кого-то зовут, кому-то машут, приветствия, поцелуи... Обливаясь потом, проталкиваются через толпу нагруженные чемоданами носильщики. Выкрикивая, бегут вдоль поезда газетчики с тележками. В толпе пассажиров снуют штурмовики и железнодорожные полицейские.

Огромные своды вокзала наполнены пыхтеньем и шипеньем паровоза. Поезд стоит шесть минут.

Странно! Не успел незнакомец очутиться в Гамбурге, как Тревога вдруг исчезла, снова вернулись бодрость духа и вера в свои силы.

«К черту! — подумал он. — Гамбург — великолепное поле деятельности. Недаром же гамбургские рабочие славятся своими революционными традициями».

Альстер!

Незнакомец беззвучно повторяет — он запомнил наизусть: «Без десяти три, пристань Альстер на Юнгфернштиге. Оттуда на пароходе «Сибилла» в Мюленкамп. Выйти на пристань».

В проходе стоят еще два пассажира.

— Виноват, — обращается он к одному, — не скажете ли, как пройти на Юнгфернштиг?

— Охотно. Да вот прямо против нас — по аллее вдоль Альстера.

— Благодарю!

Он видит белые парходики. Значит, это и есть та пристань на Юнгфернштиге, где ему нужно быть.

Что за город! Эти чудесные башни! Эти огромные торговые здания! Эта величественная гавань с ее морскими гигантами! Это озеро посреди города с белыми парходиками! Гамбург!

Когда-нибудь это будет принадлежать нам, народу. В торговых зданиях будут работать вожаки планового социалистического хозяйства Германии. Порт станет перевалочным пунктом страны. Суда не будут в бездействии покрываться ржавчиной, а повезут во все края света продукцию социалистической промышленности...

Все будет принадлежать нам. В прекрасных виллах, в парках на берегу озера будут отдыхать инвалиды труда и беззаботно расти дети пролетариата.

Наци украли у рабочих обществ последние парусные и гребные лодки. Ничего! Когда-нибудь все лодки: и гребные, и парусные, и моторные — будут наши. Они отняли у рабочих профсоюзные учреждения и рабочие клубы. Но наступит время, когда прекраснейшие здания будут вновь

отданы под рабочие клубы. Они затоптали в грязь рабочие знамена и сожгли их. Однако придет день, когда над крышами всех этих домов, на всех мачтах взвьются красные флаги.

Приезжий покидает вокзал. Свой багаж он сдал на хранение. Без десяти одиннадцать; у него в запасе еще несколько часов, и он решает побывать на Репербан в портовом рабочем квартале С.-Паули. Путь к нему пролегает по аллее между Ботаническим садом и Зоопарком.

Глухо доносится шум большого города. Под сенью старых лип жаркий августовский день не так удушлив. От Ботанического сада веет свежестью и прохладой.

...Самое главное — восстановить связь с большими заводами. И прежде всего — с «Бломом и Фосом» и верфью «Вулкан». Потом — с портовыми и транспортными рабочими, с рабочими государственных предприятий. Говорят, на некоторых заводах работа опять ведется: на фабрике металлоизделий «Менк и Гамброк» в Альтоне, на предприятиях Кальмона в Бармбеке, у Ремтсма в Баренфельде... Интересно, много ли еще выходит заводских газет?.. Сохранилась ли связь между отдельными частями города?.. Должно быть, аппарат связи сильно пострадал от массовых арестов. Ведь в один только день арестовано триста лучших активистов. Тяжелый удар. Надо снова подбирать кадры, работать с новыми, неопытными товарищами. Адский труд! Но это должно быть сделано...

«А если и меня арестуют?.. Тогда меня заменит другой!»

Дорога идет мимо старого кладбища. Могильные памятники почернели и кое-где покрылись мхом, подписей не разобрать; могилы в полном запустении.

Вдруг человек остановился. Перед ним громадное, обнесенное высокой стеной красное здание. Тюрьма, прямо против кладбища, в центре города. Должно быть, дом предварительного заключения...

Он прислоняется к кладбищенской ограде и смотрит на бесчисленные зарешеченные окна.

Быть может, за каждой такой решеткой сидят товарищи. Одни живут лишь надеждой на революцию, другие уже глядят в глаза верной смерти... Ведь в Гамбурге и в домах предварительного заключения бывают случаи казни.

Безмолвно мрачное здание, за стенами, за решетками которого бьются тысячи пылающих сердец, тысячи мужчин и женщин ждут часа избавления...

Мимо идет рабочий. Не поднимая поникшей головы, он украдкой

бросает взгляд на тюремные окна.

Улица, которую приезжий покидает теперь такими торопливыми шагами, называется Кладбищенской.

Люди столпились у галереи, чтобы под ее прохладными сводами укрыться от беспощадного солнца. Тщедушный, потный человек, Готфрид Мизике — владелец мужского конфекциона — бежит вприпрыжку мимо прохожих, нервно шарит правой рукой в кармане брюк, кривляется и хихикает. Кто смотрит на него с насмешкой, кто — с презрением. Мизике счастлив, даже более того, он готов обнять весь мир. Какая удача! Он сам себе не верит, что у него в кармане такой заказ. Невероятно! Два года кряду, сезон за сезоном он бился над ним; безнадежно замороженный, пропащий капитал. И вдруг... Нет, вот подвезло, так подвезло — наличными денежками, чистоганом... В такое время... При таком застое! Мизике, Мизике! Единый, вездесущий и всемогущий бог тебя не оставил! Этот барончик, с такой тупой рожей, весь в шрамах — прекрасный малый! Восемнадцать коробок паршивых галстуков зараз ему сплавил. Да что я говорю — сплавил! Не сплавил, а продал, неслыханно выгодно продал! И только потому, что этот, — ну, как его там?.. Мизике вдруг останавливается, вытаскивает торчащий из кармана сюртука модный журнал, быстро перелистывает его и смотрит благодарным, умиленным взглядом на портрет лысого мужчины. Барон фон Кальдунг-Оленхаузен! Милейший человек! Мизике совсем расчувствовался. Восемнадцать коробок, сто восемь дюжин. Почти тысяча четыреста марок. При таком застое! Немыслимо! Мизике захлебывается от избытка счастья.

Он не замечает летнего дня, как и не видит оглядывающихся на него прохожих. Он не чувствует также изнуряющего зноя, от которого весь покрылся испариной и который еще так недавно проклинал.

Мизике выходит из галереи. Перед ним сверкает маленькое Альстерское озеро и пестреет на солнце яркими женскими платьями зеленая аллея Юнгфернштига. И на все это он смотрит какими-то невидящими глазами.

...Тысяча четыреста марок. Это вам не пустяк! По теперешним временам целое состояние. Эти галстуки, вышедшие из моды уже в прошлом сезоне, могли с успехом проваляться еще несколько сезонов. Мизике снова с благодарностью вспоминает барона. И что это ему вздумалось ввести опять в моду крупные горохи, большие клетки и широкие полоски! Так кстати! Конечно, он только подставное лицо, за которым скрываются какие-нибудь фабриканты: миллионер Бендикс или даже спекулянт Алерзон. Теперь бы еще вернулась пора шелковых кашне на смену этим шелковым косыночкам, которые не выходят из моды уже целую вечность...

— Ах, пардон, сударыня! — И про себя: «У, корова! Не видит, куда прет!»

Пожилая дама, которую замечтавшийся Мизике с силой толкнул в бок, ничего не ответила, но, немного отойдя, обернулась и прошипела:

— Нахальный еврей!

«Теперь-то уж Бринкман заткнется, — продолжает Мизике разговаривать сам с собою, — от его причитаний просто тошнит!» И он представляет себе грузного мужчину, его большие, пухлые руки с толстыми, как сосиски, пальцами. «Ну когда же вы вернете мои деньги?..» Такой гвалт из-за каких-то несчастных трехсот шестидесяти марок. Он прямо глаза вытаращит, когда я ему денежки на стол выложу. «Ну, вот вам ваши деньги... дорогой мой!»

И Мизике заранее предвкушает торжество добропорядочного должника. «Вот удивится-то! Впрочем, если поначалу дать и половину, он не меньше обрадуется».

Мизике торопливо бежит мимо сверкающего белизной павильона, мимо искусственных пальм и пахучих кустов можжевельника. Там, за нарядными, покрытыми белыми скатертями столиками благодушествует элегантный гамбургский полусвет. В другое время Мизике остановился бы на минутку-другую и прислушался к звукам капеллы. Сегодня же его ничто не интересует.

И вдруг новая мысль, которая почти пугает его: только бы она ничего не узнала. Хорошо, что он вовремя вспомнил, а то бы еще и проболтался на радостях. И тогда ей понадобилось бы и новое осеннее пальто, и шляпка, и туфли. В таких случаях вдруг сразу все нужно, и деньги исчезают, как дым... Да, хорошо, что он вовремя вспомнил. Конечно, придется притворяться, скрывать радость, делать по-прежнему озабоченное лицо и, может быть, даже иногда тяжело вздыхать...

Мизике присоединяется к толпе, ожидающей пароход, который, сделав широкий разворот, направляется сюда от Ломбардского моста. Рядом с ним стоит рослый мужчина и, любуясь, смотрит на раскинувшуюся перед ним панораму изумленными и пытливыми глазами приезжего. Мизике питает слабость к рослым и крепким людям. Он внимательно осматривает соседа и уже знает, что непременно заговорит с ним. Незнакомец в самом деле статный мужчина. Он хорошо сложен. Под светлой шляпой густые с проседью волосы. Крупный нос и большой энергичный рот придают лицу особую характерность. Гладкая кожа покрыта густой сетью тонких морщинок возле глаз и в уголках рта. Мизике дал бы ему лет тридцать пять; по всей вероятности, он управляющий или доверенный торговой фирмы.

Незнакомец переводит взгляд на стройную церковную башню с позеленевшим медным шпилем. На мгновение их глаза встречаются, и Мизике спешит этим воспользоваться.

— Добрый день! Вы, должно быть, не здешний?

— Добрый день! Какая прекрасная погода!

Но этот уклончивый ответ только подогревает желание Мизике продолжать уже начатый разговор. И когда незнакомец снова поворачивается к залитой солнцем башне, он тоже смотрит в ту сторону и поясняет:

— Петрикирхе.

Незнакомец благодарит кивком головы.

— Готический стиль. Северная, так называемая кирпичная готика. Наполеону эта церковь служила конюшней. А потом она сгорела. Знаете, во время большого гамбургского пожара. Теперь она восстановлена. Точь-в-точь по оригиналу.

— Да, действительно чудесная церковь.

— А вот другая, рядом, — Якобикирхе. Эта уж совсем старая, древняя.

К пристани причаливает белый плоскодонный парходик. На носу надпись: «Сибилла». Пронзительный гудок, вихрем кружится взбитая винтом пенная вода. Пассажиры спешат к сходням. Матрос, спрыгнув на берег, закрепляет канат и кричит:

— Юнгфернштиг! Конечная станция!

Мизике не отстает от незнакомца, хотя не может не заметить, что тот меньше всего заинтересован знакомством с ним. Человек спокойно направляется к задней палубе пархода — и очень удивлен, когда, закрывая выходящую на палубу дверь каюты, видит, что Мизике идет за ним.

— Здесь, по крайней мере, прохладно, — говорит несколько смущенный Мизике.

Другие пассажиры — молоденькая, пышущая здоровьем девушка и женщина с двумя ребятишками — мальчиком и девочкой — рассаживаются на полукруглой скамье у борта пархода. Мальчуган лет восьми то и дело пристает к матери с вопросами. Девушка вынимает из маленького чемоданчика аккуратно обернутую в бумагу книгу.

Мизике хочет продолжать разговор, но не знает, с чего начать. Говорить о пустяках неловко.

Бьют склянки. Матрос сбрасывает с причальной тумбы канат. Раздается

гудок, машина начинает работать, и пароход медленно отваливает от пристани.

Незнакомец стоит, прислонившись спиной к двери каюты, и смотрит на исчезающую из виду аллею вдоль Альстера. И чем дальше от берега, тем отчетливее становятся очертания башен, тем величественнее высятся они над городом.

— Великолепны эти бесчисленные старые башни!

Восклицание обращено к Мизике. Тот жадно подхватывает:

— Здорово! Да? — и радуется, как ребенок, у которого похвалили игрушку. — Вот эта, украшенная витиеватым орнаментом, — башня ратуши. А за ней — башня церкви святого Николая. Мрачная, угрюмая, не правда ли? Как-то не вписывается, совсем даже не вписывается в общую картину нашего города. А та, подалее, — церковь святой Катарины. Хороша? Взгляните, как блестит и сверкает ее шпиль. Ведь купол — золотой, чистое золото из сокровищ Штертебеккера¹. Очень старая, совсем древняя старушка.

Мизике говорит с растущим воодушевлением. Его слушает уже не только один незнакомец, но и дети, которые уставились на него с полуоткрытыми ртами. Даже девушка с любопытством поглядывает на него из-за книги.

— А посмотрите туда, подалее, вправо, — это наш Михель!

— Ах да, знаменитый Михель!.. Ну, а вот те здания, это что, все конторы?

— Конторы и гостиницы. Вон там — правление пароходного общества «Гамбург — Америка». Ничего себе ящичек. Вы не находите? А на противоположном берегу — гостиница «Четыре времени года». Остальное — сплошь конторы, банки, магазины.

Пароход приближается к Ломбардскому мосту. На понтоне стоят дородная женщина в кричащем светлом костюме и несколько мужчин. Приезжий всматривается в новых пассажиров, вынимает из бокового кармана небольшую зеленую тетрадь, небрежно перелистывает ее и оставляет в правой руке.

Пароход проезжает под мостом. Мизике зовет незнакомца к краю палубы, предлагая посмотреть на общую панораму раскинувшегося перед ними Альстера.

¹ Морской разбойник, живший в конце XIV в.

— Благодарю вас, я уже видел из окна поезда.

«Вот как! — сообщает Мизике. — Значит, он из Киля. Возможно, и из более дальних мест: из Копенгагена или даже Скандинавии». Мизике интересуется.

— Нет, я совсем из других краев, но проехал до Даммтора!

— Ах, вот это вы хорошо сделали! — радуется Мизике. — Все, кто приезжает сюда в первый раз, должны ехать до Даммтора. Тогда сразу виден весь Альстер, и скверы Даммтора, Ботанический сад, Зоопарк оказывают вам радушный прием.

Массивный каменный мост становится все меньше и меньше. Над ним и над уходящими вдаль домами поднимаются к небу высокие башни. Искрящийся на солнце Альстер заключен, как в раму, в зеленое кольцо старых лип и каштанов. Тихо покачиваются на воде нарядные шлюпки, ждут ветра белоснежные парусники, стремительно несутся мимо стройные гоночные яхты. По обоим берегам раскинулись ухоженные парки. Серебристая зелень плакучих ив смешивается с темной синеватой хвоей пышно разросшейся пихты. Рядом с узловатым, причудливой формы дубом отливающая металлическим блеском крона лесного бука и тяжелая листва каштанов. Сквозь гущу листвы проглядывают белые, желтые, голубовато-серые фасады вилл. Порою над макушками деревьев возвышаются вычурные фронтоны и башни расположившихся в этих парках господских домов.

Мизике наконец умолкает и с наслаждением вдыхает ароматный воздух, принесенный с моря легким бризом; радуется лебедям, безмятежно скользящим рядом с пароходом. Он чувствует, что окружающая красота действует и на приезжего, и счастлив вдвойне.

— Мапочка, мапочка, смотри, вон штурмовики в стальных шлемах!

— Вижу, мой мальчик, это часовые.

— А зачем там часовые?

— Это дом имперского наместника, его они и охраняют.

Стало быть, там, на пригорке за высокими дубами, вила наместника центрального правительства. Недурное местечко. И незнакомец долго, задумчиво смотрит в ту сторону.

Постепенно русло Альстера суживается, берега сближаются. Еще несколько сот метров — и Альстер, минуя красный кирпичный мост, превращается в небольшую благодатную речку, чинно пересекающую Уленхорст.

Городской центр с его бесчисленными башнями маячит в туманной дали. Пароход направляется к знаменитому Уленхорстскому поплавку — месту отдыха владельцев альстерских вилл.

Впервые приезжий бросает внимательный взгляд на палубу и испытующе разглядывает пассажиров.

У Мизике уже истощились все темы для разговора, и он снова вспоминает о трех коробках залежавшихся шелковых кашне. Уж не разослать ли завтра письменные предложения?.

— Что Мюленкамп — следующая станция?

— Нет, через одну, — говорит Мизике, вновь придвигаясь к незнакомцу. — Да ведь я тоже выхожу в Мюленкампе. Вам в какую сторону?

Приезжий замялся:

— Мне... Мне надо к городскому саду.

— Ну, мне, к сожалению, в противоположную сторону.

«Чудак!» — думает приезжий и смотрит на Мизике внимательнее.

Маленькое скуластое лицо, круто выступающий вперед лоб, кустистые брови, большие, обведенные темной тенью круглые глаза. Сова, да и только! Плоское лицо, короткий широкий нос и сжатые сухие губы усиливают это сходство. Однако он не кажется злым: глаза его глядят тепло и человечно. Костюм сильно поношен. Рукава черного пиджака лоснятся на локтях. Полосатые брюки висят, как водосточные трубы. На голове небрежно нахлобученная, потерявшая форму серовато-зеленая шляпа.

Мизике чувствует на себе взгляд незнакомца, и ему хочется отвлечь его внимание.

— Скажите, вы долго пробудете в Гамбурге?

— Нет, не думаю!

— Да, конечно, городской парк стоит посмотреть. Но не забудьте самого главного: гавань, зверинец Гагенбека и Ольсдорфское кладбище.

— Если успею.

— Ну, что вы! Раз вы уже здесь... — Мизике даже сердится. — Это оскорбление для Гамбурга. Вот так только проехаться разок, глянуть туда, сюда, и — обратно? Для этого, знаете ли, не стоит ехать в Гамбург!

Незнакомец улыбается:

— Поверьте, я сделаю все, от меня зависящее.

— Да ведь я это так... не в укор вам.

— Конечно, конечно!

Пароход идет по боковому рукаву Альстера, под каменными сводами моста, мимо садов, дач, мимо лодочных пристаней и поворачивает прямо к началу оживленной улицы — Мюленкамп.

Незнакомец вдруг заторопился. Он приподнимает шляпу, кивает Мизике, поспешно протискивается между пассажирами и быстро взбегает по ступенькам.

Мизике смотрит ему вслед и медленно бредет в противоположную сторону. Он почти огорчен тем, что так скоро пришлось расстаться с новым знакомым. Но вскоре мысли Мизике снова заняты делом. Теперь только бы не выдать себя, надо сделать озабоченное лицо. Он знает, что трудно будет скрыть свою радость, но ничего не поделаешь. Слишком дорого придется расплачиваться за откровенность, правдивость и супружескую честность. Ну, а что касается Бринкмана, так тот будет доволен, если получит сто марок в счет старого долга. Только не заноситься!..

Мизике хочет войти в подъезд дома, где он живет, как кто-то его останавливает:

— Вы арестованы, следуйте за мной!

— Что вам угодно?

Мизике не испуган, он просто удивлен.

— Следуйте за мной — и как можно незаметнее.

— В чем дело? Кто вы такой?

Вместо ответа человек, загородивший ему вход в дом, поднимает руку. В ней сверкает металл.

— Вы агент уголовного розыска?

— Да!

— Что вам от меня надо?

— Об этом вы узнаете в отделении.

— Но это ни на что не похоже! Меня ждет жена... Вы увидите, что это ошибка, простая ошибка!

Мизике идет сердитый, ничего не понимая. Он быстро восстанавливает в памяти свои последние сделки, но при всем желании не может вспомнить ничего неблагоприятного. «Уж не донесла ли на меня старуха, которую я толкнул возле галереи?.. Нет, этого не может быть...»

Приезжий не знает местности, но идет по улице быстрым уверенным шагом, не оглядываясь. Это голая, унылая, без единого деревца улица, по обеим сторонам которой тянутся дома с многочисленными балконами. Здесь, на расстоянии менее ста шагов от Альстера, от вилл и садов — однообразный серый камень, удушливая жара, тошнотворная вонь консервной фабрики.

— Франц!

К нему подходит человек.

— Иозеф! — отвечает он тихо.

Они здороваются, пожимают друг другу руки и идут дальше вместе.

— Как дела?

— Ни к черту!

— Ты на какой станции сел?

— У Ломбардского моста. Я тебя сразу увидел.

— С тобой еще вошло несколько человек...

— Ерунда!

Приезжий прячет в боковой карман зеленую тетрадь, которую до сих пор держал в руке.

— Так ты думаешь, все в порядке?

— Ну, ясно!

— А здесь у вас как?

— Сейчас ужасная неразбериха! Все связи порваны.

— Много провалов?

— Почти весь областной комитет, чуть ли не все районное руководство и инструктора.

— Чудовищное безобразие!

— А что слышно в Берлине?

— Об этом после.

Дойдя до конца Мюленкампа, они хотят перейти через площадь, но три человека преграждают им путь.

— Руки из карманов! Вы арестованы!

Все трое с револьверами в руках.

Приезжий медленно, очень медленно поворачивает голову в сторону своего спутника. Тот стоит бледный как полотно и смотрит на него широко открытыми глазами.

— При попытке к бегству — будем стрелять!

Они молча повинуются.

Допрос

Тихо и скромно струится Альстер по дугам и лесам Гамбургской области мимо Поппенбюттеля, Фульсбюттеля и Альстердорфа, чтобы затем вдруг неожиданно разлиться широким озером посреди большого многолюдного города. После Юнгфернштига, обузданный шлюзами, он снова суживается. И теперь, узкий и незаметный, грязный и ленивый, пересекает деловые кварталы городского центра. Его чернильные воды замкнуты меж голых ответных берегов, которые образуют здесь покрытые илом фундаменты современных многоэтажных торговых зданий. Отсюда по всему центру расходятся бесчисленные узкие каналы.

Недалеко от впадения в Эльбу Альстер протекает между двумя огромными, совершенно непохожими друг на друга по архитектуре гранитными строениями. И тут картина резко меняется. Исчезают высокие голые стены банков, контор и магазинов. В темные воды глядятся низкие, покосившиеся от старости склады с пустыми глазницами окон, ржавыми кранами и лебедками, с остроконечными черепичными крышами. Они тянутся здесь длинной вереницей, поддерживая друг друга.

Давно уже гамбургские купцы переселились из этих пор в высокие, светлые, просторные здания. Ветхие прадедовские склады, подпираемые по мере надобности громадными балками, постепенно рушатся. Зияют огромными дырами разрушавшиеся в течение сотен лет и осыпавшиеся в воду стены, вырваны оконные рамы и двери, свешиваются с крыш оторванные желоба, разваливаются печные трубы. И несмотря на это, в большинстве дряхлых, сморщенных, растрепанных ветром и непогодой домишек продолжается жизнь. В покосившихся оконцах мерцает по вечерам тусклый свет керосиновой лампы. За устало сторбившимися, ветхими стенами, под осевшими крышами все еще живут люди.

Два высоких гранитных здания по обе стороны Альстера стоят на границе старого и нового города. Они отделяют город биржи, ратуши, церквей, банков, магазинов и павильонов, город широких улиц и аллей — от города узких, темных и грязных улочек с затхлыми, пропитанными миазмами домами, город богатства и ликующего разврата — от города

нужды и печальных пороков. Гранитные здания — это новая и старая ратуши, резиденция гамбургской полиции.

Когда-то хватало одного старого надменного великана из серого гранита. Но росла торговля Гамбурга. Рос рабочий класс, росла его мощь. Должен был разрастись и полицейский-президиум. И вот на противоположном берегу Альстера появилось еще одно громадное серое здание. Их соединили друг с другом высоким крытым мостом, который получил название «Моста вздохов».

В одной, из многочисленных подвальных камер старом ратуши сидит Готфрид Мизике, один-одинешенек. Раннее утро. Его привезли сюда с первым транспортом. Семерых арестованных разместили в одиночных камерах.

Мизике все еще не может прийти в себя. Всю ночь он провел без сна в подвале полицейского участка на Гумбольдштрассе. Еще вечером должен был прийти за ним конвой. Он напрасно прождал его четырнадцать часов, изнывая от нетерпения. Деревянные нары были так омерзительно грязны, что он не решился лечь. Закутавшись в одеяло, которое бросил ему полицейский, он до утра проходил взад и вперед по камере, мучительно ломая голову над тем, что могло послужить поводом к его аресту. Снова восстанавливал в памяти свои сделки за последние месяцы и снова находил, что они безупречны. Он никому не должен, кроме Бринкмана, которому собирался уплатить в ближайшее время. Наверное, кто-нибудь донес на него. А может, его арестовали только потому, что он еврей?

Мизике думает о Белле, своей жене, и буквально чувствует, как она тревожится за него. Нехорошо. Но есть еще кое-что похуже: необходимо отправить эти восемнадцать коробок с галстуками. Ведь иначе дело провалится. Потом уж не наладишь. И откуда это свалилось на него? В чем он провинился? В эту долгую, мучительную ночь ему хотелось кричать, бесноваться, рычать, но он только время от времени прерывал свое бессмысленное хождение и в отчаянии беспомощно прижимался головой к толстой двери, чтобы как-то утишить боль. Скорее бы утро! Утром все выяснится, не может не выясниться...

Утром за ним пришли, но с тем, чтобы доставить в «зеленом Августе»² в ратушу.

И вот он сидит сейчас в подвале и ждет. Он уверен, что ждать уже недолго, скоро все выяснится. Скоро его освободят.

² Автомобиль для перевозки арестованных.

Поначалу Мизике присаживается на одну из скамеек, стоящих вдоль стен, и, как загипнотизированный, смотрит на дверь. Вот придут и освободят. Но никто не идет. Слышны лишь шаркающие шаги дежурного надзирателя.

Затем он начинает осторожно осматриваться. Большая комната, в которой нет ничего, кроме скамей. Выпачканные, исцарапанные стены вызывают у него чувство омерзения. Он боязливо поднимает глаза и видит выведенные каракулями гнусные надписи, какие часто попадаются в общественных уборных. Тут же свастики, пятиконечные звезды и политические лозунги. От одного вида этих стен у него появляется чисто физическое отвращение.

Но вот шум в коридоре. Топот, слова команды. Мизике прислушивается. Называют фамилии. Он подкрадывается к двери, дрожит от волнения и чувствует себя преступником. Но он должен подслушивать, может, произнесут и его фамилию. После каждого вызова слышно: «Здесь!»

Есть и женщины. Должно быть, новые арестанты.

Вдруг в замке поворачивается ключ. Мизике в ужасе отскакивает. Входят два... четыре... пять человек. Они не обращают на него никакого внимания. Четверо молодых, пятый пожилой, с лишенным растительности и покрытым шрамами угрюмым лицом. Один из них швыряет шапку на скамью: «Скверное дело!» Двое начинают бесцельно ходить по камере. Старик осматривает стены.

— Если эта собака не будет брехать, то сойдет. У меня бумажки в порядке, мое алиби доказано...

— Да, если! — язвит другой.

— Ну, ладно! Я ему покажу! Он меня еще вспомнит! Будет каяться, да поздно. Никакой пощады! Теперь уж я с ним разделаюсь.

— Предать! А еще друг закадычный! Такое дельце вместе обделали! Да, да, сейчас ни на кого нельзя полагаться!

Мизике смотрит и удивляется: детское, неиспорченное лицо — и такая расхлябанная походка, грубая речь.

— Ты на что рассчитываешь?

— Рассчитываешь, рассчитываешь! Ни на что не рассчитываю. Плевать мне на все!

Против Мизике сидит коренастый рабочий в широких вельветовых брюках. Он облокотился на колени, сжал голову руками и уставился в одну точку.

Немного погодя прибывают еще заключенные: сначала трое, а затем сразу девять человек. Шум, оживление. Мизике по-прежнему сидит на своем месте, рассматривает вновь прибывших, вслушивается, удивляется. Среди арестованных много совсем молодых. Некоторые из них ведут себя развязно, беззаботно хохочут, подтрунивают друг над другом, влезают на стульчак и смотрят в окно. Кто-то подходит к двери и начинает барабанить в нее кулаком. Открывают.

— В чем дело?

— Как там насчет кофия? У всех животы подвело!

— Сейчас подадут! — захлопывает дверь надзиратель.

— Давно пора, вишь, сколько народу набралось.

Мизике поражен. И еще больше поражается, когда угрюмый надзиратель действительно возвращается, смотрит вверх очков и спрашивает:

— Сколько вас тут?

— Шестнадцать человек!

— Нет, восемнадцать! На восемнадцать человек!

Надзиратель вносит кружки. Другой, в стальном шлеме, дает каждому по куску черного хлеба и черпает из ведра дымящийся кофе.

— Разве вы еще не получали хлеб?

— Я? Когда?

— Будет врать-то!

Когда тюремщики вышли и все усиленно зачавкали, кто-то заметил:

— А ведь ты и вправду два куска тяпнул.

— Ну, ясно! А ты небось с одного сыт!

Мизике с удовольствием поел бы немного, но не может: давится. Наконец он оставляет хлеб. Три руки жадно протягиваются за его куском. Горячий кофе отдает затхлой горечью, но он пьет, стараясь подавить отвращение. Необходимо выпить чего-нибудь горячего.

— Ты за что сюда попал?

Мизике долго думает.

— При всем желании — и сам не знаю!

— Да ну, ладно, чего тут стесняться!

— Честное слово, не знаю!

— Правильно, дружище. — вмешался другой, — так на том и стой!

Здесь в общей камере не совсем чисто. Много чего зря болтают.

Хуже всего эта ужасная неопределенность, это ожидание, отнимающее последние силы. Мизике всю ночь не мог уснуть, не мог умыться, есть. Теперь он чувствует тупую давящую боль в голове, которая все усиливается. В камере становится тяжело дышать. Полуоткрытого окна слишком мало. Воздух пропитан вонью из отхожего места. Мизике весь съезживается и все ждет, что его вызовут. А как только вызовут, так и освободят, — в этом он нисколько не сомневается. Его внимание привлекает молодой человек в элегантном, сшитом на заказ — в талию — сером костюме, с прямыми, подбитыми ватой плечами и тщательно отутюженными брюками. Он без усталости бегают по камере от стены к окну, от окна к стене. Мизике не нравится его лицо: маленькое, продолговатое, с детским носиком и узкими колючими глазками. Темно-русые волосы над низким лбом приглажены на прямой пробор.

— Разрешите присоединиться? — спрашивает Мизике. Он сидит здесь почти пять часов и же немного освоился.

— Не возражаю.

Теперь они вместе бегают от стены к окну, от окна к стене. Мизике ждет, чтобы его спутник заговорил первый. Но тот, по-видимому, и не думает. Скоро к ним присоединяется третий — стройный, приличный на вид человек, в дождевике и в шляпе с широкими полями. Он начинает рассказывать. У него была связь с пожилой женщиной. Когда он остался без работы, она ему помогала. Но он разлюбил ее и ушел. Тогда она донесла на него, как на сутенера. Он клянется, что это лишь порождение слепой ревности.

Во время рассказа спутник Мизике не произносит ни слова, лишь равнодушно, со скучающим видом посвистывает сквозь зубы. Но немного погодя смеется:

— Все они, бестии, на один лад!

— Ты что? Разве тоже из-за бабы?

— Ну, нет! Да я с бабами и не вожусь.

Они бегают так быстро, что Мизике еле поспевает за ними. Но его разбирает любопытство. Слушая о чужой беде, он забывает про свою.

— Я? Я думаю освободиться не раньше как в тридцать седьмом!

Мизике вздрагивает, будто его хлестнули. С ужасом смотрит он на своего спутника.

— Здорово! — сухо заметил третий. — А за что?

— Магазинную кассу очистил! Нападение и грабеж!

— Э-э, — брезгливо вырвалось у «ни в чем не повинного» сутенера, как будто он замарал руки. — Неприятно!

У Мизике холод по спине пробежал. Взволнованный, семенит он рядом с ними, боясь упустить хоть слово.

— Главное — я давно и думать позабыл. Месяцев семь прошло. Неудача!

— Да, брат, как бы не было хуже. Теперь такие приговоры выносят, что волосы дыбом становятся! Стоит громко чихнуть на улице — и пожалуйста в тюрьму!

Отворяется, дверь. Все выжидательно смотрят.

— Зауэр! — кричат на коридора.

Рабочий в вельветовых штанах грузно подымается и идет к двери.

— Вас зовут Зауэр? Отто Зауэр?

— Да.

— Выходите!

Дверь снова затворяется. Тройка возобновляет свою ходьбу. Джентльмен-грабитель, как мысленно назвал его Мизике, по-прежнему держит руки в карманах и насвистывает. По всей видимости, он решил не принимать близко к сердцу перемену, происшедшую в его жизни.

— Ну, а стоило ли, по крайней мере?

— Какое там! И ста марок не набралось! — И он машет рукой. — Нестоящее дело! Слава богу, что старик жив остался, а то было бы совсем скверно.

Для Мизике это уж слишком. Он делает вид, будто устал, и отходит. Усевшись на прежнее место, он украдкой наблюдает за ними и вдруг с ужасом осознает, где находится. Боже праведный, хоть бы скорее его вызвали!..

В коридоре загремели посудой. Время обеда. Среди арестованных растет беспокойство. Слышны вопросы: что дадут? Как кормят? Присылают ли пищу из дома предварительного заключения или здесь своя кухня? Кто-то уверяет, что еду доставляют из ближайшей благотворительной столовой.

Куристь нечего. Все клянчат друг у друга. Жадно следят за переходящим изо рта в рот маленьким окурком. Воздух невыносимый — запах уборной, пота, табачный дым. У двери вместо плевательницы большой плоский ящик с песком, покрытым харкотой. Мизике старается не смотреть туда, и если

нечаянно взглянет, чувствует позыв на рвоту.

Раздают миски для еды. Арестованные становятся у двери, каждый со своей миской. Дают лапшу.

Мизике усердно хлебают. Он нашел даже маленькие кусочки мяса, да и на вкус суп лучше, чем он ожидал. Со всех скамеек слышно молчаливое торопливое чавканье на все лады. Мизике не спешит. Он успел сделать только три глотка, а вокруг уже скребут ложками по дну чашек. Молодые парни мигом проглотили свою порцию.

Во время еды дверь вдруг отворяется. Шатаясь, входит молодой рабочий. Он согнулся, как будто несет невидимый груз. Левый глаз, посинел, распух и кровоточит. Все оборачиваются. Большинство отставляют свои миски и окружают его.

— Ах, бедняга, да что же это они с тобой сделали!

Рабочий, тяжело дыша, устремил в пространство отсутствующий, неподвижный взгляд.

— Живодеры! — хрипло выдавливает он.

Мизике тоже поднялся. Растерянно смотрит на избитого. Только теперь он заметил большое, величиной с ладонь, фиолетовое пятно на шее и кровь на левом ухе.

— Чего они хотели от тебя?

— Чтоб я назвал кого следует.

— Не смеешь никого выдавать! — раздался голос со скамьи.

— Заткнись, идиот! — цыкает на него другой. — Как раз на шпика нарвешься.

Рабочий расстегивает пояс и спускает брюки. Ягодицы и бедра его покрыты кровоподтеками. Когда же он стаскивает рубашку, на спине видны синие багровые рубцы шириной в руку.

— Здорово они тебя отделали! В комнате сто три, а?

Тот только кивает головой и, сжав зубы, натягивает брюки. У большинства сразу пропал аппетит. У Мизике — тоже. Два парня тотчас же набрасываются на его едва начатую порцию.

На воле Мизике часто слышал об избиениях в ратуше. Но об этом рассказывали главным образом коммунисты, — а разве им можно верить? Вот теперь он видит собственными глазами. И в чем тот мог провиниться, что его так отделали? Мизике очень хотелось бы знать, но он не решается спросить. Спрашивает кто-то другой.

— Я руководил группой в боевом союзе. Мы распространяли листовки. Меня сцапали и теперь хотят знать имена остальных.

— Кто сейчас попал сюда по политическому делу, тому не до смеха, — раздается позади Мизике.

Мизике оглядывается. Глубоко заложив руки в карманы, за ним стоит тот самый парень, который за сто марок чуть не убил человека.

— Меня, — с улыбкой заявляет он, — и калачом в политику не заманишь. Я еще с ума не спятил!

Около рабочего осталось человека три-четыре. Они заставляют его рассказывать по несколько раз, как выглядят те, кто его избивал, и чем били. Остальные, разделившись на группы, громко и возбужденно рассказывают что-то друг другу, спорят и ругаются.

Мизике слышит невероятные, чудовищные вещи. Одни уверяет, что он видел в отряде особого назначения, как четыре здоровенных штурмовика набросились на человека лет шестидесяти и стали выколачивать из него показания ножками от стула и резиновыми палками. Другой якобы совершенно точно знает, что несколько дней тому назад штурмовики выбили некоему Фрицу Вольгасту правый глаз. Кто-то рассказывает, будто во время его допроса была жестоко избито молодая девушка:

— Какой-то штурмовик вошел в комнату допросов разгоряченный и взвинченный и крикнул другому: «Ничего не говорит, стерва!» — «Так, может быть, она и в самом деле ничего не знает», — заметил тот. «Должна знать! Он не мог удрать, не сказав ей — куда. Пусть она мне очки не втирает! Вот мы ей за это задницу, как карту, и расписали, куда ни глянь — только Африка, черный континент!» Проклятые садисты!

«Конечно, — думает про себя Мизике, — всему верить нельзя. Как всегда, преувеличивают. Наци, конечно, обращаются с своими противниками не особенно нежно, но все же это люди, немцы, гамбургцы, а не дикие звери. Ведь это солдаты, а немецкий солдат не поднимет руку на девушку или женщину. Ну, этого высекли, — так ведь кто знает, какие там за ним дела водятся? Здесь он, конечно, об этом распространяться не станет. А уж что-нибудь да было. Никто так, зря, человека уродовать не будет...» Мизике смотрит, слушает, но в разговор не вмешивается. Он рад, что не имеет с этими людьми ничего общего.

На скамье рядом с Мизике сидят еще трое. Страшно толстый парень по прозвищу «Волдырь» — остряк и балагур. Только что задали ему вопрос, как он устраивается, когда бывает с женщиной, — куда свое брюхо девает, — и он уже собрался было наглядно это показать, как дверь камеры

отворяется, и вызывают Мизике. Он со всех ног кидается к двери.

— Вы Готфрид Мизике?

— Да! — От радости его даже в жар бросило. Наконец-то! Наконец!

И когда дверь за ним затворяется, им владеет только одна мысль: «Никогда сюда не возвращаться!»

— Подождите здесь!

Мизике остается в коридоре, перед длинным рядом узких шкафов. Странно! Неужели здесь столько служащих? В конце коридора появляются двое штатских, с бумагами под мышкой. Один из них, длинный, прямой как палка, в высоком воротничке, с остриженными бобриком волосами, медленно подходит к нему.

— Мизике?

— Да. Совершенно верно.

— Пожалуйте за мной!

Мизике взволнованно бежит за ним. «Слава богу! Слава богу!» — не переставая думает он. Этими словами Мизике выражает переполняющую его в эти мгновения радость.

Они входят в маленькую комнату. Окна забраны решетками, ничего, кроме высокой конторки и стула.

— Садитесь!

Мизике садится. Комиссар, не торопясь, раскладывает цапки, перелистывает бумаги, искоса бросает на него испытующий взгляд и снова копается в папках. Потом закуривает. Мизике не спускает с него глаз и удивляется таким долгим приготовлениям. Он думает, что комиссар только извинится перед ним и отпустит. К чему такая проволочка?

— Вас зовут Иозеф Готфрид Мизике?

— Да.

— Родились шестого февраля тысяча восемьсот восемьдесят девятого года?

— Совершенно верно.

— В Хайлигенхафене?

— Да.

— Еврей?

— Да.

— В браке с Сабиной Гольдшмидт?

— Да.

— Тоже еврейка?

— Да.

— Род занятий — торговец, адрес Хофвег, сто семнадцать?

— Да.

— Раньше под судом не были?

— Нет!

— Так... А теперь скажите, готовы ли вы совершенно откровенно отвечать на все мои вопросы?

— Безусловно, господин комиссар!

— Это будет в ваших интересах. Итак, с какого времени состоите вы членом коммунистической партии?

— Простите, как вы сказали? — Мизике не верит своим ушам.

— С каких пор вы член коммунистической партии!

— Я... я не член... коммунистической партии!

У Мизике горло перехватило. Чего от него хотят?

— Я им никогда не был! — добавляет он и думает: какой нелепый вопрос! Какое отношение он может иметь к коммунистам и к их партии?

Комиссар смотрит сверху прямо в глаза холодно и недоверчиво.

— Вы мне обещали говорить правду.

— Это правда, господин комиссар!

— Вы же хотели дать деньги для коммунистической партии!

— Я?! Я — отдать деньги коммунистам? Ой, что вы, господин комиссар! Нет, у меня нет денег для политики!

— Еще раз советую вам — в ваших же собственных интересах — говорить мне правду, господин Мизике.

— Я готов. Вы только спрашивайте, господин комиссар.

— Вы член коммунистической партии?

— Нет!

— Вы хотели дать деньги для нелегальной коммунистической партии?

— Никогда!

— Очень жаль, но в таком случае я должен буду отказаться от допроса.

Мизике смотрит испуганно в серые испытующие глаза.

— Вы, может быть, будете также отрицать, что были вчера на палубе парохода «Сибилла»?

— Наоборот! Я почти каждый день езжу с альстерским пароходом.

— Ах, так! Но вы, конечно, не были никогда знакомы с тем господином, с которым разговаривали вчера на пароходе?

— С тем? Нет! Это какой-то приезжий. Я его не знаю.

Комиссар слегка наклоняется к Мизике и шепотом убеждает его:

— Лучше скажите сразу всю правду, господин Мизике, для вас же лучше. Я только исполняю свой долг. Если не скажете, я должен буду передать дело дальше. Отпираться бесполезно, верьте мне!

Мизике слушает, и его бросает то в жар, то в холод. Он никак не может понять, к чему это выпытывание, эти предостережения и советы, но чувствует, что ему грозит что-то недоброе. И он начинает робко умолять.

— Почтеннейший господин комиссар, это действительно ужасная ошибка. Поверьте, я не тот, кого вы ищете. Я никогда в жизни не занимался политикой. Никогда никакого отношения к коммунистам не имел. Никогда! Уверю вас! Вы ошибаетесь!

Мизике видит, что попал в западню, из которой нет выхода. Незнакомец... деньги... коммунистическая партия... У него голова идет кругом. Но надо держать себя в руках, — все должно выясниться.

— Господин комиссар, это в самом деле только не что иное, как злополучная случайная встреча. Я с этим приезжим не имею ничего общего. Я лишь обратил его внимание на некоторые достопримечательности нашего города. Да ведь я даже и не могу быть коммунистом. Подумайте, у меня торговля. Я ведь не рабочий!

— Ну, есть люди и покрупнее вас, да коммунисты, одно с другим не связано. А вы, как еврей... Еще раз! Вы настаиваете на ваших показаниях?

— Конечно, господин комиссар!

— Известна ли вам, по крайней мере, фамилия Тецлин?

— Нет, господин комиссар, такой не слыхал.

— Ну, тогда можете идти обратно... Подождите, я вас провожу.

— А когда... когда меня выпустят?

— Это решаю не я.

Комиссар сердито собирает бумаги, сует их под мышку и выходит из комнаты. Мизике идет за ним.

— Вам нужно было сразу говорить все, как было.

— Да ведь я сказал.

— Ну, как угодно!

В коридоре комиссар передает Мизике человеку в форме. Мизике робко кланяется комиссару. Тот кивает и идет обратно. Мизике снова запирают в общей камере, куда всего несколько минут назад он надеялся никогда больше не возвращаться. Его обдает вонью, табачным дымом, и все кажется теперь еще отвратительнее, чем прежде. И желтая лампочка, тускло освещающая комнату, и настороженные взгляды людей, которые устало бродят взад и вперед, и открытый и постоянно занятый клозет, и загаженные стены — все такое омерзительное, отталкивающее, жуткое, что у него дыхание перехватывает.

Мизике отмахивается от обступивших его любопытных арестантов. Он слишком взволнован, ошеломлен, чтобы отвечать на вопросы, тем более что его спрашивают как раз о том, над чем он сам напрасно ломает голову. Он в ужасе. Он чувствует себя жертвой какой-то непоправимой ошибки, Он замешан в какое-то преступление, его считают соучастником. Мизике хорошо знает, что значит для еврея быть заподозренным в политическом преступлении; знает, что доказать полную, свою непричастность будет труднее, чем он предполагал. Неизвестный — преступник. Боже мой, вот уже совсем не похож! Напротив. И кто этот Тецлин? Мизике никогда не слышал о таком. Говорят, будто он, Мизике, хотел дать деньги! Да еще коммунистам! Какая нелепость! И какая тут связь между всем этим? Мизике бьется над разгадкой. И вдруг он приходит в бешенство. Почему жена ничего не предпринимает? Почему родственники не просветят полицию и не потребуют, чтобы его освободили? За что он должен погибать здесь, в этой клоаке? Почему никто не засвидетельствует его полную невиновность? Почему никто не поручится за него?

— А что, они прилично обращались с вами?

Об этом спрашивает его уже третий или четвертый.

— Да, вполне прилично.

— Ну, брат, это тебе еще посчастливилось. Ведь ты еврей.

Только этого не хватало! Достаточно, что его здесь держат, как какого-то преступника... Неужели ему придется еще одну ночь провести в этой мерзкой камере, среди этих людей, в этом зловонии? Немыслимо! Это ужасно! И Мизике не слышит вопросов, избегает устремленных на него

взглядов, сторонится всех и в одиночку бродит по камере. От беспомощности, омерзения и страха он готов реветь, как ребенок.

Теперь стали чаще вызывать арестованных на допрос. Водили и франтоватого магазинного вора, который тоже вернулся обратно.

— Ведь все равно дело провалилось, так я взял да и сознался, — охотно рассказывает он. — Теперь, по крайней мере, мне зачтется предварительное заключение, и я на хорошем счету у начальства.

Рыжий парикмахер, уже отбывший наказание за эксгибиционизм и теперь вторично арестованный за то же, подходит к Мизике и шепчет:

— Послушай, они говорят, будто меня кастрируют, сейчас вроде есть такой закон. Неужели они в самом деле это сделают?

— Оставьте вы меня, наконец, в покое! — кричит Мизике на рыжекудрого, с белым девичьим лицом, арестанта.

— Нет, они не будут тебя кастрировать, — отвечает кто-то другой, услышав вопрос. — Они тебе только хвост отрежут.

Парикмахер ошеломлен. Он не верит, что существует такой закон. Он думал, что национал-социализм — политическое движение, а он ведь не политический преступник. Никто не имеет права его кастрировать. Он вообще не понимает, какое национал-социализму до этого дело! А впрочем, сам он тоже национал-социалист. С 1931 года он всегда подавал голос за национал-социалистов, и ни на одном собрании, на которых он когда-либо бывал, и речи не было о кастрации.

— Это меня моя старуха выдала, — говорит пожилой мужчина. — Дайте мне только домой вернуться, я покажу ей, где раки зимуют!

— Что она на тебя наплела?

— Да мальчишка хотел к гитлеровцам, а я был против. Я ему сказал: если ты наденешь коричневую рубашку, я вышвырну тебя вместе с твоей матерью. Вот за эту самую коричневую рубашку я и сижу здесь. Нет, дайте мне только отсюда выбраться!

— Мизике! Готфрид Мизике!

— Здесь!

Мизике так погружен в думы, что не сразу слышит свою фамилию. У двери стоят Штурмовик и надзиратель.

— Заснул, что ли?

— Нет, я не спал.

Штурмовик презрительно меряет его взглядом с ног до головы, что-то

бормочет и как бы с отвращением отворачивается. Мизике стоит и ждет. Они шепчутся и искоса на него поглядывают. Штурмовик вынимает револьвер и долго возится с ним, затем спокойно подходит к Мизике.

— При малейшей попытке к бегству пристрелю на мосте, понял?

Еще бы не понять? Но в чем дело? Зачем ему бежать? Куда это собираются его вести?

— Ну, пошли!

Надзиратель открывает дверь. Мизике вслед за штурмовиком поднимается вверх по лестнице, затем идет по длинному коридору. В окна виден Альстерский канал. Штурмовик с револьвером в руке молча шагает рядом с Мизике. В конце коридора он отпирает небольшую дверь, за которой видна ведущая наверх узкая винтовая лестница, Мизике осмеливается наконец спросить:

— Господин караульный, куда вы меня ведете?

— Заткнись! — слышит он в ответ.

Поднявшись по винтовой лестнице и миновав еще одну дверь, они оказываются в здании старой ратуши. Под любопытными взглядами встречных штурмовик ведет Мизике по многочисленным коридорам, по «мосту вздохов» в новую ратушу. Отсюда, пройдя через еще одну маленькую дверцу по длинному переходу и через площадку, попадают в здание, где еще совсем недавно помещался жилищный отдел. Теперь Мизике знает, куда его ведут: в отряд особого назначения. Он цепенеет от ужаса. Об этом отряде рассказывали такое, что волосы становились дыбом. У них истязание — обычное явление. Здесь всего несколько недель назад рабочий выбросился из окна и разбился насмерть. Здесь находится наводящая ужас комната 103, та самая, где и сегодня утром избили рабочего.

Штурмовик, злорадно ухмыляясь, смотрит на дрожащего человека и с важным видом взвешивает на руке свой револьвер.

— Ну, ну, пошевеливайся!

И Мизике, шатаясь, взбирается по лестнице. Откуда-то слышится граммофон. Проходя по пустому запущенному коридору, Мизике заглядывает в кое-где открытые двери. Он видит огромные плакаты на стенах, знамена и красные ленты от венков. Навстречу им попадают люди в форме штурмовиков и эсэсовцев. Гулко раздается топот высоких сапог.

— Где ты подобрал этого выродка?

— Там, напротив. Курт хочет сам им заняться.

— Может порадоваться. Курт как раз в подходящем настроении!

Мизике охватывает смертельный ужас. Он весь холодеет, на лбу выступают крупные капли холодного пота. Теперь он уверен, что это его последний путь и что его убьют. Он больше не спрашивает себя, почему и за что. Им владеет одно-единственное желание — жить! Жить! Только не умереть! Он уже не думает о том, что невиновен, что является жертвой какой-то роковой ошибки, думает лишь об одном: только бы не умереть! Жить! Этот зловещий запущенный дом с ветхими лестницами и шаткими перилами, испачканные краской, загаженные стены, гулкие коридоры, пустые комнаты с распахнутыми настежь дверями, резкие звуки граммофона, свирепые, громко топающие эсэсовцы в стальных шлемах, с винтовками, — все это лишало его последней надежды. Кончено! Кончено!

У Мизике в голове мутится. Лишь на секунду мелькает неясный образ Беллы; огромные, расширившиеся от ужаса глаза, полуоткрытый рот. Да, так будет она стоять тогда, когда все будет кончено. А Карл Кролль, а добрый старый толстый Иозеф Мендес! Что они скажут? Что они скажут?

— Стой тут!

Мизике испуганно вздрагивает. Он становится у двери и просящими, как у собаки, глазами смотрит в грубое лицо под стальным шлемом.

— Лицом к стене, идиот! Ближе! Еще ближе! И берегись, если пошевелинешься!

Мизике становится вплотную к стене, носки его ботинок упираются в плинтус, а нос касается штукатурки. Штурмовик уходит в комнату. Мизике немножко расслабляется. Он осторожно смотрит направо, налево: в коридоре ни души. Налево — лестница. «Что, если сейчас убежать?» Он вздрагивает. Все тело его затрепетало. Беги! Беги же! Вниз по лестнице! А там в подъезд и дальше. Голова кружится. Шатаясь, он прислоняется лицом к стене. Нет, не хватает ни сил, ни нервов. Он прилип к стене коридора, как муха к клейкой бумаге. Все кончено, все кончено! Зачем его не оставили в камере? Ведь его уже допрашивали, Почему именно он должен умереть? Белла... Все кончено...

— Входи!

Дрожа всем телом, Мизике переступает порог.

Вокруг стола стоят шесть человек в форме эсэсовцев. Конвойный становится у двери, все еще держа в руке револьвер.

— Подойди сюда! Ну!

Мизике берет себя в руки и подходит к человеку с тупым квадратным лицом. Боязливо, быстро осматривается. В комнате нет ничего, кроме стола.

На грязном полу клочки бумаги, окурки.

— Как зовут?

— Готфрид Мизике.

— Громче, мразь! И добавлять: «господин унтер-офицер».

— Готфрид Мизике, господин унтер-офицер!

— Еврей?

— Да, господин унтер-офицер!

— Так точно, а не «да».

— Так точно, господин унтер-офицер!

— Коммунист?

— Нет, господин унтер-офицер!

— Врешь, мерзавец!

— Я не коммунист, господин унтер...

Не успел Мизике сообразить, как кто-то из шестерых сжал ему горло, другой схватил за правую руку, повернул и рванул в сторону. Грубым рывком, от которого из груди Мизике вырвался звериный вой, его швыряют на стол. И тут же начинают бить. По ягодицам, по спине, по ногам. Одни удары отдаются звонко, другие падают тяжело, глухо и, как кажется Мизике, приходится по самым костям. Поначалу он еще мог думать: откуда столько бьющих его людей и где они вдруг взяли орудия для избиения? Но неожиданно тупой удар по крестцу прерывает его мысли. Он кричит, воеет... Все яростнее сыплются удары. Он чувствует невыносимую боль в левом боку, и из груди его вырывается безумный, неистовый крик. Удары прекращаются. Мизике лежит ничком, боясь шевельнуться. И только хрипит.

— Убирайся со стола, сволочь!

Мизике хочет слезть и ищет руками опоры. Эсэсовцам это, очевидно, кажется слишком медленным, один из них хватает его за ногу и сдергивает со стола. Мизике еле успевает уцепиться за край доски.

— Повернись! Ты коммунист?

Мизике хочет сказать, объяснить, просить пощады: все же он был два года на фронте, женат, никогда не интересовался политикой, — но звуки застревают в горле. Все так и плывет перед глазами. Спина горит. При малейшем движении страшно колет в левом боку.

— Ну, отвечай! Бродяга!

Мизике только качает головой.

Его снова бросают на стол. Еще не бьют, а он уже вопит. Впивается в стол ногтями, прижимается к нему лицом и иступленно воет. Постепенно вой переходит в стон и жалобное всхлипывание.

— Если не сознаешься, будем бить до смерти!

Перед ним совсем близко искаженное злобой лицо; тыльной стороной руки он вытирает выступившую на губах пену. Мизике готов на все. Только бы перестали бить.

— Ты коммунист?

Мизике кивает.

— Ты хотел дать коммунистам деньги?

Мизике кивает.

— Ион Тецлин должен был устроить связному проезд в Копенгаген?

Мизике кивает.

От страшного удара в лицо Мизике падает на пол.

— Зачем же ты, собака, раньше лгал?

Не заботясь больше о потерявшем сознание, эсэсовцы выходят из комнаты. Плетки и квадратную ножку от стола прячут за дверь. Штурмовик с револьвером, прислонившись к косяку двери, глядит им вслед.

— Таких я бы драл по дюжине в день.

— Вот уж нужно правду сказать, Родобек был не чета этому. Того мы целый час допрашивали: Курт, Альвин, Отто, я, — и он не сказал ни слова. Даже ни разу не крикнул. Характер у малого! Железо!

— А ведь у самого кровь изо рта хлынула! Фанатик! Дикий фанатик!

— А Карстен или Корстен, как его там?.. Вот тоже молодец был. Шенкеру заехал прямо в рожу. Тот с удовольствием отправил бы его на тот свет.

— Да, там есть крепкие ребята. Нам бы таких не мешало. А слезливую тварь, как этот еврей, надо сечь, пока не издохнет!

Продолжая разговаривать в том же духе, эсэсовцы из отряда особого назначения доходят до караульной — комнаты в конце коридора. Штурмфюрер Курт Дузеншен входит первым. Кругленькая, упитанная, девушка лет двадцати, чересчур полногрудая, с белокурыми завитушками, сидит за длинным столом перед пишущей машинкой. Она встречает вошедших вопросом:

— Ну, что, сознался?

— Понятно, сознался. И со страху в штаны наклал!

Дузеншен делает официальное лицо и приказывает:

— Надо немедленно составить донесение наверх. Кауфман хочет лично присутствовать при допросе Торстена и Тецлина. Это — важные преступники.

Девушка заправляет в машинку бумагу и подкладывает под себя два толстых справочника. Эсэсовцы тут же: кто стоит, кто сидит на пустом столе или на подоконнике.

— Чья это, собственно, работа? — спрашивает кто-то.

— Тео. Насколько мне известно, это Кайзер обратил его внимание на Тецлина. Целых два месяца Тео следил за ним — и наконец вчера сцапал. Оказался самый настоящий.

— Наверняка премию получит.

— Да еще в гору пойдет.

Дузеншен диктует машинистке:

— «После первоначального заперательства еврей Готфрид Мизике показал: 1) что он член коммунистической партии; 2) что он снабжал коммунистической партии деньги на подпольную работу...» Нет, не так, — прервал он диктовку, — ведь он же еще не давал, он только хотел дать. Значит, надо сказать, хотел снабжать деньги... Да не галдите вы там, наконец! Ничего не сообразишь, такой гам! Значит, хотел давать деньги... Ну, пиши: «Хотел снабжать деньги коммунистической партии на подпольную работу; 3) что ему известно, что Тецлин хотел устроить связному проезд в Копенгаген».

— А ведь он, в сущности, очень быстро соблаговолит сознаться, — заметил кто-то.

Эсэсовец Хармс — обершарфюрер, — беспутный студент, сын еще недавно хорошо зарабатывавшего владельца такси, сидит на подоконнике, болтает ногами и посмеивается по поводу донесения Дузеншена. «О, господи, — думает он, — раз ты уж штурмфюрер, так должен уметь, по крайней мере, правильно составить три немецких фразы. Ведь это ж просто неприлично, что он там наворотил! И кто только сейчас не попадает в большие люди! Штурмфюрер! Несколько ножевых ран и один убитый коммунист все же не определяют, годится ли человек в начальники. Если наверху прочтут такое донесение? Просто скандал!»

Хармс, скрестив руки, внимательно рассматривает Дузеншена, его

кущую, приземистую фигуру, одутловатое четырехугольное лицо, изуродованный ударом кулака, искривленный нос, низкий заросший лоб, взъерошенные волосы.

Но вот донесение готово, и штурмфюрер с нарочитой деловитостью обращается к присутствующим:

— И чтобы нынче вечером все были на месте, будет здорово занятно! — и, взяв отчет, выходит из комнаты.

— Ну и умора!

— Эх, брат Руди, заткнись ты лучше!

— И что ты вечно придираешься? Курт — чудесная душа. Плевать на его немецкий язык! Зато он — парень хоть куда!

«Ну, конечно, — думает Хармс, — Ридель и Дузеншен — два сапога пара. Этот тоже скоро в начальники пролезет. Наверно, все передаст Дузеншену... все, до мельчайших подробностей. Ну, мне все равно. Тот срамит нас всех. Недавно на допросе доктора Кольтвица, социал-демократа, он учил его всякой ерунде, затем в присутствии других важно спросил: «Ну, чего я тебе выучил?» Еврей, не моргнув глазом, ответил: «Вы учили меня делать мост, прыгать и ползать по коридору». А эта скотина Дузеншен даже ничего не заметил. И это начальник! Ну, и дела!..»

Хармс не может удержаться от замечания:

— Тому, кто составляет донесения, следовало бы хоть малость подучиться грамоте.

— Так ты бы сам продиктовал.

— С какой же стати? Разве я штурмфюрер?

В этот момент с шумом влетает долговязый морской штурмовик Тейч:

— Айда вниз! Мы там занялись одним моряком из красных, отбивается, как бешеный.

Все вскакивают, орут, гогочут: «Охота поглядеть на парня! Ну, и отчаянная голова, должно быть!» — и бросаются к двери.

— Захватите плети и ножку от стола! — кричит Ридель и мчится по лестнице, перескакивая через три ступеньки.

С тех пор как Генриха Торстена доставили в ратушу, он сидит в «боксе». «Боксы» — это те небольшие, узкие клетушки, которые Мизике принял за шкафы. Они в самом деле не больше обыкновенного шкафа — полметра в ширину и почти столько же в глубину. Двери такого шкафа сверху продырявлены. Это единственное отверстие для притока воздуха.

В одном из таких шкафов находится Торстен. Он сидит, скорчившись, уже почти тринадцать часов. В полдень караульный просунул ему сюда миску лапши, а под вечер — чаю и кусок черного хлеба. Он еще ни разу не выходил из своего ящика. Генриху Торстену совершенно ясно, что эта мера — только начало предстоящих ему испытаний. Им известно, кто он, и они, конечно, захотят узнать все, что знает он. В течение многих месяцев допуская он возможность ареста и, думая о нем, всегда чувствовал легкую дрожь. Он всегда говорил себе, что если дойдет до этого, то ему несдобровать. И теперь как-то странно, что он так спокоен, так владеет собой. Он знает: до него этот путь был уделом самых лучших, самых сильных. И они прошли его, не теряя мужества.

Чертовски не повезло! Не успел приехать, как арестован. Должно быть, Тецлин вел дело страшно легкомысленно. Не следовало, пожалуй, сразу устанавливать связь. Ну, да что толку упрекать себя! Сейчас главное — с достоинством встретить конец. Торстен думает о товарищах: как испугаются они, когда узнают, что он арестован. Всего несколько недель назад здесь был провален весь подпольный аппарат — свыше трехсот товарищей. А теперь еще Тецлин и он. Всюду шпики. Из-за каждого угла подстерегает предательство. Трудно придется товарищам в эти ближайшие недели и месяцы. А Генрих Торстен теперь в отпуску, это единственный отпуск, который может позволить себе коммунист. Впрочем, и в тюрьме, и в концентрационном лагере пропасть работы. Отпуск, настоящий отпуск наступает для нас только в могиле. Может быть, я уже на краю ее. Кто знает, что принесет завтрашний день? Как сказал Эжен Левинэ: отдохнем на том свете.

Торстен думает о жене Анне, о своей дочке Маргарет. Теперь они одни, без помощи и поддержки. Да, у Генриха Торстена были жена и ребенок. У него был свой очаг, семья, ему бы только быть довольным и счастливым...

Но он от природы таков, что не может спокойно жить, когда помыкают беззащитными, невинными, обездоленными; когда попирают права человека; когда его народ звуками фанфар и сирен вовлекают в новую массовую бойню; тут он не может молчать; поступай он иначе, он считал бы себя предателем, ибо знает: победа установившегося режима означает смерть и ужас, нужду, и нищету миллионов... Глупцы те, что думают, будто спасут себя и свой семейный очаг, если будут молчать, и пресмыкаться, и послушно выполнять все, что им прикажут новые коричневые господа, их ожидает ужасное пробуждение...

Нет, такой человек, как Торстен, не может действовать иначе, чем действовал. И он пошел бы тем же путем, представься ему еще раз такая возможность. Задача тех, кто остался на свободе, — просвещать массы,

срывать планы поджигателей войны. Его же задача здесь — своей высокой моралью воодушевлять массы и деморализовать противника.

И все-таки что будет с Анной... с маленькой Маргарет?... Какие тревоги, ужасы предстоит им испытать. Он знает, она одобрит его действия, не упрекнет ни словом; она горда, полна достоинства, знает толк в праве и понимает, что представляет собой правосудие; она такой человек, что скорее будет сама страдать, нежели причинит боль другим...

Правда, порой она бывала малодушной, давала ему понять, что, в сущности, у них нет жизни; это существование в атмосфере постоянной травли, эти тревоги, вечные волнения за других, эта политика... Разве так уж она не права? Конечно, то, что другие называли «жизнью» — работа, заработок, праздники, семья, безмятежная супружеская жизнь, — было Торстену почти незнакомо. Они этого не знали, ибо понимали: если закрыть глаза, не обращать внимания на происходящие в стране события и жить лишь во имя своего маленького благополучия, то это будет подобно самоубийству или жизни на вулкане, это будет, мягко выражаясь, трусливый самообман... Приход к власти Гитлера имеет лишь единственную цель — развязать войну. Предстоит новая война народов... Это понимает Торстен, марксист, который в силу своего мировоззрения предвидит рост социальных сил и экономических связей. И он понимает, что новая война неминуемо перейдет во вторую мировую, которая, невзирая на ее исход, должна погубить старую Германию. Как же он может сознательно обманывать самого себя и не замечать всего этого?

Теперь он в лапах извергов, и могло бы прийти раскаяние, возникнуть упреки, самобичевание...

Но Генриху Торстену не в чем раскаиваться, он недаром прожил свою жизнь. Это была хорошая, правильная жизнь. Сожаленья достойны те, кто терпит лишения без луча надежды, кто не наслаждается жизнью, а, униженный и угнетенный, лишь терпеливо ее переносит, для кого она не согрета радостью борьбы за социализм. Сожаленья достойны невежественные, малодушные, примирившиеся! Нет, его жизнь была прекрасна.

Тринадцать часов находится Генрих Торстен в шкафу. У него мало надежды прожить еще хотя бы день, и снова перед ним проходит его жизнь. Тринадцать часов, скрючившись, сидит Торстен в ящике и не знает, долго ли еще ему так мучиться. Уже поздно; другие арестанты давно переведены в дом предварительного заключения. И только один ночной часовой медленно бродит по коридору.

Днем еще было сносно, бодрствовал слух. Мимо то и дело проходили

какие-то люди. Переговаривались караульные. Кого-то вызывали. Толпились вновь прибывшие и уходящие. Жизнь не замирала. Но в эти вечерние часы в огромном каменном подземелье безлюдно, пустынно и тихо, как в могиле. Общие камеры пусты, умолк шум в коридорах, и только через каждые полчаса мимо неслышно проходит часовой в войлочных туфлях. Жутко в такие часы в этом стоячем гробу.

Торстен стучит кулаком в дверь. Моментально подбегает часовой, но не решается открыть дверь шкафа.

— Эй, в чем дело? Не шуметь!

— Забыли про меня, что ли?

— У нас никого не забывают. Стало быть, так надо.

— Скажите хотя бы: зачем одного меня держат в этой клетке? Что же, я просижу здесь всю ночь?

— Этого я вам тоже не скажу, — не знаю.

И Торстен слышит, как часовой медленно уходит. По крайней мере, теперь он знает, что здесь кто-то есть. Немного погодя снова приближаются мягкие шаги. Торстен слышит, как кто-то произносит шепотом его имя, и прижимается лицом к отдушине.

— Послушайте, говорят, что вас сегодня же вечером будут допрашивать! Вас и Тецлина. Начальник тайной государственной полиции хочет сам быть.

— Спасибо, — шепчет Торстен. — А Тецлин тоже в клетке?

— Нет. Он, кажется, там, наверху, в отряде особого назначения.

Торстен облегченно вздыхает. Сегодня их, пожалуй, не будут избивать, раз присутствует сам начальник гестапо.

Значит, они хотят его по-настоящему допрашивать. На что они, собственно, рассчитывают? Надо полагать, Тецлин держится стойко...

Ах, он все еще в том же деревянном ящике, но уже чувствует себя гораздо лучше. И только теперь ему ясно, что его мучил страх перед истязаниями. Странно, как будто и клетка совсем не такая уж узкая. Можно для разнообразия постоять и даже поднять вверх руки. И если придется провести здесь ночь, так и то пустяки. Возможно, сторож еще что-нибудь ему скажет. Хорошо бы послать весточку Тецлину. Начальник гестапо, собственной персоной! Великолепно! Может быть, его сегодня не будут бить? В конце концов он не так уж молод. Значит, еще раз, несмотря ни на что, повезло.

Проходит еще несколько часов. Около полуночи в соседнем коридоре

раздается топот. Торстен напряженно вслушивается в темноту. Пронзительно звенит звонок. Идут. Часовой отворяет тяжелую дверь. Торстен ясно слышит свое имя. Под сводами гулко раздается топот кованных железом сапог. Дверь бокса открывается. Торстен моргает, ослепленный желтым светом коридорной лампы, и поднимается. Рядом с часовым стоят три человека в форме эсэсовцев. Один из них вынимает из-за пояса револьвер.

— Выходите!

Они с любопытством оглядывают арестанта и, по-видимому, удивлены: Торстен с гордым видом выходит из темного ящика и прямо и пристально смотрит им в лицо.

Торстена ведут тем же путем, которым лишь несколько часов назад прошел Мизике. Два эсэсовца по бокам, третий — с револьвером в руках — позади. Все молчат. Когда они проходят пустынным темным коридором старой ратуши, в одной из комнат раздается вдруг женский крик, короткий и пронзительный. И снова все тихо. Караульные продолжают идти, будто ничего не слышали. Из новой ратуши через подъезд они входят в красное кирпичное здание бывшего жилищного отдела и останавливаются в коридоре первого этажа.

— Стать лицом к стене!

Из ближайшей комнаты выходят еще эсэсовцы, с ними штурмфюрер Дузеншен. С важным, напыщенным видом подходит он к Торстену и, встав вплотную сзади, дергает за рукав:

— Повернись! Ты, значит, был депутатом рейхстага? От коммунистов? Отвечай!

Торстен поворачивается. Перед ним, широко расставив ноги, стоит коренастый человек с иссиня-багровым, обрюзгшим лицом. Пьяница. И скотина. Злобная скотина. Торстен удивленно смотрит на него и молчит.

— Ты что? Не желаешь отвечать или не понимаешь? Ведь это ты был депутатом рейхстага?

Торстен молчит. Дузеншен впивается в него прищуренными глазами, плотно сжимает губы и вдруг громко хохочет.

— Что ж, любезный, мы тебя выучим говорить! — И так хохочет, что мясистая шея наливается кровью.

Но смех его деланный, судорожный. Даже эсэсовцы замечают это и не смеются, а молча, пристально смотрят на арестованного.

У подъезда раздается:

— Смирно!

Эсэсовцы вздрагивают, одергивают рубахи, поправляют фуражки. Дузеншен бросает на своих людей испытующий взгляд, будто говорит: смотрите не осрамите меня!

Входит высший офицерский состав эсэсовцев и штурмовиков, с ними много штатских.

— Смирно!

Щелкнули каблуки, застыли тела, взметнулись кверху правые руки. Не удостоив приветствующих даже взглядом, высокие гости проходят мимо, в комнату для допроса.

Блестящая процессия: коричневая замша, красные и синие ленточки на коричневых фуражках, лакированные портупеи, тяжелые кобуры, кокетливо болтающиеся почетные кортики, поблескивающие при матовом свете коридорных ламп высокие черные и коричневые сапога, нашивки, ордена.

Двое эсэсовцев в стальных шлемах становятся у входа.

Штурмфюрер Дузеншен входит в комнату вместе с прибывшими. Часовые перешептываются, и Торстен слышит, как несколько раз произносится имя Кауфмана.

Из двери высовывается красная бычья голова Дузеншена. Он взволнованно зовет:

— Торстен, входите!

Заклоченный не торопясь входит в большую, совершенно пустую комнату. Полукругом стоят офицеры и штатские. Высокий человек с круглой лысой головой подзывает Торстена. Торстен подходит. Сознание, что на него устремлено столько враждебных глаз, заставляет его еще больше подтянуться.

— Торстен, мы знаем, кто вы и по чьему поручению прибыли в Гамбург. Знаем, какое задание вы должны были выполнить здесь. Отпираться бесполезно. Мы хотим еще знать: первое — кто вас прислал из Берлина, — имена, разумеется, второе — имена тех, кто теперь возглавляет ваше здешнее руководство; третье — кто такой Карбе, расписку которого мы у вас нашли. Предупреждаю, что нам уже почти все известно, но мы хотим иметь от вас подтверждение и доказательство вашей доброй воли. Еврей Мизике и Тецлин уже сознались.

Торстен пристально смотрит на говорящего. Затем оглядывает присутствующих, и взгляд его падает на человека, который кажется ему

знакомым. Среднего роста, довольно плотный, в светлом летнем пальто и в серой шляпе с опущенными полями. Торстен уверен, что где-то видел это круглое бритое невыразительное лицо. Но где?

Он делает над собой усилие и отвечает:

— Господа, я сказал вам, кто я, и указал место моего постоянного жительства. Это все, что я могу сказать.

Допрашивающий — комиссар по уголовным делам, — грузный человек с протезом вместо ноги, — медленно ковыляя, подходит к Торстену.

— Вы этим хотите сказать, что отказываетесь от дальнейших показаний? — уточняет он.

— Совершенно верно, господин комиссар! Ведь вам известны мои политические убеждения. Что бы вы сказали о человеке, который, будучи на моем месте, стал бы выдавать товарищей?

— Здесь дело не в морали. Дело в Германии. Советую вам: отвечайте на мои вопросы возможно правдивее.

— Весьма сожалею, господин комиссар.

— Ты сожалеешь? — в бешенстве рявкнул комиссар и придвинул свою большую голову к самому лицу Торстена. — Ты сожалеешь?!

И в тот же миг Торстен почувствовал удар между носом и верхней губой. Застигнутый врасплох, он пошатнулся.

— Ты должен не сожалеть, а отвечать!

— С этого момента я не скажу ни слова.

На мгновение в комнате воцаряется мертвая тишина. Все высокопоставленное начальство смотрит на Торстена.

— Жалкий маньяк! — шипит побелевший от ярости лысый комиссар и берег протянутый ему длинный черным футляр. Не спеша открывает замок.

Все смотрят на него, смотрит и Торстен. Может, его хотят сфотографировать? Он не представляет себе, что может храниться в футляре. Комиссар вынимает темного цвета резиновый жгут толщиной в руку с изящно отделанной рукояткой. Наклонив слегка голову и впиваясь в Торстена заплывшими жиром глазами, он спрашивает:

— Ты будешь говорить?

Торстен удивленно смотрит на него. Он понял, что это означает, и молчит.

— Ты будешь давать показания?

Торстен стоит как вкопанный.

— Нагнись!

Он бледнеет, но не шевелится.

— Нагнись! — снова кричит комиссар. — Нагнись, говорят тебе, скотина! Нагнись!

Растерянно смотрит Торстен на неподвижных молчаливых зрителей. Взгляд его снова останавливается на человеке в светлом пальто. Их глаза встречаются. В них ненависть.

На Торстена накидываются три эсэсовца. Один пригибает его голову книзу, другие два хватают за руки и с силой выворачивают их кверху. Он сгибается от боли. Комиссар медленно выставляет вперед прямую, как палка, ногу, тщательно прицеливается и с размаху бьет Торстена по заду. Необычайно сильный глухой удар. У Торстена вырывается испуганный крик. А тот снова подвигает негнущуюся ногу и наносит второй удар... третий... четвертый... пятый... Торстен хрипит. От боли и стыда кровь бросается ему в лицо, в голове свинцовая тяжесть.

Но вот руки его отпускают, пальцы, сжимавшие горло, разжимаются. Торстен медленно выпрямляется. Перед глазами все плывет. Он напрягает силы, с трудом проглатывает слюну и, немного очнувшись, видит вокруг себя все те же лица. Все стоят молча, не шевелясь. Человек в летнем пальто, отделившись от группы, подходит к нему.

— Торстен, я против подобных методов, но что прикажете делать? Все равно дело проиграно. Скажите, кто такой Карбе, и больше вас не будут бить.

Теперь Торстен узнал, кто стоит перед ним. Это наместник центрального правительства Кауфман. Они знают друг друга по рейхстагу. Оба были депутатами последнего созыва. В морду следовало бы дать такому мерзавцу, плюнуть в лицо.

— Но если вы будете упрямитесь, то пеняйте на себя. У нас упрямства побольше вашего!

Торстен не спускает глаз с выхоленного толстощекого человека, от которого зависят здесь жизнь и смерть. Но не произносит ни слова.

Пожав плечами и холодно улыбнувшись, наместник поворачивается к нему спиной и отходит. И тотчас же палачи снова накидываются на Торстена.

Как он ни стискивает зубы, безумная боль от сотрясающих тело, хорошо рассчитанных ударов выталкиваем из его груди животные крики,

сдавленные стоны и хрип. После восьмого удара он бессильно валится на колени, лицом в пол.

— Ведро воды! — кричит Дузеншен, с важным видом суетясь вокруг упавшего. Поворачивает его лицом к свету, разжимает веки. «Уж не притворяется ли?»

— Ну и отчаянный, — шепчет своему соседу штандартенфюрер Эллерхузен из штаба наместника.

— Следовало бы прекратить, — отвечает тот. — От него все равно ничего не добьешься.

— Ни в коем случае! — Штандартенфюрер Эллерхузен качает головой. — Мы должны заставить его говорить!

Эсэсовец приносит ведро воды и ставит подле лежащего Торстена. Два эсэсовца приподнимают его, третий окунает головой в ведро. Тело Торстена судорожно вздрагивает, голова поднимается, слабо болтаясь из стороны в сторону. Челюсти начинают стучать.

— Еще раз! — командует Дузеншен.

Голову Торстена снова погружают в ведро. Ноги его начинают дергаться, тело извивается. Когда голову Торстена вытаскивают из воды, вид его ужасен: глаза выкатились из орбит, мокрые пряди волос свисают на лицо, полуоткрытый рот жадно ловит воздух.

Хромой комиссар дергает его за полу пиджака.

— Еще не кончено, мой мальчик, это только начало. Если ты не ответишь на наши вопросы, будем продолжать так всю ночь, пока не издохнешь. Понял? Ты семейный?

Торстен слабо кивает головой.

— Ну, так не валяй дурака! Чего ради ты жертвуешь собою? Твой товарищ Тецлин гораздо благоразумнее. Он назвал нам давшего ему поручение, и мы сразу оставили его в покое. Ваш финансист еврей Мизике тоже быстро сдался. Ну, довольно! Скажи, и дело с концом!

Торстен все еще не может стоять без поддержки. Он медленно приходит в себя, освобождается из рук эсэсовцев и, качаясь, направляется к комиссару. Можно подумать, что он хочет говорить, но он лишь долго смотрит ему в глаза и молчит. Молчат все. В комнате тишина. Комиссар выхватывает из рук одного эсэсовца резиновую палку и, теряя самообладание, рычит:

— Нагнись! Нагнись, сволочь!

От первого же удара Торстен со стоном падает.

— Воды! — кричит Дуженшен.

И снова бесчувственного Торстена окунают головой в ведро.

Наместник выходит вперед:

— Я думаю, господа, что сегодня мы никаких результатов не добьемся. Идемте!

— Ничего подобного еще не бывало, — шепчет адъютант наместника и государственный советник Эллерхузен. — Чем крупнее добыча, тем меньше результатов. Во всяком случае, Тецлин выдал связного. Через него можно будет действовать дальше.

Эсэсовцы с приветственно поднятой рукой застывают в положении «смирно!». Наместник и его свита выходят из комнаты. Машины уже у подъезда, шоферы включают моторы.

— Я думаю, как только будет устроен лагерь, работа пойдет лучше.

— Я в этом уверен, — отвечает наместнику штандартенфюрер Эллерхузен.

Пока высокое начальство размещается в машинах, Эллерхузен подходит к Дуженшену.

— Если он соблаговолит заговорить, то будет чрезвычайно приятно, — говорит он и многозначительно подмигивает.

— Слушаюсь! — Дуженшен щелкает каблуками.

Не успели машины отъехать от подъезда, как Дуженшен мчится обратно по коридору в комнату допросов. Арестованный лежит ничком, распростертый на полу.

— Шарфюрер Ридель!

— Слушаю!

— Во что бы то ни стало сегодня же ночью заставить эту сволочь говорить!

— Слушаюсь, штурмфюрер! — а сам вопросительно указывает на лежащего на полу Торстена, словно желая сказать: «Этого? Но ведь он уже готов».

— Конечно, пусть сначала придет в себя. Вообще делай как знаешь.

И штурмфюрер со свирепым видом выходит из комнаты.

Два эсэсовца перетаскивают Торстена в угол. Один из них, забавы ради, поливает ему водой лицо. Торстен не приходит в себя. Наконец эсэсовцу это надоедает, и он присоединяется к остальным, занятым мирной беседой.

Проходит около часу, и Торстен медленно начинает возвращаться к жизни. Тогда эсэсовцы поднимают его и тащат по коридору, по темной каменной лестнице вниз, в подвал: Ноги Торстена безжизненно болтаются, глаза и губы опухли, нос представляет кровавый ком.

— Я бы лучше перевел его в дом предварительного заключения. Как бы не пришлось отвечать!

— Да ведь он и пошевелинуться не может. Куда уж ему бежать! — отвечает Дугеншен. — Мне бы хотелось еще раз допросить его, сдастся мне, он станет сговорчивей!

— Дай ему денек оправиться, — знаешь, часто после этого все идет как по маслу.

Над крышами спящего города чуть брезжит свет. К отряду особого назначения подают машину. Эсэсовцы запикивают туда Торстена.

— До скорого свидания! — кричит ему вслед Дугеншен.

Дежурные надзиратели дома предварительного заключения, принимая Торстена, качают головой. Бережно ведут его в одну из камер первого этажа. Один хлопчет о перевязке, другой наливает ему из термоса горячий кофе. После этого они оставляют его одного.

Торстен не может уснуть. Его лихорадит, он бредит и, уставившись в стену ничего не видящими глазами, что-то бессвязно бормочет.

Рядом в одиночке Ион Тецлин. Он тоже не спит и в носках бегаёт до камеры взад и вперед: шесть шагов от окна к двери, шесть — от двери к окну. Сильный свет прожекторов, установленных в тюремном дворе, освещает стены тюрьмы, а также проникает в его камеру. Часовой уже несколько раз заглядывал к нему. Видел, что он беспокойно мечется по камере, но ничего не сказал. В открытое окно веет прохладная августовская ночь, и здесь, в камерах, наравне, с землёй, даже холодно, но голова Тецлина горит, словно в огне.

Как это могло случиться, что он до такой степени потерял голову!

...Какой же ты коммунист, Ион Тецлин? Ты подлый негодяй! Десять лет ты в партии, десять лет, десять лет! И отдаешь в руки полиции своего парторга, выдаешь имя своего товарища по работе, хорошего, мужественного бонда. Все доверяли тебе, все видели в тебе твердого, как сталь, большевика. Все любили тебя, Ион, а ты выдал своего руководителя врагам, натравил псов на след друга. Десять лет ты в партии, Ион. Правда, они били тебя, мучили, пытали, но ты ведь хорошо знаешь, как приходилось страдать другим революционерам, однако они не стали предателями. Ты хорошо знаешь, что многие даже перед лицом смерти не

выдавали своих товарищей, и когда их пытали смертными пытками, они плевали в лицо палачам. Ион Тецлин выдал своего руководителя. Ион Тецлин — предатель. Десять лет был коммунистом, десять лет! В двадцать третьем году боролся в Бармбеке. Боже мой, как это могло случиться?! Как это могло случиться?!

И портовый рабочий Ион Тецлин, настоящий великан, обливаясь потом и тяжело дыша, беспокойно ходит взад и вперед по залитой призрачным светом камере.

На рассвете он слышит, как в камеру рядом кого-то привели, и догадывается, что это арестованный вместе с ним берлинец. Забыв о часовом, о страже, он цепляется за решетку открытого окна и зовет: «Франц, Франц!»

И слышит в ответ тихо: «Иозеф!» — и слабый стук в стену.

Тецлин висит на окне, смотрит не отрываясь на яркий луч прожектора, на высокую темную стену позади него, за которой видны чуть освещенные слабым предутренним светом верхушки деревьев, растущих вокруг городского вала. Еще царит ночная тишина. Часовой совершает свой обход. Мысли Тецлина упорно вертятся вокруг одного и того же. И вдруг из груди вырывается крик:

— Я выдал товарища, слышишь, слышишь, я выдал товарища! Ты можешь понять это? Можешь? Я его выдал!

Вокруг все тихо. Из соседней камеры нет ответа. Тецлин стучит в стену:

— Ты слышишь? Слышишь?

Ни ответа, ни стука.

Тецлин снова цепляется за решетку, прижимается к ней пылающим лицом и кричит:

— Они били тебя?

— Да, — слышится рядом.

— Ты... ты... давал показания?

— Нет!

Тецлин спрыгивает с решетки. Безмолвно смотрит в яркий свет прожектора, на темную стену, пушистые макушки деревьев, на бледное предрассветное небо. Потом медленно отходит от окна, шаг за шагом, пока не упирается спиной в дверь, и стоит там, не отрываясь взглядом от окна.

Готфрид Мизике после допроса был переведен в дом предварительного

заклучения на чердак, на так называемую «воробьиную вышку». Когда-то в этих чердачных помещениях хранился всякий хлам, но так как после прихода к власти Гитлера массовые аресты вызвали совершенно невероятное переполнение тюрем, то администрация решила использовать чердаки под общие камеры.

Мизике и еще пять прибывших с ним заключенных входят в большую, переполненную людьми душную камеру. Еще не успевают за ними закрыться дверь, как раздаются громкие приветствия. У некоторых находятся здесь знакомые, прибывших окружают, закидывают вопросами. Мизике никто не знал.

По стенам длинными рядами стоят походные кровати, между ними — столики, за которыми идет игра в карты и шахматы. Какой-то юноша указывает Мизике свободную койку. Мизике кладет на нее шляпу, Некоторые заключенные уже снят. Мизике спрашивает о них. Юноша объясняет, что это те, которых избили. Мизике тоже охотно бы улегся, по ему стыдно признаться, что и его били, и он умалчивает об этом. На него выливается целый поток вопросов, но он чувствует: и здесь ему не верят, что он не виновен.

Этот первый вечер на «воробьиной вышке» совершенно потрясает Мизике. Ведь это не только его первый день в тюрьме, но и первый день среди коммунистов. Вместе с ним прибыло два члена агитпропгруппы, и теперь здесь из этой группы уже пятеро. Немного погодя карты и шахматы убираются, сдвигаются столы и скамейки, и агитпропгруппа начинает свой концерт.

Мизике все кажется необычайно странным. Он внимательнее всматривается в зрителей. Все пролетарии. Много молодежи, большинство одеты очень бедно: штопаные жилеты, рваные, без воротничков сорочки, короткие обтрепанные брюки. Безработные, думает Мизике. Только двое одеты получше. Мизике восхищается сплоченностью, которая чувствуется между заключенными, завидной выдержкой, с которой они переносят заключение, страстным интересом к политическим спорам, лаконичной изысканной речью.

Особенно удивляют Мизике те пять молодых рабочих, которые стоят у простенка между двух дверей. Они по памяти разыгрывают скетчи, поют чудесные, мелодичные песенки, декламируют мятежные, полные страсти стихи. «Странные люди эти коммунисты, загадочные люди! — думает Мизике. — На улицах они орут и буянят, нападают на полицейских, преследуют инакомыслящих, а в тюрьме ведут себя чинно и культурно, читают вслух классиков, поют песенки, высмеивают невежество и взывают

к разуму».

Белокурый юноша в красном свитере читает стихотворение, и его большие ясные глаза горят.

В ком сердце есть еще — оно
Лишь в ненависти бьется.
В нас жар разжечь не мудрено,—
Ведь топливо найдется.
Везде и всюду должно нам
Завет свободы видеть:
«Любить уже довольно вам,—
Учитесь ненавидеть!»

Едва только чтец кончил, как оттуда, где лежали истерзанные эсэсовцами, эхом ответил чей-то страшный, как в бреду, крик:

— Ненавидеть!

Только одно слово. Но кажется, будто в нем вылились страдание и ненависть всех замученных в тюрьмах Германии.

Узники замирают. Избитый со стоном надает на постель. Концерт прекращается.

Скамьи и столы расставляются по местам, в камере наступает тишина. В этот вечер никто уже не дотрагивается до шахмат и карт...

Светает. Мизике все еще ворочается без сна на своей постели. Со всех сторон слышится громкое дыхание и храп. Кто-то из избитых тихо стонет во сне. Перед Мизике снова проходят события прошедшего дня: грязный подвал к полицейском участке... омерзительная общая камера в ратуше... первый допрос комиссара... норка в отряде особого назначения, это непостижимое, дикое унижение... А что принесет ему завтрашний день? Ах, Мизике совсем уже не думает о своих галстуках, о тысяче четырехстах марках, о Бринкмане, который хочет получить с него долг. Он живет в каком-то новом мире, его волнуют новые вопросы, он ждет опасностей, которых раньше не знал. Он думает о своей Белле. То с негодованием, то с нежностью. Почему она до сих пор еще не разыскала его, почему не поставила всех на ноги, чтобы освободить его?

Мучаясь ужасными воспоминаниями и страшась будущего, сомневаясь и

снова надеясь, содрогаясь от отвращения и дрожа от восторга, Мизике наконец погружается в сон, первый сон после двадцати четырех часов.

Наутро в полицейском участке при доме предварительного заключения поднимается страшное волнение.

Торстен ощупывает свое избитое тело, стряхивает с себя тяжелый кошмарный сон и прислушивается к суете в коридоре и соседней камере. Он слышит, что зовут санитаря, и недоумевает, что могло случиться.

Спустя несколько минут в камеру Торстена входят два полицейских.

— Нам очень жаль, но получено распоряжение от гестапо.

Торстену связывают руки за спиной.

— Это делается для вашей же безопасности, — поясняет один из полицейских, — чтобы вы ничего над собой не сделали. Ваш сосед по камере Тецлин сегодня ночью повесился.

Концентрационный лагерь

—левой!левой!левой! Два, три, четыре... Ногу держать не умеете, свиньи! В Союзе фронтовиков выходило... Держись прямо! Что ты качаешься, как гулящая девка?

Словно злая овчарка, труппфюрер Тейч бегаёт по тюремному двору вокруг марширующих в две колонны вновь прибывших арестантов. Каждому выдали в цейхгаузе по два одеяла, уже поношенную, коричневую в черную полосу, арестантскую одежду, жилет, брюки, куртку, шапочку каторжанина, пару теплых солдатских сапог, простыню и полотенце. С этими вещами под мышкой вновь прибывшие идут военным строем через многочисленные дворы старой каторжной тюрьмы.

Первые дни сентября, а жарко, как в августе. Над землей тяжело нависла пронизанная солнцем молочная мгла. Каким-то чудом, несмотря на зной, еще не пожелтела листва на деревьях по ту сторону тюремной стены. Эта зелень — оазис для измученных глаз. Но высокая грязно-красная стена скрывает от узников красующиеся в летнем уборе грушевые и вишневые деревья.

—левой!левой!левой!

Колонны вновь прибывших шагают мимо старых, загаженных и ветхих корпусов каторжной тюрьмы, уже давно предназначенной гамбургским городским муниципалитетом на слом.

— Левой! Левой!

Тейч бегаёт вдоль рядов, бьёт по ногам, по его мнению, недостаточно хорошо марширующих заключённых, даёт тумаки, подзатыльники, кричит, беснуется.

Так проходят колонны по жаре и пыли мимо места, где заключённые сносят дом, в котором помещался когда-то тюремный лазарет. Они стоят в своих полосатых арестантских костюмах на полуразрушенных стенах, выбивают киркой кирпичи и сбрасывают их в вагонетки. Кирпичи сортируются на длинных столах. Наблюдающие за работой эсэсовцы забрались в тенистые места. Марширующие обмениваются с работающими немymi взглядами: ищут знакомых, товарищей...

— Отделение... ногу выше!.. Стой!

Колонна останавливается у ворот. Один из конвойных, в стальном шлеме и с карабином, дергает звонок. Часовой за воротами отворяет.

— Отделение, равняйся! Марш!

Перед ними ещё один тюремный двор. Здесь обнажённые до пояса заключённые работают лопатами. Расставлены измерительные приборы; заросшая сорной травой площадь разрыхляется и выравнивается. Перед входом в тюрьму укладывается дерном клумба в форме свастики.

— Отделение, выше ногу!.. Стой! Направо! Вещи сложить! Равняйся! Не шевелиться и не кашлять!

Тейч идёт в караульную, которая находится в нижнем этаже корпуса. За прибывшими наблюдает из окна кое-кто из эсэсовцев, среди них обершарфюрер Рудольф Хармс, бывший студент.

Тейч входит в комнату.

— Хайль Гитлер!

— Хайль Гитлер!

— На этот раз много интеллигентов. Руди, позаймись-ка с ними историей!

— Правильно, дружище! — поддерживает Ридель.

— Давай-ка, вызовем штучки три-четыре. Я до сих пор не могу забыть дурацких физиономий, что были в последней партии.

Обершарфюрер Хармс, шарфюрер Ридель, обертруппфюрер Мейзель и труппфюрер Тейч выходят из караульной. Заключённые неподвижно стоят под палящим солнцем; у некоторых катятся по лицу крупные капли пота. Эсэсовцы осматривают одного за другим.

— Подтянуться! Пятки вместе! Прямо смотреть!

Хармс выбирает одного наудачу.

— Ты почему сюда попал?

— Я продавал запрещенную газету.

— Какую?

— «Гамбургер фольксцайтунг».

— А ты?

— Н-не знаю, господин унтер-офицер.

— Как это ты не знаешь?

— На меня, наверное, донесли, господин унтер-офицер. Я вывесил пятого марта красный флаг. Больше ничего.

— Придется тебе поразмыслить над этим делом, я тебя еще раз спрошу... Ты?

— Я за нелегальную работу для КПП.

— Ты какую работу вел?

— Я собирал взносы.

— У кого?

— От номера две тысячи семнадцать до номера две тысячи двадцать два!

— Я спрашиваю, как звали тех, от кого ты получал!

— Да я и сам не знаю.

— А, вот как! Ну, так тебе тоже придется еще подумать.

Хармс становится перед выстроившимся отделением и командует:

— Работники умственного труда — шаг влево.

Вышло трое.

— Ты кто?

— Врач.

— Врач? Фамилия?

— Доктор Калькраух.

— Почему здесь?

— У меня нашли иностранные газеты.

— Так, так! Вот ты какая птица! Помаленьку родину предавал! А?

— Нет.

— Молчать! Понял?.. Ты кто такой?

— Профсоюзный служащий.

— А ты?

— Помощник писаря.

— Больше служащих нет? — спросил Хармс остальных.

— Есть! Я.

— И я.

— Ну, гоп-гоп, выходи! Вся пятерка туда — к стене! В ряд! Пошевеливайся!

Хармс становится в позу фельдфебеля и с важным видом обращается к первому с краю, доктору Калькрауху:

— Кто был Ленин?

Заключенный сначала удивленно смотрит на спрашивающего, затем вопросительно — на остальных ээсовцев, которые стоят тут же и язвительно ухмыляются.

— Ну, скоро ты там?

— Ленин? Ленин? — Доктор старается придумать самый простой и безобидный ответ. — Ленин? Ленин был Председателем Совета Народных Комиссаров в СССР.

Бац — раздаётся звонкая пощечина.

Хармс переходит к следующему — профсоюзному служащему.

— Кто был Ленин?

— Вождь коммунистов.

Бац — звенит вторая пощечина.

Очередь за писарем.

— Кто был Ленин?

Тот в испуге, с минуты на минуту ожидая пощечины, бормочет:

— Ленин... Ленин был... Я не знаю!

Бац! Бац! Две пощечины одна за другой. Хармс считает, что нужно знать, кто был Ленин.

Спрашивает обоих служащих. Один отвечает:

— Ленин был учредителем Советов.

Другой:

— Ленин был еврей.

Пощечина и тому и другому.

— Кто ответит правильно, может сесть туда, в тень под стеной.

Игра в вопросы и ответы начинается сначала.

— Кто был Ленин?

Доктор думает: что ему, собственно, нужно? И «еврей» уже говорили, и тоже невпопад. Наконец нашелся:

— Враг Германии!

Но не успел он договорить, как недоучка студент снова бьет его по лицу.

Профсоюзник думает так долго, что ему попадает раньше, чем он успеваает что-либо ответить.

Писарь выпаливает, заикаясь:

— Ленин был... был... ужасный человек!

По лицам эсэсовцев пробегают злорадная ухмылка. Даже Хармс улыбается:

— Как это, ужасный человек? Точнее!

— Он был... ре... волюционер!

Бац — и писарь отлетает на несколько шагов.

— Кто был Ленин?

Один из служащих предполагает:

— Коммунист! — и получает вторую пощечину. Другому тоже достается за то, что бормочет нечто непонятное.

— Ах вы, подлецы! — рычит обершарфюрер Хармс. — Не знаете, кто был Ленин? Так я вам скажу! Главарь шайки разбойников, организатор массовых убийств! Встать в строй! И чтобы никто и шевельнуться по посмел, иначе до тех пор буду гонять по двору, пока от вас пар не пойдет!

Полтора часа стоят заключенные под палящим солнцем. Уже прошли в тюрьму рабочие команды. Привезли на открытом грузовике обед в цинковых бидонах, и теперь машина возвращается обратно с пустой посудой. Рядом с доктором стоит худой, изможденный человек в потертой одежде. Врач знает, что это инвалид войны, и видит, как он шатается, преодолевая дурноту, но не имеет права помочь ему, поддержать его, не смеет двинуться с места.

Ридель выходит из караульной, видит, как шатается от изнеможения заключенный, и подходит к нему.

— Может, ты устал стоять?

— Нет, господин унтер-офицер.

— Давай для разнообразия побегаем... Вокруг двора, марш, марш!

— Господин унтер-офицер, я...

— Не разговаривать! Ну! Живо! Поторапливайся!

Тюремный двор — большая площадь. Под ногами пыльный песок; ни деревца, ни кустика, защищающих от солнца. Тридцать заключенных должны смотреть, как их товарища, инвалида, гоняют по жаре вокруг двора.

— Живей, живей! — погоняет Ридель. — А ну-ка, подстегни этого ленивого пса! — кричит он стоящему у стены часовому.

Задыхаясь, с серо-зеленым лицом, заключенный обегает площадь.

— И это, по-твоему, называется бежать? Еще круг! Пошел!

— Господин унтер-офицер, я...

— Ах, собака! Ты еще разговаривать!.. Руди! — зовет он в окно караульной. — Кинь-ка мне хлыст!

Арестованный прижимает руки к груди и снова бежит вокруг двора. Часовой у стены снимает ружье и прицеливается. Но ничего не помогает, загнанный, в изнеможении опускается у стены. Ридель неистовствует, грозит, что заставит его еще три раза обежать двор. Тот собирается с последними силами и, свесив голову, прижав руки к груди, уже не бежит, а бредет, шатаясь, еле передвигая ноги. Не дойдя до товарищей, которые в бессильной злобе не спускают с него глаз, он валится на землю.

Ридель бросается к нему, как бешеная собака, толкает ногой в бок и орет:

— Вставай! Вставай! Симулянт, мокрая курица!

Но тот, еле переводя дыхание, шепчет:

— Я... инвалид... войны...

Ридель ошеломлен.

— Ты инвалид войны? — И он вглядывается в человека, который лежит у его ног и жадно глотает воздух. — Куда ты ранен?

Тогда стоящий в первой шеренге доктор Калькраух выходит на шаг вперед и докладывает:

— Арестованный Иоганн Нагель был дважды тяжело контужен и отравлен газами. У него только половина легкого.

Ридель бледнеет. Еще некоторое время он стоит и изумленно смотрит на

инвалида. Он знает, что на него направлены тридцать пар глаз. Медленно подходит стоявший у стены часовой.

— Но почему он мне не сказал об этом?

Ридель подзывает врача и еще двух арестованных.

— Возьмите его! Нельзя же, чтоб он здесь оставался. Подложите ему под голову одеяло.

Товарищи несут Иоганна Нагеля в тень. Он дышит тяжело, с легким свистом.

— Хоть бы слово сказал о своем состоянии! Вот ведь какой человек!..

Ридель вдруг притих. Он просит в окно караульной передать ему термос и бутерброд из его шкафа. Нагель жадно пьет кофе, а от хлеба отказывается.

— На, ешь! Наверное, проголодался.

Но инвалид продолжает отказываться.

— Тогда спрячь. Поешь, когда захочешь.

Шарфюрера Риделя узнать нельзя, Он суетится вокруг больного, хлопчет о том, чтобы поскорее вызвали фельдшера, подбадривает обессиленного, прерывисто дышащего Нагеля. И при этом старается избежать испытующих взглядов арестованных.

— Чертовски жарко! — говорит он, как бы между прочим обращаясь к ним. — Если вам трудно стоять, так расслабьтесь немножко, легче будет.

Уже сменились часовые, вернулась с обода рабочая команда, а арестованные все еще стоят на дворе, под жгучими лучами солнца. Четыре часа стоят они так на одном месте. Тело устало, голова отяжелела, судорожно сжимается от голода желудок, во рту пересохло. Они завидуют товарищам, которые орудуют лопатами и кирками, копают, вывозят мусор. Им тоже жарко, и с них ручьями льет пот, но им не надо без дела стоять навтыжку под жгучим солнцем. Даже выносливые начинают покачиваться. Какой-то молодой рабочий, в блузе с большим отложным воротником, с нежным, девичьим лицом, падает. Стоящие рядом подхватывают его и поддерживают.

Наконец является судебный чиновник в новой, с иголочки, форме тюремного ведомства и командует:

— Вещи взять! Марш!

Арестованные взбираются, шатаясь, по каменной лестнице. В широком прохладном коридоре их снова выстраивают. Но для них это отдых после

страшной жары; все облегченно вздыхают полной грудью и расслабляются.

— Те, кого я буду вызывать, запоминайте, в какую группу включены. Адольф Ратье, Гергардт Бушин, Эгон Гринке, Герман Древе, Вальдемар Лозе, Вальтер Энгельберт, Вильгельм Бьяллаш, Иоганнес Кольцен, Фридрих Бекенмайер, Вальтер Нейман, Эрист Феллер, Артур Зенгер, Отто Штенке, Вилли Ауэрбах, Фридрих Туракс, Оттомар Кац, Генрих Ширман, Эрвин Дарлинг, Фриц Ремзен — группа первая. Дальше! Курт Краних, Эрих Бекер, Ганс Келлер, Адольф Реймерс, Иозеф Шпильке, Кристоф Траут, Альберт Шмидт, Ульрих Хармс. Эти войдут во вторую группу. Эмиль Шпираль, Карл Фишер и Вальтер Крейбель — в третью... Кто Шпираль?

— Я!

— За что попал?

— За столкновение на Адмиралитетсштрассе.

— Фишер!

— Я.

— Ты за что?

— Я член Союза красных моряков.

— Кто Крейбель?

— Здесь! Я.

— За что?

— Я был редактором газеты «Фольксцайтунг».

— Гм! Значит, ты один из преступных заправил учреждения на Валентинскамп³. Откуда тебя сюда направили?

— Несколько дней был в ратуше. Допрашивали.

Арестованные строятся по группам. Первая группа будет размещена в общей камере, группа вторая — в одиночках, группа третья — в подвале, в темных карцерах.

После того как тюрьма запирается на ночь, караульные всех отделений собираются в караулке в нижнем этаже, играют в скат, читают газеты и играют в кости на кружку нива. Когда нет шарфюрера Цирбеса, хороводит оберштурмфюрер Мейзель. Мейзеля больше всего огорчает его маленький несолдатский рост. Только благодаря связям он, за несколько месяцев до

³ Улица в Гамбурге, где находится дом, в котором помещались различные учреждения местной коммунистической организации.

захвата власти, попал в морской штурмовой отряд. После окончания школы он был юнгой на корабле, где его оскорбляли, ругали и били. С тех пор он решил, что лучше самому бить, чем быть битым. Для него особенное наслаждение бить больших, сильных мужчин. Его ночные налеты на одиночки наводят ужас, и многие из его товарищей даже отказываются принимать в них участие, потому что тогда он не знает границ. Служака он примерный: ловок, аккуратен, до педантизма исполнитель. Сам беспрекословно повинует начальству и требует беспрекословного повиновения от подчиненных.

Как самому маленькому из всего караульного отряда, ему дали прозвище «Пеппи». Он приходит в бешенство, когда слышит его от подчиненного, и покорно, с подобострастием улыбается, когда его употребляет начальник.

Ридель узнал из документов, что арестованный Иоганн Нагель участник войны, получил Железный крест первой и второй степени, был четыре раза ранен — один раз тяжело. Нагель — семейный и арестован по пустячному делу: собирал взносы для Союза инвалидов труда и войны. И этого ветерана войны он гонял и мучил, пока тот не свалился.

Ридель был воспитан в родительском доме в строго националистическом духе. Его отец погиб в 1917 году во Франции, и мать, в память мужа, продолжала воспитание единственного сына в патриотическом духе, как сама его понимала. Она собирала, между прочим, все посвященные войне патриотические сочинения. И когда маленький Жорж превратился в юношу Георга, эти книги стали его единственным чтением. Преклонение перед солдатчиной привело его к Адольфу Гитлеру.

И он, именно он загонял, как паршивую собаку, этого фронтовика и инвалида, награжденного двумя крестами! Сколько ни уговаривают его товарищи, сколько ни убеждают, что все-таки дело идет о коммунисте, — он не успокаивается. Он считает, что даже коммунист, если он участвовал в войне за Германию, продолжает оставаться фронтовиком и что нельзя ставить его наравне с трусливой тыловой сволочью и дезертирами. Ридель очень удручен и мучается угрызениями совести.

Мейзель посмеивается над Риделем, который явно избегает сегодня товарищей, говорит, что Ридель сентиментален, как старая баба, и мягкотел, как соци.

— Советую тебе сказать ему это в глаза, — предлагает шарфюрер Кениг, караульный из отделения «Б-3».

— Ты думаешь, я боюсь его, что ли?

Кениг не отвечает, отворачивается и спрашивает:

— Кто сыграет со мной в скат?

Играющие садятся за маленький столик, берут карты и оставляют надувшегося Мейзеля одного у окна. Даже Ленцер, который во всем держит его сторону, отходит от него и берет газету.

Мейзель остается у окна и наблюдает за товарищами. Рот его искривлен безобразной, презрительной улыбкой. Входит Ридель.

Что это? Бахвальство, упрямство, вызов или воинственный задор? Мейзель встречает Риделя словами:

— Да, Жорж, этот Нагель... ну, ты знаешь какой... он только что умер!

Ридель останавливается, как громом пораженный. Кажется, у него вся кровь отлила от лица. Все оглядываются на Мейзеля, но не говорят ни слова.

— Это правда? — спрашивает потрясенный Ридель и выбегает из комнаты.

— Ты что, совсем спятил? — первый приходит в себя Кениг.

— Да-а, это ты зря!

Ленцер ограничивается этим замечанием и продолжает читать.

Мейзель краснеет, как рак, и чувствует, что даже шея налилась кровью. Черт возьми! Какую скверную штуку он выкинул. Не стоило этого делать. Они все сегодня какие-то странные. Ну, наплевать! Сентиментальный слюняй!

Немного спустя в комнату возвращается Ридель. Мейзель все еще стоит у окна. Тот направляется прямо к нему.

— Что это значит?

— Ладно, я пошутил.

— Ты называешь это шуткой?

— Да, я называю это шуткой. А вообще тебе, ей-богу, не мешало бы проявлять побольше боевой беспощадности и суровости!

Ридель как-то жутко спокоен, и Мейзелю становится очень не по себе, когда тот, отчеканивая каждое слово, бросает ему в лицо:

— Боевая беспощадность и суровость... Ах ты, сволочь! Это ты только здесь, в тюрьме, до этого додумался! А где ты был тогда, мерзавец, когда действительно нужны были эта боевая беспощадность и суровость? Дерьмо ты этакое!

— Я об этом донесу, так и знай!

Спокойствие Риделя иссякает. Он размахивается, ударяет Мейзеля и сбивает со стула. Тот вскакивает, бледный как полотно, и пытается вытащить из кармана револьвер, но не успевает, так как Ридель бросается к нему и одним ударом снова сбивает его с ног.

В это время Кениг, Ленцер и оба караульных из отделения «Б» вскакивают со своих мест и бросаются к дерущимся.

— Будет вам! Нашли из-за кого драться!

Их разнимают.

— погоди, молодчик, мы еще сочтемся! — кричит Ридель вслед Мейзелю, который, вне себя от бешенства, выбегает из комнаты.

Прошла неделя, как Генрих Торстен сидит в темном карцере. Его больше не допрашивали. После самоубийства Иона Тецлина он пролежал еще день в полицейском участке при доме предварительного заключения, а затем его перевели в концентрационный лагерь в Фультсбюттель. С первого же дня его бросили в карцер и надели наручники.

В темной, как и во всех прочих камерах, есть зарешеченное окно; но здесь, в подвале, его закрывают досками, и в комнату не проникает ни один луч. Раз в три дня, когда дают горячее, караульный убирает на двадцать минут деревянные ставни; все остальное время заключенный проводит в кромешной тьме.

После первых часов беспомощного блуждания глаза привыкли, и Торстен уже ясно различал тюфяк, кувшин с водой и стульчак. Несмотря на это, он испытывал такое ощущение, будто ослеп. Первые два дня он бродил какой-то бесчувственный и отупелый и думал только о своем избитом теле. Он обтирался холодной водой, делал, насколько позволяли наручники, массаж, утром и вечером гимнастику.

После трех темных суток Торстен начинает волноваться. Как долго могут они продержаться человека в темноте? Три дня? Неделю? Дольше... невозможно. Какие зверские идеи приходят людям в голову! Он потягивается, стискивает челюсти: «Хвала всему, что закаляет человека! Только бы не пасть духом».

Когда он в этой вечной темноте кружит вдоль стен своей камеры, его начинают осаждать беспорядочные мысли, воспоминания, причудливые идеи. Первые дни он отдается их произвольному течению, но затем приучается мыслить дисциплинированно, начинает регулировать свою, как он называет, умственную жизнь. Он дает себе задания и самым тщательным образом их выполняет.

Задание первое: доклад на тему — от изречения кайзера: «Я не знаю больше никаких партий, я знаю только немцев!», до заявления Гитлера: «Я не знаю больше никаких партий, кроме германской национал-социалистской партии!»

Два темных, как ночь, дня Торстен готовится. Он подбирает в памяти материал: исторические события, личные переживания, высказывания руководящих политических деятелей. Затем принимается за построение доклада, разделов его на отдельные части, соответственно послевоенным периодам.

Он представляет себе зал, переполненный членами коммунистической и социал-демократической партий Германии, перед которыми ему предстоит выступить.

Торстен говорит с девяти часов утра до двенадцати дня и с трех до пяти. Он убежден, что это самый основательный и самый лучший доклад в его жизни.

Но потом опять наступают часы, когда ему кажется, что он сойдет с ума. Бременами никакие попытки отвлечься не помогают, и он, задыхаясь, бегаёт во тьме по камере, не в силах ни обуздать, ни собрать свои дикие, неукротимые мысли.

Однажды он слышит, как в коридор приводят трех новых арестованных. Одного помещают в камеру рядом. Теперь будет занято одиннадцать темных камер.

Вновь прибывший беспокойно мечется по своей камере, как попавшая в клетку мышь. Кто он? Молодой или старый, товарищ или беспартийный? Били его или, быть может, только пригрозили? Ужасно, когда человека совершенно неожиданно бросают в темную дыру и он лишен малейшего представления о том, сколько времени ему придется в ней пробыть.

Новичок перестал бегать. Торстен невольно прислушивается. Что он теперь делает? О чем может думать? Торстен медленно кружит по камере.

Новичок стучит в стену. Тихо, чуть слышно. Стучит с правильными интервалами. Эта игра доставляет ему, по-видимому, удовольствие. Бедняга, не прошло и часу как он здесь, и уже так волнуется, не владеет собой.

Наверху в отделении кальфакторы⁴ тащат ведра с чаем. Сейчас принесут ужин. Вот и еще день прошел. Новичок продолжает стучать, но

⁴ Лица, исполняющие различные работы по обслуживанию захваченных, назначаемые администрацией тюрьмы из среды самых заключенных.

уже гораздо громче. Как бы караульный не поймал его за этим делом. Да, весьма беспокойный жилец.

Кальфактор уже спускается с лестницы, а тот все стучит. Тогда Торстен ударяет в стену наручниками. Стук прекращается. Как раз вовремя: караульный уже внизу и открывает первую камеру.

Дежурит эсэсовец Ленцер. Если бы Торстен этого не знал, то мог бы услышать; уже с первой камеры начинается крик, и чем дальше, тем он становится громче. Вот Ленцер подходит к соседу.

— Не можешь, гадина, отрапортовать о себе? Когда дверь отпирается, должен крикнуть: заключенный такой-то! А потом стать у окна, руки по швам. Как зовут?

— Заключенный Крейбель.

— Громче, чего шепчешь!

— Заключенный Крейбель!

— Еще громче! Чтоб слышно было по всему зданию!

— *Заключенный Крейбель!*

— Ну, вот и прекрасно!

Один кальфактор подает Крейбелю кусок черствого черного хлеба, другой черпает из ведра горячего чаю и наливает в жестяную кружку.

Новичок щурится на желтый электрический свет из коридора.

Как только караульный запер дверь, Крейбель прижимается к ней и прислушивается. Его сосед рапортует:

— Заключенный Торстен!

Услышав это имя, Крейбель подпрыгивает от радости. Рядом с ним Торстен, депутат рейхстага Торстен, о котором говорят, что от него не удалось добиться ни одного слова. Черт возьми! Надо добраться до него во что бы то ни стало. Есть же какой-нибудь способ связаться друг с другом. О, проклятая стена!

Торстен никак не может понять странного поведения соседа. Этот Крейбель, судя по голосу, должен быть молодым. Торстен, которому караульный снял наручники, еще наслаждается горячим чаем, как за стеной снова слышится стук. Торстен не обращает внимания, но затем начинает опасаться, что может войти Ленцер, чтобы опять надеть наручники, и заметить стук. И Торстен несколько раз сильно ударяет в стену. Стук тотчас прекращается.

В то время как Торстен, медленно шагая взад-вперед по камере — пять

шагов до окна, пять до двери, — составляет про себя короткие выступления, обдумывает политические вопросы, произносит вполне законченные речи, его юный сосед, сидя в углу на корточках, жмурится изо всех сил, пытаясь сосредоточиться и хотя бы в мечтаниях своих уйти от этого мрака. Он воскрешает в памяти свои былые радости и вновь наслаждается ими, стараясь оживить даже самые незначительные пустяки. Мысленно перечитывает книги, которые когда-то особенно потрясли его... Страдает вместе с Давидом Копперфильдом, вместе с ним спасается бегством, любит вместе с ним, вместе с ним торжествует победу над негодяями, некогда отравлявшими ему жизнь... Странствует вместе с Пером Гюнтом по свету в поисках приключений, о которых не помышлял даже сам Ибсен, чтобы, в конце концов, дряхлым, надломленным оказаться одному на скалистом берегу своей северной родины... Вместе с умирающим Иваном Ильичом испытывает страх перед надвигающейся смертью; Крейбеля даже охватывает жуткая предсмертная дрожь, так что он тут же открывает глаза и в испуге вскрикивает: вокруг ничего, кроме непроглядной тьмы...

Он забыл, где находится...

Ему хочется отвлечься, хотя бы внутренне, и он призывает на помощь музыку... В детстве Вальтер Крейбель пел в детском хоре при городской опере, ему платили за вечер пятьдесят пфеннигов, а то и целую марку, и после окончания школы пение было для него куда более интересным и приятным занятием, нежели работа рассыльного... Мелодии, до сих пор дремавшие в его душе, рвались наружу. Но это богатство необходимо было расходовать экономно, его должно хватить на все то время, пока ему суждено томиться в полной тьме. А кто знает, когда она кончится? Он наметил программу: увертюра, интермеццо, арии, дуэты; но главное в ней составят его любимые мелодии. Он начал с легкой музыки: с арий и дуэтов из «Прекрасной Елены», «Цыганского барона», «Летучей мыши», «Оружейного мастера» и из «Царя-плотника»... Примостясь на корточках в углу и крепко зажмурив глаза, он тихонько напевал все знакомые ему мелодии из этих оперетт и был радостно удивлен тем, что до отбоя не исчерпал весь свой репертуар. Для следующего вечера он наметил серьезную оперную музыку: мелодии и арии из «Мейстерзингеров», «Риенци» и из «Волшебной флейты»; гвоздем этой программы должны быть куски из «Фиделио»...

О, боже, тьма какая!

Как жутко в сей тиши!

Пустыня вокруг меня, —
И ни живой Души.
Снесу ли испытанье...

Сегодня, по окончании поистине воодушевляющего концерта, названного им «Большим оперным попури» и включающего в себя мелодий из «Африканки», «Гугенотов», «Жидовки» и «Маргариты», Вальтер, как ребенок, радуется предстоящей завтра встрече с музыкой, которая начнется ровно в три часа пополудни (в это время раздается сигнал к смене караульных) и когда зазвучат его любимые мелодии: «Лючия ди Ламермур», «Любовный напиток», «Норма», «Пуритане», мелодии обожаемого им Верди, к которому Вальтер питал слабость. Верди он знает основательно, «Риголетто» и «Аиду» он пропоет с начала и до конца, а на закуску оставит дружеский дуэт из оперы «Сила судьбы»... Завтрашний день будет для него праздником... Как было бы хорошо, если бы еще и сосед мог принять участие в этих музыкальных развлечениях, тогда он имел бы и публику. Но товарищ, видимо, не слишком сообразителен. За решеткой он наверняка впервые, иначе должен бы знать азбуку перестукивания... И, однако же, стоит попытаться еще раз.

Два удара — пауза — два удара... Один — пауза — пять... Три — пауза — три... и так далее.

Но за стеной по-прежнему тихо.

Долгий пронзительный свисток. Слышен зычный рык дежурного Ленцера:

— «А-один»! По койкам!

Семь часов, время сна.

Торстен снимает, с соломенного тюфяка два одеяла, перетряхивает солому и начинает раздеваться. Наливает полный таз холодной воды и обтирается.

Торстен лежит на своем соломенном тюфяке. Семь часов. На дворе еще совсем светло. Семь часов. В это время люди идут в театр, кино; в это время начинаются собрания, заседания. Еще, наверное, и солнце не скрылось. Как чудесны эти дни перехода от лета к осени! Поспевают плоды, листва начинает отливать золотом. Ах, не надо думать об этом! Не надо!

Обертруппфюрер Мейзель, труппфюрер Тейч и матрос-штурмовик Нусбек входят в караульную при отделении «А-1». Там сидят только

Лерцер и Кениг.

— Роберт, пойдешь с нами? Мы хотим проведать Кольтвица, — обращается Мейзель к Ленцеру.

— Ступай сам, мне неохота.

— А ты? — спрашивает он Кенига.

— Да этот Кольтвиц еще от предыдущей порки не опомнился.

— Вот важное дело! Эту еврейскую сволочь нужно каждый день пороть.

Но Кениг отказывается. Мейзель снова глядит волком. Он чувствует, что дело неладно. Уж не замышляют ли они против него заговор? Ну, он этого дожидаться не станет. И, не прощаясь, Мейзель уходит со своими спутниками.

— Ишь озверевший хам! — ворчит Кениг. — Я бы на твоём месте вообще не позволял пороть людей у себя в отделении помимо приказа.

— Ерунда, ведь дело идет об этом еврее из Любека!

— Безразлично. Попробовал бы этот Мейзель сунуться в мое отделение!

— Ты знаешь, он бы меня со свету сжил, если бы я ему сказал хоть слово. Да и не желаю я ему мешать, по мне, пускай перебьет всю эту сволочь.

Торстен лежит в полудремоте с закрытыми глазами — и вдруг в испуге вскакивает от шума и топота над головой. Совсем как третьего дня. Опять кого-то бьют. Он напряженно прислушивается. На одно мгновение все стихает. А затем начинают доноситься звуки непрерывно хлопающих ударов. Один за другим. Хлоп-хлоп! И странно: ни крика, ни стога. Хлоп-хлоп! Хлоп-хлоп! Должно быть, бьют вдвоем, попеременно. Но почему избиваемый не кричит, не воет? Кто может выдержать молча такие страдания? А там без устали: хлоп-хлоп! Хлоп-хлоп!

Новый сосед, видно, тоже не спит и стучит в стену. Если те там, наверху, это услышат, то непременно наведаются сюда в подвал. Отчаянный парень! Видно, не сознает опасности. Торстен стучит нетерпеливо, стучит до тех пор, пока сосед не прекращает.

Ужасный, животный крик. И снова мертвая тишина. Только слышны хлопки ударов. Они его там забьют до смерти. Это непрерывное «хлоп-хлоп! хлоп-хлоп!» может свести с ума.

У Торстена выступает на лбу холодный пот. Кто бы мог в это поверить? Ему вспоминается ночь в отряде особого назначения. Перед ним весь штаб штурмовиков и эсэсовцев во главе с заместителем, тупые, холодные рожи, похожий на разъяренного бульдога комиссар с протезом.

А наверху по-прежнему: хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, хлоп-хлоп... Пусть бы он лучше кричал. Самое ужасное — это тишина. Но Торстену кажется, будто все-таки слышны стоны.

Хлоп-хлоп! Хлоп-хлоп! Торстену хочется зажать уши, но он внушает себе, что это трусость. Хвала всему, что закаляет человека! Что же мы сделаем с этой озверелой сволочью, которая с такой холодной жестокостью засекает, людей до смерти? Что сделаем мы с ними, когда они в день расплаты попадут нам в руки? Во всяком случае, грядущая германская пролетарская революция не погибнет во имя гуманности. Ноябрь 1918 года не повторится. Определенно не повторится.

Его новый сосед встал с постели и босиком ходит взволнованно по камере. Стучать он, очевидно, больше не решается. Бедняга, должно быть, совсем вне себя. В такие ночи никакие нервы не выдерживают. Ведь каждый заключенный может в любую минуту ждать палачей. Отданы на расправу двадцатилетним мальчишкам-охранникам!

С ума можно сойти! Там, наверху, все продолжают размеренно, как машина, избивать человека: хлоп-хлоп, хлоп-хлоп!.. И больше ничего не слышно, ничего! Ни стонов, ни жалоб, ни проклятий, ни слов, все только — хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, хлоп-хлоп!..

А остальные? Ниоткуда не слышно ни звука. Они, как и Торстен, лежат на своих койках в холодном поту, дрожа всем телом, во власти бредовых кошмаров, охваченные исступленной жаждой мести.

Их лихорадит оттого, что они находятся глубоко под землей, в сыром подzemелье... Они умирают здесь от голода, заживо гниют и истлевают... Их лихорадит и оттого; что они знают: под сводами длинных подземных коридоров через каждые два метра томятся прикованные цепями люди... Некоторые уже превратились в скелеты, другие же, доставленные сюда сравнительно недавно, выглядят несколько лучше на общем фоне... На палачах форма штандартенфюреров, их лица, с полным безумия взглядом, хорошо знакомы узникам... Страшные кошмары мерещатся в подобные ночи заключенным, которые лежат на своих нарах, не в силах сомкнуть глаз.

На следующий день утром, при раздаче кофе, караульный Ленцер находит заключенного Кольтвица на полу посередине камеры раздетым. Он думает: «Значит, околел», — но, подойдя ближе, видит, что тот еще жив.

— Эй ты, падаль, вставай! Что это еще за новая мода, а?

Кольтвиц пытается подняться, но не может. Он начинает плакать,

всхлипывать.

Тогда Ленцер вспоминает:

— Ах, вот что! Гм! Ну-ка, помогите мне его поднять.

Два кальфактора и Ленцер пробуют приподнять его.

Кольтвиц начинает отчаянно кричать. Они оставляют его в прежнем положении, лицом вниз, на каменном полу.

— Однако ничего не поделаешь, мой милый! Нельзя же так оставаться. Ляг на койку! Я позову фельдшера. Ну, вставай, будь молодцом!

Теперь Кольтвиц может лежать целый день: разрешил фельдшер. Чтобы успокоить нервы, ему дали какие-то пилюли; на столике рядом с смоляным канатом присыпка для ран. Он обычно щиплет паклю, и в затхлой камере невыносимо пахнет смолой. Кольтвиц осторожно пробует лечь на левый бок; хотелось бы полежать на спине, если бы можно было выдержать. Ягодицы превратились в какую-то иссиня-черную вздутую массу. Кровоподтеки причиняют страшную боль. Но ужаснее всего болит правая нога — ушибли ножкой от скамейки коленную чашечку. Пониже колена сильная опухоль, и малейшее движение вызывает нестерпимую боль.

Это уже третья ночь, как они за него взялись. Третья ночь! Он знает, что они хотят заставить его повеситься. Вот и канат. Было уже немало намеков. Но он не хочет, он хочет жить, он должен жить, ради жены и ради ребенка. Только ради них, и уж ни в коем случае — не ради товарищей.

Товарищи? Эти негодяи? Он, социал-демократ, редактор партийного органа, арестован социал-демократом, начальником полиции Мерлейном, и отдан в руки нацистов. И за что? Почему? Только потому, что он был против унификации газеты. Только потому, что он противодействовал им, был для них слишком левый. И потому, что он еврей. Товарищи? Хороши товарищи! Вот Фриц Лебер совсем другой.

Лебер. Этого наци, конечно, прикончат. Что там ни говорите: Лебер — боевая натура, не предатель. А те свиньи сейчас же перекинулись и отреклись и от него и от Лебера. Преподнесли наци газету, сорок тысяч марок наличными и себя в придачу — да и сидят там до сих пор. Так что у «Фольксботе» вместо трех стрел на заглавном листе теперь красуется свастика.

Ох, мерзавцы! И для этого он отдал пятнадцать лет своей жизни! И за это его бьют до полусмерти! Негодяи! Этот подлец Мерлейн! Сидит себе в своей вилле в Шлутупе и получает пенсию — пенсию за предательство...

Кольтвиц с большим трудом переворачивается с одного бока на другой. На животе он больше не может лежать. Правая нога неистово ноет. Но

наконец ему удастся лечь почти на спину.

Еще не наступил полдень, а он уже с ужасом думает о вечере. Цирбес, который должен сменить Лепцора, — настоящий зверь. Неужели его могут бить в таком состоянии? Могут! Кольтвиц знает, знает на собственном опыте. Они опять завяжут ему лицо мокрым платком и будут бить, пока он не потеряет сознания. Конечно, Цирбес способен на это.

А может быть, и в самом деле сплести себе веревку? Не лучше ли самому покончить? Ведь они, пожалуй, будут бить его до тех пор, пока он до этого не дойдет. К чему тогда оттягивать?

Бледный, худой Кольтвиц волей-неволей посматривает на канат, на волокна, которые он надергал. Да есть ли вообще какой-нибудь другой выход? Разве есть?

Рука сама собой тянется под тюфяк и достает оттуда письма — письма от жены. Он знает их наизусть. Он может повторить их от слова до слова, но ему хочется посмотреть на ее почерк, тогда она как будто тут же, рядом с ним, он видит ее перед собою, понимает. Кольтвиц вынимает одно письмо из конверта и читает, читает и плачет...

«Дорогой мой, сейчас девять часов вечера. Мальчик лежит уже в постели, в доме наступил долгожданный покой. Но этот покой, который, как казалось, должен быть так приятен после целого дня волнений, тоже мучителен. Мне не хватает тебя. Что бы я ни делала, о чем бы я ни думала, все недостает тебя. Ведь я раньше никогда не была нерешительной, а сейчас мне все хочется сперва спросить тебя, услышать твой совет. Ах, Фриц, как подумаю, что тебя держат за решеткой, как дикое, опасное животное, что тебя, быть может, даже оскорбляют грубыми, бранными словами, не могу успокоиться. Какое, собственно, преступление совершили мы, что нас так наказывают? Но я не хочу больше мучить тебя своими заботами. Нам сейчас плохо, но придет время — и все снова будет хорошо. Но начать ли нам тогда новую прекрасную жизнь, подальше от этой гнусной политики? Зачем приносить себя в жертву другим, вероломным людям? Я знаю много такого, что могло бы доставить тебе радость, и я хочу тогда жить только для тебя. Я знаю, раньше не всегда было так, я часто поступала эгоистично и скверно по отношению к тебе.

Знаешь, Фриц, любимый мой, несколько дней тому назад, когда я вот так думала о тебе, думала с такой глубокой

нежностью, мне снова вспомнилась та песня Бетховена, которая нас когда-то сблизила, которая дала начало нашей любви, и теперь она все время не выходит у меня из памяти.

Помнишь ли ты ее еще? Напеваешь ли когда-нибудь про себя?

Люблю тебя, как ты меня,
Как мы всегда любили.
Ведь нет ни дня, чтоб ты и я
Заботы не делили...

Напевай эту песню каждый вечер в девять часов, тогда наши голоса и мысли встретятся, и, несмотря на тюремщиков, несмотря на стены, мы будем близко друг от друга...»

Кольтвиц смотрит, не отрываясь, влажными от слез глазами на дверь камеры и через нее далеко, туда, в родной Любек. Там за городом его домик с палисадником, в котором цветут темно-красные и чайные розы и отливают золотом большие подсолнухи. Мальчик, должно быть, лакомится смородиной и крыжовником, а она хозяйничает в кухне, готовит обед.

Он вынимает еще одно письмо...

«Фриц, дорогой мой, я так давно ничего о тебе не знаю, но я предполагаю, что тебе запрещают писать. Здесь рассказывают, что у вас в лагере стало строже. Надеюсь, что тебе живется сравнительно сносно. У Беппо неприятности в школе. Его дразнят и обижают. Большинству в классе уже запрещено с ним разговаривать. Помнишь, как прежде господа налоговые инспекторы и школьные советники подсылали к нам своих детей, когда для их успешной карьеры нужна была твоя заручка в парламенте? Сейчас все перевернулось. Теперь каждый считает своей обязанностью бросить в тебя камнем.

Беппо, по-моему, реагирует на все это не совсем правильно. Он у нас смелый мальчик, конечно, но то, что он именно теперь гордится своим еврейским происхождением, мне неприятно. А он меня не слушает. «Мамочка, — говорит он, — они преследуют и презирают нас, потому что мы евреи. Но они

глупее меня, значит, я, именно я, имею право гордиться тем, что я еврей. И если бы я поступал иначе, я был бы предателем по отношению к отцу, который страдает больше, нежели мы». Конечно, такой сын не может не радовать сердца, не правда ли? Но если бы он был немного скромнее, мне было бы спокойнее.

Вчера, во время уборки, мне попала в руки книга, которую ты очень любишь и которую ты часто мне читал: «Китайская лирика». Я стала пересматривать ее, и каждая строфа, каждый стих напоминали мне о счастливом, беззаботном времени. Два стихотворения мне кажутся особенно прекрасными и так подходят к моему теперешнему настроению. Ты, конечно, помнишь их.

Цветом померанца сыпал небосвод.
Мы едва согреть свое успели ложе.
Видел нас закат сплетенными, и что же?..
Уж в разлуке нас застал восход.
Никогда тебя я не забуду,
Будь, как храбрый воин, начеку.
В одиночестве льняной убор я тку,
Подводить бровей уж больше я не буду.
Взгляд мой вместе с ветром по саду блуждает.
Много птичек; там, и малых и больших,
Парами всегда я вижу их,
А тебя увижу ли — кто знает?

А это чудесное стихотворение, которое, как я помню, Ты так любишь и несколько раз читал мне. Ах, мне кажется, я была тогда истуканом и только сейчас могу прочувствовать каждое слово.

Солнечный закат окутал желтой пылью город.
Вороны расселись по деревьям, каркают, качаясь.
Воина супруга юная прядет из шелка нити,

Слышит крик вороний, видит, как устало
Красные лучи на занавес ложатся.
Руки замерли. Ее желанья
К милому несутся в буйной пляске.
К ложу одинокому она подходит,
Слезы жаркие в молчанье проливает.

Печальны и скорбны эти стихи, и такой же печалью и скорбью полна моя душа. Если бы я могла принять на себя хоть часть твоих страданий! Они разделены несправедливо; вся тяжесть их досталась тебе одному. Нам-то хорошо живется. Бедный мой! Но поверь, что не проходит ни одного мгновенья, чтобы мы не вспоминали о тебе. Несмотря на все беды, я твердо убеждена, что мы выдержим это ужасное испытание. И тогда начнем жизнь сначала. Мы будем жить замкнуто, уединенно и будем счастливы...»

Кольтвиц не может больше читать, буквы плывут перед его глазами; он откладывает письмо и долго, как будто в забытьи, смотрит на грязный, весь в трещинах, потолок. А потом зарывается лицом в постель, и плачет, и всхлипывает.

Около полудня Кольтвиц подымается с матраса. Хотя у него есть разрешение от врача лежать в постели, но в дежурство вступает Цирбес, а Кольтвиц боится Цирбеса. Кожа на ягодице так натянута, что вот-вот лопнет; он чувствует огромные желваки, какая-то тяжесть сковала ноги; правую он совсем не может вытянуть, — по-видимому, повреждены сухожилия в коленной чашечке.

Еще до раздачи обеда Цирбес в самом деле приходит к нему в камеру. Как ни старается Кольтвиц взять себя в руки, он весь дрожит. Цирбес, бывший боцман и старшина королевского военного флота, завзятый пьяница и страстный забияка, до 30 марта был хозяином трактирчика «Почтовый погребок», в котором собирались наци. Увидев перед собою дрожащего больного человека, он довольно ухмыляется...

— Ну как? Вчера вечером они с тобой занимались?

Кольтвиц боится ловушки и отвечает:

— Нет, господин караульный.

— Не валяй дурака! Снимай-ка штаны! Ну!

Кольтвиц развязывает пояс и спускает брюки.

— Так, покажи! Повернись задом, идиот!

Кольтвиц показывает свое изуродованное тело.

— Это, голубчик, — скалит зубы Цирбес, — будет впредь твоя несмывающаяся краска. И мы уж позаботимся о том, чтобы она не сошла. Как только сотрется, так сейчас освежим.

После ухода Цирбеса, Кольтвиц прислоняется к кровати. Он счастлив, что обошлось без побоев, но еще долго продолжает дрожать.

Обертруппфюрер Мейзель отворяет двери камер № 1 и № 2 в отделении «А-1». Старшие по комнате кричат:

— Смирно!

Все заключенные поднимаются и стоят навытяжку.

— Приготовиться для прогулки!

В комнате начинается страшная возня. Вытаскивают и обувают сапоги, надевают казенную одежду, и старший по комнате командует:

— В две колонны по росту становись! Быстро, быстро!

Снова является Мейзель, все стоят уже выстроившись.

Он командует:

— Налево кругом... марш!

Вместе с соседней камерой все направляются во двор.

—левой!левой!левой, два, три, четыре...

Мейзель стоит посредине двора и заставляет заключенных широким кругом маршировать вокруг него.

— Восемьдесят сантиметров от стоящего впереди!

Мейзель не кричит и не раздражается, но следит за каждым в отдельности. И горе тому, кого он приметит.

— Отделение!.. Отставить!.. Будете вы ноги поднимать? Отделе-ни-е! Стой!

Восемьдесят заключенных стоят, как стена. Мейзель командует поворот направо, лицом к нему.

— Мы будем теперь упражняться ежедневно, — заявляет он, — чтобы выбить засевшего в каждом из вас сукина сына. А ну-ка, кто тут чувствует в

себе этого сукина сына?

Все восемьдесят стоят как вкопанные и молчат. Мейзель высоко поднимает брови и улыбается. Он, оберtrupпфюрер Мейзель, берется выбить из этих коммунаров сукина сына. Восемьдесят человек по его команде выстраиваются во фронт, бегают, прыгают и маршируют. Ему двадцать, — среди заключенных есть пятидесятилетние. Это называется делать карьеру. Мейзель закладывает руки за спину и шагает перед фронтом.

— Дух противоречия, неповиновение начальству, дерзкое ослушание — все это дело рук сидящего в вас сукина сына! Подлые мысли, которые осторожности ради не всегда высказываются вслух, тоже проявление сукина сына! Так называемое собственное мнение, которое противоречит мнению начальника, — это самый верный признак того, что в человеке копошится сукин сын. Он притаился в каждом из вас! Я это знаю и хочу его изгнать, изгнать так, чтобы вы делали только то, что я хочу, и думали так, как я хочу!

Все молчат, и восемьдесят пар глаз уставились на него безжизненным взглядом.

— Поняли вы меня, я вас спрашиваю?..

Некоторые робко бормочут:

— Да, конечно!

— Инвалиды и те, которым больше сорока пяти, выйти вперед!

Восемь заключенных выходят.

— У тебя что? — обращается Мейзель к одному, помоложе.

— У меня двойная паховая грыжа, господин унтер-офицер.

— Старики и инвалиды остаются здесь, в середине! Остальные, смирно!.. На-лево... кругом! Ровным шагом... марш!

Как на казарменном плацу, маршируют заключенные в строевом порядке на усыпанном песком дворе. Хотя уже и не так жарко, как было несколько дней назад, но в узкой, жесткой, застегнутой доверху арестантской одежде и в плотно сидящей на голове шапке тело быстро покрывается потом. Мейзель гоголем расхаживает по двору.

— Бегом, марш!.. Отставить!.. При беге руки держать на высоте груди! Бегом, марш!.. Отставить! Бегом! Отставить! Как зовут... вот этого... одиннадцатый левофланговый?.. Да, да, ты... Как?.. Мизике... После ко мне явиться... Бегом, марш!.. Отставить! Третий левофланговый — тоже после явиться... Бегом!.. Быстрее!

Семьдесят два человека бегают по его команде в строевом порядке по двору. Счастливые минуты для оберtrupпфюрера Мейзеля!

Хармс и Ленцер одни в караульной; Хармс сидит на окне и пилкой подтачивает ногти; Ленцер приводит в порядок свой шкаф.

— Для чего ты брал вчера отпуск? — спрашивает вдруг Хармс.

— Был на танцульке в «Форстхаузе».

— Я думал, у родителей.

— Я хожу туда неохотно, то того встретить, то другого, а родственники мои, в сущности, почти все против нас. Как только я прихожу, они молчат как рыбы. Но знаешь, о чем с ними говорить. В споры они не вступают, что бы я ни оказал — молчат. Мой старик тоже наполовину с ними. Если бы не мать, я бы вообще перестал ходить домой.

— Значит, ты не получаешь из дому никакой поддержки?

— Какое там! Ни пфеннига.

— Выходит, дело дрянь. Как же ты изворачиваешься на свои двадцать марок?

— Паршиво! Но я думаю, что скоро прибавят. Но могут же они постоянно платить нам по шестьдесят марок в месяц.

— Если бы я ничего не получал из дому, я, право, не знал бы, как обернуться. Ведь любой необходимый пустяк сжирает не меньше двух-трех марок... Однако Пеппи горячо взялся за дело: парни запыхались, как молодые псы.

Хармс повернулся, смотрит во двор и любуется, как Мейзель муштрует людей.

— Не дремать, передний!.. Левой, два, три, четыре... Левой, два, три, четыре... Ноги выше! Горизонтально подымать!.. Левой, два, три, четыре... Левой, два, три, четыре...

Семьдесят два уже пробежали пять раз вокруг двора; некоторые бегут из последних сил и еле держатся на ногах. Непривычный бег вызывает колотье в боку, прилив крови к голове, боль в икрах. Как избавление слышат они команду: «Шагом!»

— Левой! Левой! Левой, два, три, четыре...

Медленно собирают заключенные в спокойной маршировке новые силы. Легкие накачивают воздух, сердце стучит, как молоток.

— Левой! Левой! Левой, два, три, четыре... Свободно размахивать руками!.. Не сбиваться с шага!

Хармс вдруг снова поворачивается к Ленцеру, который смазывает жиром свои сапоги.

— Если они говорят, что денег в обрез, то где же справедливость? Почему это Дузеншену платят в четыре раза больше, чем нашему брату? Почему в конце концов, — и он понижает голос, — Эллерхузен так чудовищно много получает? Вот сообрази, сколько он получает. Как государственный советник — тысячу марок в месяц, это по основному окладу. А сколько как штандартенфюрер? Сколько как комендант лагеря? Это не похоже на то, что туговато с деньгами.

— Ты прав, конечно, но только будь осторожен, приятель! Не с каждым можно говорить об этом. Например, Пеппи. Он тебя живо упечет. Можно иметь свое мнение, но надо держать язык за зубами. Те, что там повыше, все равно и не почешутся.

— Да, но пусть не болтают о всеобщей нужде и не говорят, что нужно потерпеть, поголодать, когда сами сидят у корыта. Из этого ничего хорошего не выйдет! Но ты, бесспорно, прав. Такие разговоры я веду только с тобой, а не со всяким. И еще поберегись Риделя, он наушничает Дузеншену.

— Этого идиота, наверное, все еще мучают угрызения совести из-за инвалида с Железным крестом и с половиной легкого.

— Меня уже тошнит от этой комедии. Прикончили же коммунисты нашего Дрекмана, Гейнцельмана, Блекера. Красные не разводят сантиментов, и нам нечего церемониться с этими босяками.

— Это все позерство. Ридель хочет сделать карьеру. Он только наверх и смотрит, в начальники метит.

— Тогда я вообще не понимаю, кого он думает удивить своим поведением?

Мейзель не затянул время отдыха, он опять скомандовал:

— Бегом... марш!

Заключенные снова бегают вокруг двора, прижав руки к груди. До сих пор он взял на отметку шесть человек. Этим еще кое-что предстоит.

— Ша-гом... марш!

С маршировкой дело что-то разладилось. Как Мейзель ни старается подбодрить своим: «Левой, два, три, четыре...» — заключенные задыхаются, пыхтят. Волочат ноги, кто как может. Мейзель вспоминает о тех шестерых и решает отыгаться на них.

— Отделение... стой... Те, которых я позвал, выходи вперед.

Все шестеро выходят вперед, с ними Мизике, который от непривычных усилий весь позеленел. Испуганно поглядывает он на стоящего перед ним спокойного и даже как будто скучающего Мейзеля. Что он скажет? Будет их пробирать?

— В вас этот сукин сын особенно сильно бунтует, а поэтому вам необходим маленький добавочный урок! Смирно!.. Тебе еще мало, свинья ты грязная?

Мизике хочет извиниться и не решается — словно язык прилип к гортани. Большими испуганными глазами смотрит он на эсэсовца.

— Смирно!

Мизике из последних сил подтягивается.

— Бегом... руки вверх... марш!

Все шестеро бегут один за другим вдоль стены. С первых же шагов у истощенных и обессиленных людей начинает колотиться сердце, легкие отказываются дышать, ноги все больше наливаются свинцовой тяжестью.

— Лечь!

Мизике слышит команду и, удивленный, оглядывается.

— Лечь была команда! Ну, скоро?

Стоящие позади и впереди Мизике уже кинулись на землю; тогда он тоже ложится. И с этого момента начинается непрерывное:

— Лечь!.. Прыжком встать!.. Марш!.. Лечь! Прыжком встать!.. Марш!.. Лечь!.. Прыжком встать! Марш!.. Лечь!.. Прыжком встать! Марш!..

Мизике машинально падает, вскакивает и снова падает. Он чувствует, как постепенно начинает кружиться голова. «Сейчас упаду в обморок», — думает он. Но он не теряет сознания; он снова бросается вниз и снова с отчаянным усилием вскакивает... падает... бежит дальше...

После того как они два раза обежали двор, падая и вставая, Мейзель командует:

— Стой!

«Слава богу, слава богу!» — думает Мизике.

Но не тут-то было!

С полнейшим безразличием, не обнаруживая и признака ярости и злорадства, Мейзель командует:

— Руки на бедра... Присесть на корточки! Сидеть!.. Теперь прыжки... Начинай!.. Не выпрямляться!.. Прыгать, прыгать! Еще, еще!..

Все шестеро прыгают на корточках мимо товарищей, которые видят их страдания и ничем не могут им помочь. Мизике чувствует, что жизнь уходит из него, он прыгает, прыгает, прыгает... Вдруг он чувствует страшную тяжесть в желудке. Он не в силах удержаться. Одновременно его рвет. Он падает. Мейзель велит двум заключенным оттащить его в сторону. Остальные пятеро должны продолжать. Только после того, как упало еще двое, Мейзель велит трем оставшимся вернуться в строй.

Еще два раза проходят заключенные маршем вокруг двора, мимо лежащего в песке у стены Мизике, и возвращаются в камеры. Дежурный по отделению Цирбес, ухмыляясь, принимает их.

Мейзель подымается этажом выше, в отделение «А-2», — выбивать сукина сына из заключенных в камерах № 3 и № 4.

На следующий день утром Цирбес вызывает Мизике из общей камеры.

— Что это ты опять выкинул?

— Что такое, господин унтер-офицер? — Мизике охватывает дрожь.

— Тебя вызывают на допрос к самому коменданту. У него, наверное, вылечишься... Стань вон туда! Вон там!

Мизике становится лицом к стене у входа в караульную. В коридоре нет никого, в караульной громко разговаривают и хохочут. Что этому коменданту от него надо? Может быть, с воли все-таки что-нибудь предприняли? Почти три недели, как он арестован. Три недели нет никаких известий от жены. И в эти три недели никто — ни гестапо, ни отряд особого назначения — о нем и не вспомнили. И вдруг его хочет допрашивать комендант.

Ах, Мизике, неисправимый оптимист! Он чуточку надеется, надеется на хорошее. Ведь должна же в один прекрасный день обнаружиться его полная непричастность!

Из караульной выходит Нусбек. Он видит стоящего у двери Мизике, подбоченивается и орет:

— Не соблаговолишь ли ты, сволочь паршивая, отойти, по крайней мере, метра на три от двери! Подслушиваешь? Шпионишь, гадина?

Мизике в ужасе отскакивает в сторону на несколько шагов от двери, продолжая смотреть в выбеленную стону коридора.

Нусбек обходит вокруг него и шипит:

— Жидовская дрянь!..

Уж не забыл, ли про него Цирбес? Ведь комендант ждет. Мизике начинает беспокоиться. Он надеется на что-то и в то же время боится.

Надзиратель в синей форме приводит заключенного. Мизике осмеливается взглянуть на них сбоку. Заключенный кажется ему страшно знакомым.

— Станьте здесь! Нет, вам не нужно поворачиваться лицом к стене.

Надзиратель уходит в караульную. Мизике еще раз пристально смотрит на заключенного. Тот тоже смотрит на него и подмигивает.

— Все еще здесь? — спрашивает он шепотом.

Мизике кивает, но не может вспомнить, откуда он его знает.

— Я парикмахер.

Мизике кивает. И тихонько спрашивает:

— Кто ты?

— Да ведь ты знаешь, — из ратуши, из большой камеры!

Мизике еще раз смотрит на него и только теперь узнает: магазинный вор. Да, это тот неприятный аристократ-преступник. Синяя арестантская одежда очень изменила его. И он здесь парикмахером?

— Где же ты сидишь?

— Наверху, в звездной камере, — теперь это следственная тюрьма.

— Вас тоже бьют?

— Нет, ты что, с ума спятил?

— А вам разрешается переписка?

— Да, каждое воскресенье, и раз в десять дней можно получать посылку.

— О, вам хорошо! Нам совсем не разрешают писать. Я до сих пор не получил известий от жены.

О, боже! Возвращается Нусбек, а заключенный стоит на том месте у двери, откуда прогнали Мизике. Нусбек кричит:

— Это дерьмо все еще стоит там?

И потом, обращаясь к уголовному:

— Что вы здесь делаете?

— Я парикмахер... Оттуда... Надзиратель пошел вот сюда.

— Ах, так? Не стойте так близко к двери. Станьте вон туда! Только с той свиньей не разговаривать!

Входит ординарец из комендатуры. Прежде чем войти в караульную, он спрашивает:

— Кто здесь Мизике?

Мизике откликается.

Тогда он открывает дверь караульной и кричит:

— Эй, Роберт, я беру Мизике с собой!

— Ладно! И лучше обратно не приводи!

Мизике вводят в небольшой кабинет коменданта.

Комендант лагеря, государственный советник Эллерхузен, в коричневой форме сидит в широком, удобном кресле за письменным столом. Возле него лицом к двери стоит Дузеншен. Сбоку письменного стола сидит какой-то господин, которого Мизике не знает. Все трое смотрят на него. Комендант берет карандаш, постукивает попеременно то заточенной, то тупой его стороной по бумаге и задает вопрос:

— Вы когда арестованы?

— Двадцать девятого августа, господин комендант.

— Что это вы дрожите?

— Я... я очень взволнован, господин комендант.

— Господин адвокат, — комендант указывает на посетителя в штатском, — является посредником в вашем деле. Но все и так ясно. Вы сознались, и на основании этого, очевидно, вам будет предъявлено обвинение.

— Но... все это... не соответствует.

— Что не соответствует?

— Я сказал неправду. Я вовсе не коммунист, и на самом деле у меня никогда и в мыслях не было давать коммунистам деньги. Я никогда не занимался политикой. Никогда! Все это лишь какое-то злополучное стечение обстоятельств.

Теперь Мизике знает, что у него есть какие-то возможности, у него есть посредник, он может, должен говорить откровенно. Он страшно волнуется, говорит торопливо и смотрит то на коменданта, то на поверенного.

— А зачем же вы сказали неправду?

Мизике не отвечает, но на мгновение взгляд его останавливается на неподвижном лице Дузеншена.

— Господин Мизике, — обращается к нему адвокат, — значит вы

отрицаете правильность протокола ваших показаний?

— Нет! То есть я тогда показал именно то, что записано в протоколе, но это не соответствует истине, — быстро, но осторожно отвечает Мизике.

— Благодарю вас, господин комендант, я начну дело.

— Итак, ваш клиент вам... больше не нужен?

— Нет.

— Вы можете уйти!

Мизике хочет выйти из комнаты, но адвокат встает и с легким поклоном протягивает ему руку.

— Доктор Пойске. До свидания, господин Мизике. Привет от вашей супруги!

Мизике хватает его руку.

— О, благодарю вас, доктор! Тысячу раз благодарю!

Восемнадцать дней сидит Торстен в темноте. В подвале все темные камеры заняты. За восемнадцать дней прибыло семь арестованных, а выбыло только трое.

Торстен замечает, что, несмотря на все усилия и физические упражнения, его выносливость и духовная сопротивляемость ослабевают. Все реже ему удается спастись от темноты. Нервы не выдерживают. Приходится по нескольку раз в день обтираться холодной водой; кровь стучит в висках. И как только выдерживают товарищи в других камерах? В каждой темной дыре сидит кто-нибудь, и почти ни звука не слышно. Все они, как и его беспокойный сосед, постепенно станут разбитыми и апатичными. Неужели еще никто не дошел до иступления, не сошел с ума?

Торстен сидит, скорчившись, на тюфяке и думает о заключенных товарищах и о всех тех, кто, как и он, день и ночь сидит в беспросветной тьме и не видит конца этому. И самое ужасное — это неизвестность. Никто не знает, когда ему вновь доведется увидеть свет солнца. Никто не знает, увидит ли он его вообще. Можно только позавидовать тем, у кого светлые камеры, куда заглядывает солнце! Одиночество совсем не так тягостно. Но эта постоянная, вечная тьма!..

Начинаешь бояться собственных мыслей. Чуть только остановишься на чем-нибудь, чуть уйдешь в воспоминания или начнешь мечтать об исполнении в будущем какого-нибудь страстного желания, как вдруг все рушится при одной мысли: все это только для того, чтобы забыться, обмануть себя, не думать о своей участи...

Торстен серьезно озабочен своим соседом, который вот уж несколько дней, по-видимому, совершенно пал духом. Он окончательно прекратил этот бессмысленный стук. Он уже не бегает больше по камере. И как напряженно ни вслушивается Торстен, он больше не улавливает шума шагов. Юноша дошел, очевидно, до точки. Конечно, можно было заранее предвидеть, что темнота быстро сломит этого жизнерадостного молодого человека. Ах, как велики жертвы, которые приходится приносить! Как ужасно — медленно и беспомощно гибнуть в одиночестве!

Если бы еще была какая-нибудь возможность объясняться друг с другом... Ведь Крейбель всегда стул с какими-то правильными интервалами. Какой-то способ разговора посредством выстукивания существует, но надо знать ключ. Как догадаться, по какой системе он стучал?..

Торстен ломает голову... Азбука Морзе? Нет, это не то. Крейбель делал систематически одну коротенькую паузу и одну подлиннее. Сначала он стучал всегда два раза подряд. Затем еще два раза. Потом один раз и пять раз подряд. После этого три раза и после маленькой паузы снова три раза. А затем?.. Как это было? Он вслушивается в себя, чтобы вспомнить этот ритм... Напрасно! Но в заключение, Торстен помнит, Крейбель стучал снова один раз, и после маленькой паузы пять раз...

Да, стук повторялся обычно с такими промежутками. Это делалось неспроста. Несомненно, здесь была какая-то система. Но какая?..

Неужели нет никаких произведений из жизни заключенных, в которых упоминалась, объяснялась бы система перестукивания? Ведь посредством нее заключенные переговаривались друг с другом...

Какие у нас есть описания тюремной жизни?.. Письма Розы Люксембург? Но он не помнит, чтобы там говорилось что-либо о перестукивании. Макс Гельц, Плетнер и бывший анархист Зепп Эртер тоже писали свои воспоминания о годах, проведенных в тюрьме, но там безусловно нет описания техники перестукивания.

А у русских большевиков? Мемуары Шаповалова... Торстен знаком с этими книгами, знает тоже, что много раз заключенным удавалось посредством стука вступать в разговор. Но как они стучали, по какой системе — этого, сколько ему помнится, он не читал.

А Вера Фигнер, эта стойкая, удивительная женщина из народников? «Двадцать лет Шлиссельбурга. Ночь над Россией»... Наверняка она писала в этой книге о перестукивании... Разве не посредством стука завязывалась в Шлиссельбургской крепости тюремная дружба между нею и Людмилой Волькенштейн!.. И не у нее ли он и видел таблицу перестукивания?..

Торстен вскакивает с тюфяка и начинает взволнованно шагать взад и вперед по тёмной камере.

...Какая вообще может быть система выстукивания? Выстукивают алфавит. А — один, В — два, С — три и так далее. Но это невозможно, и сосед между двумя более длинными паузами постоянно стучал два раза.

Два раза...

Два раза?..

Торстен волнуется все сильнее. Почему два раза?.. Значит, буквы должны быть разбиты на группы...

Каким образом?.. А и В, а под ними С и D, под ними Е и F.

Нет, это не похоже на то, как он стучал. Он никогда не стучал чаще, чем пять раз подряд. Если бы можно было подсказать хоть словечко...

Торстен как в лихорадке; он весь горит от нетерпения.

Сколько букв в алфавите? Двадцать шесть. Без йота — двадцать пять.

Двадцать пять!

Двадцать пять!

Пятью пять! Да, верно. Значит первая строчка; а, b, c, d, e. Да, так и в книге Фигнер. Конечно!.. Квадрат!.. Он ясно видит его перед собою...

Что стучал этот юноша? Сейчас же надо проверить, та ли это система.

Два раза и два раза — это G. Один и пять раз — E. Три раза и три раза — N. Три и четыре раза — O, Наконец, один и пять — E. Итак, получается G-E-N-O-E. GENOE? Ну, конечно! Genosse⁵.

Торстен стоит у стены, отделяющей его от Крейбеля. Там лежит юноша, в продолжение долгих дней тщетно старавшийся завязать с ним разговор. Торстен не понимал его. Ведь это так просто, а он сообразил только сегодня, после стольких дней, — сколько их уже прошло! Торстен не сентиментальный человек, но сейчас слезы стоят у него на глазах.

Он торжественно садится у стены и сильно ударяет в нее кулаком.

Из соседней камеры раздается в ответ два коротких стука.

⁵ Товарищ (нем.).

И Торстен начинает выстукивать:

Пять раз — и один раз: V.

Один раз — и пять раз: E.

Четыре раза — и два раза: R.

Четыре раза — и три раза: S.

Четыре раза — и четыре раза: T.

Один раз — и один раз: A.

Три раза — и три раза: N.

Один раз — и четыре раза: D.

Один раз — и пять раз: E.

Три раза — и три раза; N^б.

Торстен ждет от соседа дикого взрыва радости. Ничего подобного. За стеной совершенная тишина. Торстен затаил дыхание. Слышен тихий стук:

E.

N.

D.

L.

I.

S.

N⁷.

Торстен пылает от счастья и стыда. От стыда, что он заставил товарища так долго ждать. От счастья, что разобщенность и гнетущий мрак побеждены. От радости, которую вызвало это первое слово человека к человеку, товарища к товарищу.

А рядом в тёмной камере на полу лежит молодой Крейбель и нежно гладит холодную каменную стену.

Доктор Фриц Кольтвиц сидит в камере за маленьким столом и щиплет паклю. Он должен делать по килограмму в день. Кольтвиц работает с самого утра и до сна и в последние дни вырабатывает полную норму. Его

^б Понял (нем.).

⁷ Наконец (нем.).

рабочий день точно распределен. Утром он очищает кусочки каната от смолы и треплет их об ножку столика. После полудня раздирает их на прикрепленном к столу стальном стержне и щиплет пальцами тонкие, как шерстинки, волокна, паклю. Кило пакли — это большая куча.

Два вечера они его не трогают. Но он все-таки не спит, все время пугается, чуть послышится шум, звуки шагов, — так и ждет, что они войдут. Правая нога все еще не в порядке. Надо держать ее согнутой, иначе больно. Опухоль, однако, сошла. Он не решается обратиться к фельдшеру. Когда тот станет осматривать, он заметит следы побоев. Тогда караульные подумают, что он для того и обращался, чтобы дать знать, что его бьют.

Время после полудня. Кольтвиц щиплет паклю. Он радуется, что так много сделал; сегодня работа как-то спорится. Щипать паклю — это совсем не такая неприятная работа; и делом занят, и можно думать, о чем хочешь. Перед ним лежат куски смоляного каната, его завтрашняя норма.

Корабельный канат напоминает ему о пароходе «Таррагона», на котором он два года назад совершил поездку по Средиземному морю. Если бы тогда кто-нибудь предсказал ему, что два года спустя он будет сидеть в тюремной камере и щипать паклю, не совершив никакого преступления, а за то лишь, что он социал-демократ, — Кольтвиц счел бы того окончательно помешанным.

Он вспоминает об апельсиновых и оливковых рощах, об уединении гор, морских видах — и вдруг слышит звуки входящего в замок ключа. Он вскакивает и, хромя, бросается к окну. Входит Ленцер.

— Заключенный Кольтвиц!

— Ну, гадина, как дела?

— Правая нога еще очень болит, господин дежурный, не могу разогнуть.

— Нужно обратиться к фельдшеру. Вот тебе письмо от супруги, от любезной! Что это она у тебя, стихи пишет?

— Нет, господин дежурный.

— Значит, это не ее стихи, что она тебе в письмах посылает?

— Нет, господин дежурный, это просто те стихи, что мы когда-то вместе читали.

Ленцер глядит на сутулого бледного еврея с гладким, блестящим черепом, смотрит в его большие темные глаза и прыскает со смеху.

— Вы вместе стихи читали? — и, довольный, скалит зубы. — Ну, и любопытная была, должно быть, парочка!

Кольтвиц читает:

«Фриц, дорогой мой муж, я только сейчас после неудачи с доктором Беренсом повидалась с доктором Рушевенке. Он принял меня очень сердечно и обещал сделать все, что в его силах. Я ему рассказала о твоём предложении хлопотать перед гестапо об освобождении тебя под залог. Он считает это излишним и уверен, что тебя еще недолго продержат. Я ушла от него очень обнадеженная.

В последнее воскресенье я ездила с Беппо в Травемюнде. Был прекрасный день для купанья. Беппо все время говорил о своём папочке. Может быть, в следующее воскресенье мы уже вместе поедem к морю. Я так счастлива! Видишь, Фриц, все проходит, даже самое тяжелое время!

Я была на приеме у доктора Кронбергера: меня беспокоят верхние зубы с правой стороны. Кронбергер много спрашивает о тебе и шлет сердечный привет.

Третьего дня приходили безработные из Мейслинга. «Здравствуйте, фрау Кольтвиц, как дела вашего мужа?» — «Ах, — говорю я, — пока хорошо!» Ну, они кое-что рассказали. На следующий день пришли помочь мне немножко в саду. Не правда ли, трогательно? Они с полудня до заката снимали груши и принесли мне большой букет цветов. Я, конечно, им насыпала корзину груш, хотя они настойчиво отказывались. Если ты осенью еще не вернешься домой, они обещали обработать наш сад. Но это глупости, ты скоро будешь с нами.

Прости, дорогой, что письмо так коротко. Я хочу с двенадцатичасовым посадом выехать в Гамбург, чтобы еще раз лично подать прошение в управление гестапо. Может, мне удастся передать тебе маленькую посылочку.

На прощанье еще несколько строк, я знаю, что они тебя радуют. К сожалению, это единственная радость, которую я могу тебе доставить.

Словно лоза, что ползет как попало, в любом направлении.

Если ломается жердь, по которой вилась она к небу,
Мы безнадежно кружим, что-то ищем, блуждаем по

свету,

Но осчастливить ничто, о любимый отец, нас не может,

Ибо томит нас мечта поселиться в садах твоих чудных.

В море пускаемся мы, чтобы ширью его беспредельной

Душу потешить свою и отдаться волне, что играет Весело судном; нам любо могущество бога морского.

Этого мало, однако, для сердца, и вечно манит нас

Дивный иной океан, что чуть зыбится, тихо колышась,

В глуби бездонной его не счесть ураганов свирепых...

О, кто бы мог свой корабль к золотым берегам переправить! 8

Ну, дорогой, потерпи еще немного, чуточку! Твой Беппо шлет тебе привет и поцелуй, я — тоже.

Ирена»

Какой счастливый день! Кольтвиц перечитал письмо три раза подряд, а потом еще раз и смеется и плачет от радости. Видно, по крайней мере, что близятся конец. Не напрасно пережил он все эти ужасы. Каждая тварь цепляется за жизнь. Ведь жизнь так прекрасна! Эту прелесть и ценность жизни он, в сущности, только здесь впервые и узнал.

Ах! И Кольтвиц вытягивает руки в стороны и вверх, распрямляется, потягивается, так что все суставы хрустят. Как хотел бы он вырваться отсюда... на волю... подальше от людей... в далекие леса... на головокружительные вершины... Он будет лечить свою ногу у хорошего специалиста. И все будет хорошо. В сущности, ничего серьезного; небольшое растяжение сухожилия, и все.

А товарищи все-таки великолепные ребята! Приходят помогать жене. Да, это товарищи, настоящие друзья. А те, другие, которые цепляются за чиновничьи оклады и пенсионные кассы, — это отъявленные прохвосты!

Ах, лучше забыть! Не думать об этом. Забыть! Забыть!

Вот хорошо, что он весь день так прилежно работал! Теперь он может ничего не делать. Кольтвиц ковыляет вокруг своего рабочего стола. В голове его бродят самые смелые мысли.

— Смирно!

В камеру входят: Дuzеншен, дежурный по отделению Цирбес и инспектор лагеря Реймерс.

Староста вскакивает и рапортует:

— «А-один», камера два, тридцать восемь человек, две койки свободны!

— Вольно!

Дузеншен делает несколько шагов.

— Слушайте! К вам прибудет новый коллега, — коллега хоть куда: один из социал-демократических бонз — Шнееман. Многие из вас знают его: у него на совести не только наши, но немало и ваших. Он неплохо доносил на вашего брата в полицию. У вас, таким образом, имеются все поводы к тому, чтобы принять его, как подобает. На все, что произойдет здесь в течение ближайших часов, я закрываю глаза.

Он поворачивается к Цирбесу и делает знак головой. Тот идет к двери и кричит:

— Сюда!

В камеру торопливо входит социал-демократ Шнееман: маленький, толстенький, круглоголовый, волосы бобриком. К нему обращаются тридцать восемь пар глаз. Многие из заключенных знают новичка: он не раз врывался со своим летучим полицейским отрядом на собрания коммунистов, срывал их, арестовывал рабочих, которые оказывали сопротивление, и передавал их в руки полиции.

Дузеншен неторопливо выходит из камеры. Он ухмыляется. Цирбес значительно смотрит то на заключенных, то на вновь прибывшего. И тоже ухмыляется. Последним уходит, скаля зубы, инспектор лагеря Реймерс.

Заключенные стоят еще некоторое время в нерешительности и смотрят на новичка. Тот бросает свой узелок с тюремными вещами, который он держал под мышкой, на пол. Первым прерывает молчание моряк Кессельклеин; он поглаживает татуированные руки и говорит:

— Все будет пристойненько. Я уже давно ждал такого случая!

— Пусть сразу поворачивает оглобли, — горячится маленький Али, —

Выкрасить и выбросить! Не желаем, чтобы такая свинья с нами сидела!

Волнение растет. Раздаются угрозы. Другие начинают уговаривать, унимать, призывать к спокойствию. Социал-демократ неподвижно стоит у двери. Он изумлен, испуган таким проявлением ненависти к нему. Он не решается сдвинуться с места.

— Эй, дайте ему кто-нибудь в морду, этому сукиному сыну!

— Бейте предателя рабочих!

— Товарищи, так нельзя! Это никуда не годится!

Во все разрастающийся шум вмешивается Натан Вельзен, староста.

— Слушать! Товарищи! Нужно хорошенько подумать над тем, что мы делаем: кто этот вновь пришедший — мы знаем. Всего, что он позволял себе по отношению к нам, здесь не перескажешь. Но я спрашиваю вас: правильно ли будет, если мы, коммунисты, станем здесь, в лагере, бить его по приказанию наци? Я думаю, это неправильно! Это совсем не соответствует нашим убеждениям! Когда и как мы посчитаемся с этим молодцом — это мы сами решим. Мы не должны потворствовать кровавой работе наци даже тогда, когда нам бросают под ноги такого вот предателя рабочих. Это мое мнение. А теперь скажите ваше.

Долгое, нерешительное молчание. Одни одобрительно кивают, другие возбужденно ходят взад и вперед. Социал-демократ стоит смущенный, тяжело дыша, у двери, подле своего узелка и смотрит мимо обращенных к нему лиц.

Вельзен пользуется авторитетом у товарищей; они очень считаются с его мнением. Он старый партийный работник, уже не в первый раз сидит в тюрьме. Наци назначили его старшим по камере, для того чтобы заставить его, еврея, отвечать за все нарушения порядка. Заключение угадали это намерение администрации и расстроили ее план путем добровольной строгой самодисциплины.

Мизике, который находится в этой же камере, что-то тихонько шепчет своему соседу по кровати. Тот кивает, встает и кричит:

— Мизике говорит дело!

— Что там? В чем дело? Ну, говори скорей! — подбадривает его Вельзен.

— Мизике думает, что они отомстят, если... если мы этого не сделаем. И в особенности тебе... они тебе отомстят!

Подобные же предположения начинают высказывать и другие.

— Это, товарищи, — возражает Вельзен, — никогда не должно

удерживать нас от того, чтобы поступать правильно. И если они станут применять к нам репрессии, придется с этим примириться.

Снова продолжительное молчание.

Новичок словно оцепенел; лицо его посерело и осунулось.

— Я думаю, мы примем мое предложение, не правда ли?

Молчание заключенных выражает согласие.

— А теперь, Герман, покажи вновь прибывшему его койку. За каким столом есть свободное место? За третьим? Принимайте его. Сразу же постелить постель и надеть одежду!

Новичок приводит в порядок свою постель, надевает черную в коричневую полосу одежду и садится в стороне на табуретке у окна. Никто из тридцати восьми не обращает на него внимания. Лишь то один, то другой бросает украдкой мимолетный взгляд. Играют в шахматы и в карты, как будто ничего не произошло. Ходят взад и вперед группами между столами и дверью и о чем-то спорят.

Через час приходят Дуженшен и Цирбес. Они тотчас замечают, что социал-демократа не тронули.

— Вот те раз! Ты только погляди на них, — едва сдерживая ярость, шутит Дуженшен, — коммунистов и социал-демократа водой на разольешь! А эти молодцы еще уверяют, что социал-демократы их враги. Значит, вы не желаете? Ну, ладно. Староста, построить всех в две колонны!

— В две колонны стройся, быстро, быстро!

Спустя несколько секунд тридцать девять заключенных выстраиваются перед начальником.

— Теперь мы вас хорошенько пошлифуем!

Ровным шагом проходят они через коридор во двор, и здесь начальник изливает свой бешеный гнев на все тридцать девять человек. Он гоняет их по двору, заставляет ложиться и вставать, ложиться и вставать, сгибать колени, прыгать вокруг двора, ползать на животе, опять бежать вокруг двора, снова ложиться и вставать, ложиться и вставать, пока наконец сам теряет голос, а заключенные доходят до полного изнеможения и, совершенно обессиленные, шатаются, как пьяные.

Два дня заключенные, подавив озлобленность, продолжают сторониться социал-демократа Шнеемана. Они не причиняют ему никакого зла, но все его избегают, никто с ним не разговаривает; никто не предлагает ему поиграть в карты или в шахматы. Мизике не может дольше терпеть этого; ему жаль маленького толстенького человека. Ему непонятно поведение

коммунистов. Если там, на воле, они могли быть противниками, то здесь, перед лицом общего врага, они должны поддерживать друг друга. То, что они его не избили, он находит теперь великолепным, хотя тогда из страха перед тюремщиками именно у него были на этот счет сомнения. Но зачем мучить так человека общим презрением? Нет, Мизике считает, что коммунисты поступают не совсем правильно.

Когда он заговаривает с социал-демократом, многие поглядывают на него, но ничего не говорят. Шнееман с готовностью отвечает Мизике на все вопросы, испытывая к нему благодарность за то, что он нарушил всеобщее молчание. Мизике узнает, что Шнееман был председателем Производственного совета газовых заводов и депутатом от гамбургских граждан; арестован потому, что призывал рабочих государственных предприятий к подпольной работе. Шнееман уверяет, что никогда как шпион не оказывал полиции услуг, даже когда его партия была у власти.

Мизике нравится Шнееман: он разговорчив, с ним можно обо всем поговорить — о путешествиях, семье и даже о делах, и он сходится с ним все ближе. Шнееман и в спорах терпимее, нежели коммунисты; он допускает существование других мнений, и если Мизике излагает свои запутанные политические взгляды, Шнееман, не в пример коммунистам, не нападает на него так, будто он совершил один из смертных грехов.

Мизике и Шнееман беседуют по поводу наци, и Шнееман злобно замечает:

— Должен вам признаться, что я тоже фашист, социал-фашист, собственно говоря.

Заклученные прислушиваются. Подходит Вельзен:

— В чем дело?

— Да вот опять этот соци.

— Я бы советовал тебе быть осторожнее в выражениях. Если ты хочешь поговорить с нами на политические темы, то тебе стоит только заявить об этом. Ты, правда, Шнееман, а не рядовой социал-демократ рабочий, но не воображай, будто мы избегаем разговаривать с тобой, потому что боимся твоего уменья говорить.

— Я томлюсь здесь так же, как и вы, меня, как и каждого из вас, пытали и били, СДПГ запрещена, преследуется законом и уничтожается поодиночке, как и КПГ, и вы еще называете нас фашистами, социал-фашистами. Разве это не сумасшествие?

— Разберемся сначала, настолько ли уж это сумасшествие, если мы называем политику твоей партии социал-фашистской.

Вокруг них собираются заключенные. Партии в шахматы остаются недоигранными. Даже беспокойные, не знающие отдыха прекращают свою суетную беготню по камере. Воцаряется тишина.

Вельзен обращается не только к социал-демократу, не только к Мизике, но ко всем, в том числе и к своим товарищам. Он говорит спокойно, понизив голос, и смотрит при этом на слушающих. Одни одобрительно кивают, другие пристально смотрят в пространство, как бы еще раз переживая все, о чем вспоминает Вельзен. Социал-демократ, сидевший сначала спокойно и не шевелясь, начинает к концу ерзать на табуретке, все чаще поднимает руку, как будто хочет возразить, но никак не может дожидаться подходящего момента.

Вельзен говорит о политике социал-демократов в 1928 и 1929 годах.

При социал-демократическом канцлере Германе Мюллере был построен тяжелый крейсер «А», но зато средства на питание детей урезаны... Это Зеверинг запретил Союз красных фронтовиков и разрешил фашистские военные организации, ибо, как он сам выразился, он хотел уничтожить каждого десятого коммуниста... Профсоюзный лидер Тарнов на конгрессе в Лейпциге называл социал-демократию врачом больного капитализма и призывал рабочих к еще большей умеренности... Социал-демократ Кюнстлер обозвал три четверти миллиона коммунистических избирателей в Берлине люмпен-пролетариями... Это социал-демократы — в Гамбурге, в частности Шёнфельдер, — запретили газеты, демонстрации и собрания коммунистов и вырвали из рук рабочих последний револьвер, в то время как фашисты усиливали свой террор...

Вельзен говорит и говорит, вспоминает о бесчисленных, многими пережитых событиях, о сокращении заработной платы, срыве стачек, провале собраний...

— Вот видите, — заканчивает он свое выступление, — так политика социал-демократии расчищала дорогу фашизму, так его вели к власти с одной ступеньки на другую. Социал-демократические вожди видели главную свою задачу в том, чтобы не обмануть доверия своих хозяев — капиталистов. Благодаря такой политике в Германии власть свалилась фашистам прямо в руки. Вспомните только двадцатое июля, государственный переворот Паппена. И потому, что мы добивались всеобщей забастовки, ваши мудрые государственные мужи, ваши реальные политики стали предостерегать от нас рабочих, стали выставлять нас провокаторами. Вы тогда апеллировали к трибуналу республики, и за это наци теперь мстят. Мы апеллировали к рабочим, и за это нас хотят стереть с лица земли...

Заклученные сидят молча вокруг своего товарища, и каждый погружен в собственные мысли, в собственные воспоминания.

Июль 1919 года. Матрос Кессельклеин вновь видит перед собой бледные лица вооруженных до зубов молокососов в стальных шлемах. Они окружили целый жилой квартал, лишь бы схватить его... Перевернули вверх дном весь дом и все-таки нашли пулемет... Как прежние лица похожи на нынешние! Эсэсовцы — плоть от плоти, кровь от крови тогдашних приверженцев Носке и добровольцев Леттова, которые при попустительстве социал-демократов вошли в Гамбург и разоружили рабочих...

Гансен размышляет: вот уже двадцать пять лет он состоит членом профсоюза деревообделочников... Фокус с почетными дипломами и торжественная статья в газете — все это было просто смешно, но то, что его в этот день, именно в этот день, выгнали из профсоюза, было уже неслыханной подлостью... Уполномоченный профсоюза, социал-демократ Хенкель, не скрывая-злорадной ухмылки, заявил тогда: «Мы не нуждаемся в московских агентах! Ты еще должен благодарить нас за то, что мы тебя так долго терпели. Но нашему терпению настал конец...»

Комсомолец Али Асмусен вспоминает свой последний арест перед самым установлением гитлеровской диктатуры... Двадцать молодых рабочих с пением «Интернационала» и «Марша летчиков» прошли тогда через весь Гамбург в Бармбек... Начальник полиции — социал-демократ господин Шёнфельдер — наградил его за это шестью месяцами лишения свободы. Полгода тюрьмы за одну рабочую песню...

Шнееман после этой речи и последовавшего за нею гнетущего молчания становится еще беспокойнее, в который уже раз проводит ладонью по взъерошенным волосам и начинает говорить неестественно глубоким и серьезным тоном.

— Кое-что... кое-что совершенно верно! Моя партия совершала ошибки, крупные ошибки. Она и сама за них дорого расплачивается. Итак, не будем отрицать ошибок прошлого. Но поверьте мне, мы получили хороший урок. И эти ошибки больше не повторятся. Борясь за демократическую республику, мы, социал-демократы, имеем в виду другую, более прочную и обороноспособную республику, чем была до сих пор. К чему ворошить прошлое, вытаскивать на поверхность старые грехи и ошибки; не правильнее ли прошлое предоставить прошлому, а сейчас лучше подумать, как сплотиться и объединенными силами побороть фашизм? Ведь в этом стремлении мы едины, так давайте вместе искать все возможные пути, чтобы достичь нашей цели. Фашизм утвердится навечно, если мы, Социал-демократическая и Коммунистическая партии; будем, как и в

прошлом, бессмысленно нападать друг на друга.

— Он действительно прав! — поддерживает нового друга Мизике.

— Он прав?! — возмущается кто-то, от возбуждения вскакивая со стула. — Все это вздор!

— Поет, что твой соловей! — горячится другой.

— Обороноспособная республика? — кричит Кессельклеин. — Ты что, брат, рехнулся?

— Ясное дело, Веймарская республика была обороноспособной! — подхватывает старый Дитч. — Но только, дорогой, против рабочего класса. Господа Носке, Цергибель и Шёнфельдер никогда не шепетильничали, если надо было выступить против рабочих. Тогда и ружья стреляли, и кровь проливалась, как верно подметил Герзинг. И это называется проводить политику рабочих? Нет, мой милый, между прошлым, когда ваш Гинденбург, испугавшись «спартаковцев», призвал на помощь генералов, и настоящим, когда все тот же Гинденбург уже вместе с генералами, испугавшись пролетариев, призвал на помощь Гитлера, есть прямая связь: ибо политика социал-демократов, политика соглашательства и «наименьшего зла» ведет к фашизму. То, что мы сегодня, истерзанные, томимся здесь, то, что сотни, тысячи наших лучших товарищей были и еще будут убиты фашистами, — всего этого можно было бы избежать!

Социал-демократ удивленно оглядывается: все нападают на него — старые и молодые, спокойные и вспыльчивые, Он представляется себе безнадежно одиноким, непонятым и неуклюже пытается положить конец спору.

— Не будем же мы драться, как петухи, спорные вопросы можно обсудить спокойно. Времени для этого у нас предостаточно. Но говорить будем только о текущих событиях. Я считаю, кто верит в победу рабочих, должен смотреть вперед, в будущее, а не оглядываться назад. Вечное брюзжание по поводу того, что было, не продвинет нас вперед ни на шаг. Мне думается, мы все хотим победы над фашизмом, хотим, чтобы страной правил рабочий.

Только было Вельзен приготовился ответить, как неожиданно дверь камеры резко распахивается. На пороге появляются Дузеншен и Цирбес, Вельзен рапортует:

— «А-один», камера номер два, налицо тридцать девять человек, одна койка свободна!

— О чем это вы только что болтали?

Вельзен смотрит прямо в глаза штурмфюрера и торопливо сообщает,

что ответить, но не сразу находится:

— Я... я рассказывал новичку о... о нашей дисциплине!

— Лжешь, — рычит Дузеншен, — Шнееман, подойдите сюда.

Шнееман торопливо подбегает к двери и, щелкнув каблуками, замирает перед штурмфюрером. Испуганные глаза заключенных впиваются в социал-демократа.

— Что хотел от тебя еврей? Но только правду, парень!

— Он учил меня, как вести себя в камере.

Дузеншен недоверчиво щурит глаза, глядя попеременно то на социал-демократа, то на старосту. Цирбес, поигрывая ключами, предполагает:

— Оба лгут!

— Ясное дело, лгут! — соглашается Дузеншен. — Выходите оба!

В коридоре Дузеншен еще раз спрашивает Вельвена. Однако получает все тот же ответ.

— Врешь, мерзавец! — кричит штурмфюрер и с размаху бьет заключенного, который обязан стоять перед ним навтыяжку, по лицу.

Вельзен и после этого настаивает на своем.

Цирбес тем временем обрабатывает Шнеемана. Для начала он отпускает ему пощечину, но, не получив желаемого ответа, сильно ударяет большим ключом прямо в лицо. По щеке Шнеемана струйкой бежит кровь, но он остается тверд.

— Мы все-таки дознаемся! — грозит Цирбес и, заглянув в камеру, рычит: — Кто спит рядом со Шнееманом?

Мизике называет себя.

— Выходи в коридор!

Мизике, дрожа, выбегает из камеры. Увидя окровавленное лицо Шнеемана, он представляет, что его ожидает. Сказать правду! Только бы не били! Нет, что угодно, — только не порка! Цирбес громко спрашивает у него:

— О чем оба болтали?

— О... о социал-фашизме.

— Стало быть, о политике?

— Так точно!

— Вот и выяснили! — Цирбес оборачивается к Дузеншену. — Разглагольствовали о политике, как я и утверждал.

Дузеншен дает Мизике пинка, так что тот кубарем вкатывается в камеру.

— Слушай, не вытаскивай больше на свет божий это ничтожество, меня от него рвать тянет!

— Но ведь он подтвердил наши подозрения.

— Ладно! На сегодня хватит, пусть возвращаются. Мы их как-нибудь еще застукаем!

Цирбес не понимает штурмфюрера, но отправляет обоих заключенных в камеру.

— Этот подонок выдаст за правду все, о чем его ни спросят. На него вовсе нельзя положиться. Он такую кашу заварил... Из-за этой навозной кучи комендант вправил мне мозги, будь здоров!

В камере Вельзен перво-наперво протягивает социал-демократу руку.

— Спасибо. Признаться, не ожидал от тебя такого!

Взволнованный Шнееман поспешно жмет протянутую ему руку, но не произносит ни слова. Тыльной стороной ладони он вытирает с лица кровь. Какой-то рабочий протягивает ему свой носовой платок и уговаривает:

— Бери! Бери платок-то! И пойдем к умывальнику, я промою тебе рану.

Мизике забился в угол камеры и притих. Он рад, что никто не обращает на него внимания. Когда Вельзен взглядывает на Мизике, тот краснеет и прячет глаза. Староста и словом не, обмолвился товарищам о его поступке. Молчит и Шнееман.

Дузеншена требует к себе комендант лагеря. Комендант Эллерхузен считает Дузеншена усердным, надежным, ни перед чем не останавливающимся солдатом, который путем необходимой жестокости умеет создать себе авторитет среди подчиненных. Со своей стороны, Дузеншен уважает коменданта, так как ему довелось узнать его как храброго солдата. А это единственное качество, которое для Дузеншена может иметь значение. К этому присоединяется и то, что комендант по происхождению и образованию выше его. Эллерхузен не только комендант лагеря, но и штандартенфюрер штурмового полка, а также член Гамбургского государственного совета. Таким образом, начальник Дузеншена — человек с весом, и его покровительство сулит прекрасную карьеру.

Такой неурочный вызов к коменданту случается редко. Встревоженный,

не зная, для чего понадобился, Дузеншен входит в его кабинет.

— Хайль Гитлер!

— Хайль Гитлер!.. Штурмфюрер, я вызвал вас потому, что мне нужен ваш совет. Вы знаете о рапорте оберtrupпфюрера Мейзеля на шарфюрера Риделя. Мне кажется, что Мейзель, по существу, прав. Нельзя допускать, чтобы один обвинял другого в трусости и тому подобной подлости. Они оба хорошие солдаты. Надо дело уладить. Как вы думаете?

Дузеншен соображает. Ридель — его личный друг, но правота на стороне Мейзеля. Он объясняет коменданту обстоятельства дела: рассказывает про инвалида войны Нагеля, про раскаяние Риделя, про вызывающее поведение Мейзеля и последовавшую затем драку.

— Гм! — произносит комендант, — Это мне совсем не нравится! Ридель, по-видимому, не годится для тюремной службы. Нельзя допускать никаких сентиментальных бредней! Только этого не хватало! Мы должны незамедлительно действовать. Вы что предлагаете, штурмфюрер?

Дузеншен смущен: он ожидал иного результата от своего доклада. И теперь отвечает нерешительно:

— Да, да... это, конечно, правильно... Но вообще Ридель совсем не такой. Я сам не понимаю этого... Но если господин комендант считает нужным, то можно дать ему работу в канцелярии. Может быть, можно откомандировать его в ординарцы или... Ну, да, вот мои предложения.

— Раз навсегда, штурмфюрер, — никакой гуманности! Не допускать никаких разговоров с заключенными. Менять караульных по отделениям, по крайней мере, каждые четыре недели. Так, как мы уже решили. Момент для ослабления узды еще не наступил. Лагерь — это не тюрьма и не исправительный дом: лагерь должен выполнять свои особые задачи. Я еще раз повторяю вам это. Он должен внушать каждому врагу государства страх и ужас. Кто побывал там хоть раз, тот до конца жизни должен вспоминать это время с трепетом. Мы не можем действовать на этих отъявленных государственных преступников убеждением, — на этом и провалились наши предшественники, — мы должны их терроризировать, так терроризировать, чтобы они уже никогда больше не осмелились поднять руку на государство. Мы очень мягки. А это оттого, что такие взгляды, как у Риделя, не искореняются. Посмотрите на Дахау. Там почти ежедневно кого-нибудь убивают при попытке к бегству. И что мы видим? В Южной Германии враги государства дрожат при упоминании Дахау. Или Оранненбург! А у нас? До августа здесь был настоящий санаторий. Посылка за посылкой. Посещения. Спорт. Не-ет, такими средствами мы не внушим коммунистам ужас. Мы устроили наш лагерь и выбрали в качестве

караульных морских штурмовиков, так как нам надлежит действовать со всей беспощадностью. Если положение не изменится, придется, прибегнуть к чрезвычайным мерам.

Дузеншен, ошеломлен. Он ожидал всего, но не этого. Комендант считает обращение с заключенными слишком гуманным!

Он велел устроить темные карцеры, штрафные упражнения, отвел две камеры для порки, смотрел обычно сквозь пальцы, когда заключенного запарывали до смерти, и теперь полагает, что не заслужил упрека в гуманности.

Чтобы хоть что-нибудь ответить коменданту на его обвинение, Дузеншен ссылается на то, что, к сожалению, нет достаточно работы для всех заключенных, а их тысяча сто. Сто двадцать человек работает на разборке здания, шестьдесят во дворе, около восьмидесяти одиночных щиплют паклю, а большинство — свыше восьмисот — сидят без дела.

— Это ничего не значит. Безделье усугубляет наказание. Обратите внимание, сколько просьб дать работу! Наоборот! Особенно сидящих в одиночках надо оставить без работы. Я думаю, стоит передать пеньку в общие палаты. Но о подробностях мы еще поговорим...

Эллерхузен встает с кресла и, стоя у письменного стола, смотрит мечтательно в окно, на площадку тюремного двора.

— А Риделя... Мы переведем его в канцелярию. Это удовлетворит и Мейзеля. Уладьте это. Поговорите с тем и с другим. Но если еще раз дойдет до драки, то участникам это так гладко не сойдет.

Дузеншен в первый раз уходит от своего коменданта разочарованным и даже сердитым. Он чувствует себя несправедливо обиженным: для упреков, по его мнению, нет ни малейших оснований.

А впрочем, если комендант придерживается такого мнения, то все можно и переиначить, за ним дело не станет. Он не даст повода к жалобам на чрезмерную гуманность.

Дни Торстена снова приобрели смысл и содержание. Перестукивание — великолепное открытие, надо было бы обучить ему всех заключенных, в особенности одиночников. Сколько любви и привязанности, сколько участия и заботы можно вложить в это тихое выстукивание! Перестукивание сближает людей, которые никогда не видели друг друга, никогда словом не перемолвились; они рассказывают о своей жизни и заботах, делятся надеждами и тревогами.

Так как у молодого Крейбеля больше сноровки, то первые дни он стучит

почти один. Торстен только слушает. Он узнает, что его сосед уже много лет в партии. В заключении находится уже семь месяцев; его приговорил еще прежний гамбургский демократический коалиционный сенат, а социал-демократический полицей-президент Шёнфельдер подписал приказ об аресте.

Какая бесконечно напряженная и утомительная работа— выстукивать букву за буквой и как это вместе с тем облегчает заключение! Сидишь безвыходно в темной камере, окруженный толстыми каменными стенами, в пронизывающей до костей сырости погреба, не слышишь ни звука, только слабое шарканье ног, кашель и сморканье выдают присутствие человека в этой могильной тьме, — и вот легкий стук торжествует над самым изобретательным изуверством, помогает преодолевать оторванность, безмолвие, отчаяние.

С 1 марта, то есть семь месяцев, длится тюремное заключение Крейбеля, и, конечно, ему неизвестен материал подпольной работы партии, — думает Торстен, — возможно, он не знает ничего о Всемирной экономической конференции, о процессе, созданном в связи с поджогом рейхстага. Перед Торстеном очень серьезная и важная задача: информировать товарища.

Крейбель принимает предложение с большим воодушевлением. Его просьбу — начать перестукивание уже сегодня вечером — Торстен отклоняет, так как в ночной тишине их могут легко поймать. Однако эта ночь начинается не тишиной. Слышен шум на лестнице. Вслед за этим отворяется первая камера, раздаются пощечины, удары по телу, крики избиваемого, визг, стоны.

Затем отворяется вторая, третья камеры, четвертая... И везде удары, громкие крики. У камеры Торстена палачи останавливаются в нерешительности, переговариваются и проходят мимо. Дверь в камеру Крейбеля с шумом отворяется. Дузеншен, Цирбес и Мейзель хором рычат:

— Встать с постели!

Крейбель вскакивает и стоит перед тройкой в ночной сорочке. Дузеншен включает свет. У Цирбеса и Мейзеля длинные сплетенные из бегемотовой кожи хлысты. Крейбель защищает рукой отвыкшие от света глаза и, мигая, как сова, смотрит на незваных гостей.

— Как живешь? — спрашивает Дузеншен. — Ну, отвечай, как живешь?

Крейбель отвечает:

— Хорошо.

— Это что-то с заминкой у тебя выходит. И только хорошо? Только хорошо?

Крейбель молчит.

— Тебе живется только хорошо?

— Мне живется очень хорошо! — «Конечно, он это хочет от меня услышать», — думает Крейбель и облегченно вздыхает.

— Тебе живется только очень хорошо?

Крейбель молчит.

— Нагнись!

Крейбель наклоняется, Дузеншен срывает с него рубашку и накидывает ему на голову, обматывает ею лицо и пригибает Крейбеля книзу. Цирбес и Мейзель бьют его плетками по голому телу.

Затем Дузеншен выпрямляет его и спрашивает:

— Как живешь? Только очень хорошо?

Что ему отвечать? Крейбель не знает. Снова пригибают его книзу, снова свистят хлысты по его израненному телу.

Наконец они прекращают порку и уходят. У двери Дузеншен еще раз оборачивается:

— Небольшая добавочная порция, которая будет перепадать теперь почаше. Вам, свиньям, в самом деле живется не только хорошо, не только очень хорошо, но *слишком* хорошо.

Крейбель слышит, как они входят в камеры рядом, слышит свист хлыстов и вопли заключенных.

Немного спустя, после того как они совсем ушли из подвала, Торстен стучит:

Чего — они — хотели.

Ничего — особенного, — стучит Крейбель в ответ, — только — добавочную — порцию — потому — что — нам — слишком — хорошо — живется.

Больше они не перестукиваются, так как теперь уже в верхних камерах раздается вой заключенных.

Воскресенье. Чудесное октябрьское утро. Пестрая листва деревьев, растущих по ту сторону тюремной стены, вся пронизана солнечными лучами. Ветви гнутся под тяжестью желтых груш и красных яблок. Вдали, по улицам Фульсьюттеля со звоном катится тележка молочника. Над тюрьмой в безоблачном небе кружит красный самолет метеорологической

станции с ближнего аэродрома.

В тюрьме тоже царит праздничная тишина.

Одиночники, скрестив руки, сидят на своих табуретках и мечтательно смотрят в небо сквозь решетки окон или беспокойно шагают взад и вперед.

Заключенные темных карцеров, скрючившись, как всегда, в каком-нибудь углу, грезят о свете и солнце, о деревьях и птицах. Они слепы. Они не знают, как прекрасен этот осенний воскресный день.

У Хармса воскресное дежурство. Он играет на органе в тюремной школе. Молчаливая тюрьма наполняется торжественными звуками. В органе испорчено несколько труб, и некоторые клавиши издают лишь какое-то шипенье. Хармс осматривает орган и видит, что многих труб не хватает.

— Ну, это уж слишком! — возмущается он и идет в караульную поделиться своим открытием с Цирбесом.

— А ты разве не знаешь? — удивляется Цирбес. — Ведь там прекрасное олово. Мы из него заказываем броненосцы. Замечательно получается! Некоторые из четвертого отделения делают их поразительно искусно.

— Что вы заказываете из органных труб?

— Броненосцы... Модели «Потемкина». Надо бы тебе их посмотреть. У Тейча есть один и, кажется, у Мейзеля.

— Но ведь это значит попросту ломать орган.

— Уж не считаешь ли ты, что концлагерь — это концертный лагерь? Органная музыка... Подумаешь!

— И это делается с разрешения коменданта?

— Да что с тобой, наконец? Точно это государственное преступление! Знает ли об этом комендант? Понятия не имею. Очень возможно, что у него самого уже есть такая игрушка или же он ее заказал. Спрос на нее большой!

Хармс возвращается в школу. Он долго осматривает поврежденный орган, чтобы узнать, каких труб не хватает и какие испорчены, берет аккорды. В то время как он погружен в это занятие, снаружи раздается выстрел.

— Вот те на! Кто стрелял?

Он бросается из комнаты. Цирбес тоже в коридоре. Они бегут во двор. Часовой у стены показывает вверх.

— Что? Где? — кричит Цирбес.

— «А-три», четвертая камера.

Цирбес и Хармс мчатся вверх по лестнице, в отделение «А-3». Уже в коридоре слышны стоны.

— Ну да, здесь!

Заключенный в камере семьдесят четыре лежит под окном подстреленный, не мог оторваться от окошка...

Цирбес отпирает дверь. Раненый, совсем еще молодой человек, лежит на полу, держится обеими руками за голову и стонет. Караульные подходят к нему.

— Что, попало? Ну, покажи!

Заклученный отводит от лица окровавленные руки. Рана навывлет. Пуля попала под челюсть и вышла ниже левого глаза. Кровь так и хлещет.

— Вопреки запрещению смотрел в окно?

Раненый глядит на вошедших расширенными от ужаса и боли глазами и кивает головой.

— Хорошенькое, дельце! Сам виноват! Ведь ясно сказано: выглядывать из окон запрещено.

Цирбес и Хармс стоят в нерешительности.

— Скверное дело! Из-за этого идиота наживешь еще неприятностей.

Цирбес смотрит на Хармса:

— Что же делать?

— Сведем его вниз и вызовем фельдшера. Что же еще?

— Ты можешь подняться? Ну так вставай, идем!.. Возьми полотенце и прикрой лицо, а то изгадишь коридор и лестницу.

Раненый, скорчившись от боли и тихо стелая, плетется за дежурным вниз по лестнице в отделение «А-1».

— Становись тут! — Цирбес указывает ему место у стены. — Или сядь на пол, если не можешь стоять.

Заклученный соскальзывает по стене на каменный пол, прижимая к лицу пропитанное кровью полотенце. Он не жалуется, не кричит, и сквозь полотенце прорывается только монотонный стон.

— Фельдшера нет, — говорит Хармс, стоя у телефона.

— Проклятье! Придется звонить доктору Гартвигу.

— Какой номер?

— Откуда я знаю. Разве можно помнить все телефоны!.. Позвони-ка еще

раз туда, напротив. Если нет фельдшера, пусть придет кто-нибудь другой... Кто может сделать перевязку.

Проходит час. Никто не идет помочь раненому. Он лежит, прислонившись к коридорной стене, и стонет:

— Помогите же! Помогите!

Цирбес и Хармс запирают дверь в караульную. Всхлипывания и стоны переходят в громкий жалобный крик:

— Помогите! Помогите!..

Обершарфюрер Хармс выходит в коридор.

— Да, мой милый, теперь ты чувствуешь, что это такое. Вот так лежали наши товарищи, подстреленные вами. Они околевали в таких же мучениях. Вспомни Гейнцельмана. И пусть ваш брат не ждет от нас пощады!

— Помогите же мне!.. Помогите!..

Хармс уходит. Через несколько секунд по тюрьме снова разносятся звуки органа. Но они не могут заглушить вырывающегося в предсмертном страхе воя:

— Помогите!.. Помогите!..

Тогда Хармс в порыве веселого цинизма и легкомыслия переходит на мелодию модной песенки:

Спи, дружок, твой сон усеют розы.

Спи, дружок, амур навевает грезы...

Мелодию нарушают сипящие звуки испорченных труб. И эта органная какофония сливается со стонами, криками, мольбами раненого:

— Помогите, помогите, помогите!..

В двери камер летят табуретки.

— Бандиты! Убийцы! Палачи! — разносится по коридору.

Часовые бегают по двору с направленными на окна винтовками. Цирбес и Кениг, караульный из корпуса «Б», перебегают от одиночки к одиночке, грозят расшумевшимся заключенным поркой и карцером. Но шум и крики все усиливаются.

— Звони в больницу! Пусть пришлют карету! Сейчас же!

Хармс звонит по телефону. Цирбес и Кениг тащат обессиленного

раненого в помещение для угля. Дверь запирают. Теперь никто не услышит его воплей.

— Ну, а уж скандалистов я возьму в переделку! — неистовствует Цирбес. — Какое нахальство! Наглость какая!

Через десять минут в тюремный двор въезжает санитарный автомобиль. Цирбес и Хармс спускаются в подвал. Раненый, вытянувшись, неподвижно лежит на покрытом угольной пылью полу.

— Вот еще чего не доставало! Теперь обморок, — вздыхает Цирбес. — Надо вытащить его наверх! Тем, из больницы, незачем свой нос сюда совать. Берись! Подымай!

Санитар подходит к умолкшему раненому и подымает ему веко.

— Да ведь он умер!

— Как? Уже умер?! — удивленно спрашивает Цирбес. — Каких-нибудь десять минут назад еще ревел, как бык!

Хармс дает краткие сведения о личности умершего. Легко и бесшумно карета выезжает за ворота лагеря. Минует разукрашенные осенью фруктовые деревья инспекторского сада и направляется вниз по Фультсбюттельскому шоссе.

— По койкам! И соблюдать тишину!

Сигнал ко сну. Правда, только шесть часов. Совсем светло. Еще высоко стоит над деревьями раскаленное докрасна солнце. Караульным корпуса «А» хочется поиграть в скат, и поэтому они заставляют заключенных укладываться спать раньше времени.

В огромном здании, где заключено несколько сот человек, тихо, как в морге. Кажется, что Ленцер, который идет по коридору своего отделения, громко напевая: «Спустя сто лет настанет вновь весна...» — единственное живое существо в этих стенах. А между тем сотни людей лежат здесь с открытыми глазами на своих койках, запертые, как дикие звери, в одиночки, в темные карцеры;

— Слышно, как муха пролетит! — такими словами встречает Ленцера улыбающийся Кениг.

— Дисциплина! Дисциплина! — гордо отвечает тот. — Начинают привыкать. Гады!

— У тебя карты здесь внизу?

— Да, кажется, в шкафу. До скольких будем играть?

— Давай «пивной» — до пятисот одного. С ремизом и прикупом.

Входит третий партнер в скат — Нусбек.

— Хайль!

— Хайль! — отвечают Кёниг и Ленцер.

— Представь себе! Один из моего отделения вдруг стучит в дверь и, когда я подхожу, кричит: «Вы ошиблись, еще нет семи часов, сейчас только шесть!»

— А ведь он прав.

— С удовольствием дал бы ему по морде! Такие нахалы!

— А кто это? — Ленцеру смешно. — Смелый!

— Ты его знаешь, — Динельт, красный моряк, тот, что участвовал в нескольких столкновениях. Кроме, того, он замешан в деле «Адлер-отеля». У парня в чем душа держится, а нахальства на десятерых.

В караульную входит Мейзель. После того как донос на Риделя имел успех, он стал еще ретивее, еще чаще берется за плеть. Вот и сейчас он входит с озабоченным, взволнованным видом и кладет на стол газету.

— Вот, прочтите-ка! Это все та еврейская сволочь, что сидит тут у нас!

Тейч, который всегда виляет перед ним, как собачка, добавляет:

— Он так же ответствен за это убийство, как и Лебер!

В газете «Любекер генеральанцайгер» Кениг и Ленцер читают, что одним из главных подстрекателей социал-демократов в Любеке был редактор д-р Фриц Кольтвиц, находящийся в настоящее время в Гамбургском концентрационном лагере в Фультсбюттеле. Этот Кольтвиц является также идейным соучастником совершенного в феврале этого года возмутительного убийства штурмовика-матроса Брюгмана. Никто так не вводил в заблуждение членов союза рейхсбаннера и не натравливал их на национал-социалистов, как этот еврей.

Ленцер молча отодвигает газету.

— Вас это совершенно не трогает? Не так ли? — рычит Мейзель, напрасно ожидавший взрыва негодования.

— В этом нет ничего нового. О том, что этот Кольтвиц был редактором, мы и так знаем, что он еврей — нам тоже известно. Что он натравливал на нас — об этом не трудно догадаться.

— Не хватает только, — шипит Мейзель на своего друга, — чтобы ты ему простил!

— Уж слишком большая сволочь этот Кольтвиц, его бы следовало совсем по-иному взять в оборот, — поддакивает Нусбек Мейзелю.

— Вот идейно! Для этого я и пришел. Нужно его еще раз как следует «допросить». Пойдем со мной, Герман!

Мейзель и Нусбек приносят из школьной комнаты плети. Тейч вместо плети берет бычью жилу.

Кольтвиц помещается в четвертой, от школьной комнаты, камере. Когда они открывают дверь, тот стоит уже, дрожа, у окошка и рапортует, как требует Дузеншен:

— Заключенный Кольтвиц! Я еврейская свинья!

Мейзель прислоняет плеть к стене камеры и достает газету «Любекер генеральанцайгер».

— Ты знаешь доктора Лебера?

— Так точно!

— Знаешь ли ты, что он руками рейхсбаннеров заколол нашего товарища Брюгмана?

— Так точно!

— Знаешь ли ты, что благодаря травле, поднятой твоей газетой, ты также являешься соучастником этого преступления?

— Не бейте меня, господа! Пожалуйста, не бейте!

— Отвечай на мой вопрос! — Мейзель с презрением смотрит на свою жертву.

— Я... я... осудил этот поступок.

— Ты вызвал этот поступок, именно ты, подстрекатель! Ну, теперь тебе несдобровать! Ты от нас живьем не уйдешь.

— Не бейте, господин дежурный!.. У меня повреждена нога. Я не могу ею двигать... Не бейте! Прошу вас, не бейте!

Тейч берет принесенное с собой полотенце и смачивает его под краном. Он передает его Нусбеку, огорченному тем, что ему самому не придется бить.

— Не, бейте, господин дежурный!.. Не бейте!..

— Ты замолчишь, собака?

— Да! Да! Только не бейте, не бейте!

— Нагнись! — командует Мейзель, хватая плеть, — Ну! Нагнись!

— Ох-ох, нога!..

Кольтвиц нагибается.

Нусбек завязывает ему рот мокрым полотенцем и прижимает голову книзу. Мейзель и Тейч бьют по истощенному, костлявому телу. После первых ударов Мейзель берет плеть за другой конец и бьет узловатой рукояткой.

Кольтвиц опускается на колени.

Приятеля продолжают бить. Кольтвиц уже лежит на полу. А они бьют. Нусбек не может больше держать корчащегося, извивающегося от невероятной боли человека и выпускает из рук закрученное на затылке полотенце.

Поджав под себя колени, Кольтвиц стонет и тяжело дышит. Тюремная рубашка ключьями болтается на его теле. Спина и ягодицы — черны, как пол в камере.

Мейзель ударяет его сапогом в пах.

— Вставай, ты, сволочь! Ну, ну!

Кольтвиц испускает пронзительный крик и теряет сознание...

— Так будет каждый вечер! Мы обязаны делать это в память убитого Брюгмана.

Несколько часов спустя Ленцер заходит к Кольтвицу в камеру. Он видит, что несчастный лежит, перегнувшись через стол, в одной изорванной рубашке.

— Ложитесь, Кольтвиц, в постель.

— Не могу, господин дежурный. Мне нельзя лечь.

— А на живот?

— Я не могу добраться до постели, господин дежурный, нельзя шевельнуть правой ногой.

— Я вам помогу. А завтра подайте рапорт о болезни. Попросите фельдшера. Понятно?

— Так точно, господин дежурный.

В караульной Ленцер спрашивает:

— Как произошло убийство Брюгмана? При каких обстоятельствах?

— Вождь любекских социал-демократов, доктор Лебер, с караулом рейхсбаннера наткнулся на нашего товарища, матроса-штурмовика Брюгмана, — ответил Кениг. — Неизвестно, знали ли они его в лицо или заметили его только благодаря форме, во всяком случае, Лебер крикнул одному рейхсбаннеровцу: «Приколи его!»

— А какое отношение имел ко всему этому Кольтвиц?

— К самому убийству? Пожалуй, никакого, — отвечает Кениг. — Но, насколько я понял, он в то время был редактором социал-демократической газеты, а те вели против нас дикую травлю.

— Ну, ему скоро конец.

— Пусть бы его тогда скорей прикончили, без этих истязаний. А вообще-то черт с ним, с этим евреем, пусть подыхает.

В это воскресенье Торстен и Крейбель пролежали на своих койках почти до полуночи, не сомкнув глаз. Происшествия этого октябрьского воскресного дня так сильно их взволновали, что они не могли провести заранее намеченную беседу. На следующее утро Торстен узнал от подметавшего подвал кальфактора, что ранен был комсомолец из Бармбека и что он истек в подвале кровью. А заключенный наверху, которого так избивают, — социал-демократ доктор Кольтвиц.

Торстен шепотом спрашивает через дверь, почему стреляли в комсомольца.

— Выглядывал из окна.

— Есть ли в лагере еще социал-демократы? — интересуется Торстен.

— Около десяти, — гласит ответ.

Торстен не знает Кольтвица, никогда даже не слышал о нем; это политический противник, один из тех, которые своей политикой сильно помогли победе Третьей империи, и все же судьба этого человека несказанно волнует его. Сколько раз они уже врываются в его камеру по вечерам! Как упорно цепляется бедняга за жизнь! Что они делают с этим человеком, что он никогда громко не кричит? Чего они от него хотят? Требуют показаний?

В понедельник утром все спокойно: дежурит Ленцер. Торстен делает утреннюю гимнастику: наклоны вниз, приседания, вращение руками, махи ногами. Рядом в соседней камере бегают взад и вперед Крейбель. После того как они начали перестукиваться, он снова ожил. Они уже обменялись утренним «G — M» (Guten Morgen⁹).

— Ты — знаешь — подробности — о — Кольтвице? — спрашивает Торстен.

⁹ Доброе утро (нем.).

— Да, — выстукивает Крейбель, — часто — нападал — на — нас — в — любекской — газете — считается — все же — левым.

— Почему — он — здесь.

— Думаю — бонзы — выдали — его — чтобы — провести — унификацию — Кольтвиц — еврей.

— Точнее — не — знаешь.

— Нет.

Раздают кофе. Когда Торстен получает свой кофе с куском черного хлеба, Ленцер спрашивает:

— Сколько времени вы уже сидите в подвале?

— Четыре недели, господин дежурный.

— Гм... — протягивает эсэсовец, задумчиво рассматривая заключенного.

— Господин дежурный, я не могу есть грубый черный хлеб. Я недавно перенес тяжелое желудочное заболевание.

— Об этом вы должны сказать врачу. Я вас запишу.

«Четыре недели! — думает Ленцер, запирая камеру, — Проклятье! Я не согласился бы здесь и день просидеть».

Крейбель требует у Торстена обещанную информацию. По ответам своего молодого соседа Торстен замечает, что тот опять страшно нервничает; он с трудом разбирает его бессвязный, неровный стук. Семь месяцев в заключении, целая неделя в полной темноте. Молодой парень. Ведь никакой работы, никакого отвлечения, ничего! Четыре голых стены и постоянная тьма.

Торстен стучит.

— Мы — должны — остаться — здоровыми — при — любых — обстоятельствах — первое — требование — стальные — нервы — предлагаю — одновременно — со — мной — делать — гимнастику — утром — и — вечером — холодное — обтирание — с — головы — до — пят — успокаивает — удивительно — помогает — засыпать — с — вечера — и — укрепляет — нервы — это — наша — обязанность — сохранить — себя — физически — согласен.

Крейбель отвечает не сразу. Но то, что он затем выстукивает, потрясает Торстена, потому что в вопросе Крейбеля кроется все его горе, все безграничное отчаяние.

— Как — долго — еще — могут — они — продержат — нас — в —

темноте.

Что ответить молодому другу? Как долго! Да сколько им заблагорассудится; до тех пор, пока заключённый не сойдет с ума или подохнет. Они могут все, все, что взбредет им в голову; мы у них в руках — беззащитные, безоружные, беспомощные. Милый, дорогой товарищ, бедный ты парень, ты требуешь слишком многого. Что мне ответить на твой вопрос? Имею ли я право поведать тебе всю страшную правду, о которой ты и сам догадываешься?

— Они — могут — еще долго — держать — нас — тут — но — все — имеет — свой — конец — наша — борьба — продолжается — и — здесь — в — тюрьме — первая — политическая — задача — которую — мы — должны — выполнить — это — продержаться — во — что — бы — то — ни — стало — спрашиваю — ты — присоединяешься.

— Конечно.

Тогда Торстен выстукивает свою информацию. После каждого слова Крейбель должен стукнуть один раз, что означает «понял». Если он не стучит, значит, не понял, и Торстен еще раз повторяет. Слово за словом, фраза за фразой проходят через толстую стену.

Сидя на соломенном тюфяке, Торстен стучит ложкой, обернутой носовым платком, для того чтобы наверху не было слышно стука.

Торстен стучит весь день. К вечеру он так устал, словно таскал мешки. Но Крейбелю хочется еще слушать, он задает все новые вопросы. Торстен откладывает беседу на следующий день.

Но Торстену не удастся отдохнуть. Вскоре снова, как накануне, он слышит в камере над собой жалобы, мольбы, крики, а потом шелканье плетей...

...Ужасно, что должен испытывать этот человек наверху! Дежурный Цирбес, этот здоровенный боцман-кабатчик, забьет его до смерти или искалечит на всю жизнь... И что они с ним делают, отчего он не кричит, не воет? Вставляют в рот кляп? Душат? Бесперывно повторяются удары.

Крейбель стучит и так волнуется, что Торстен не сразу может разобрать. Он слушает с большим напряжением.

Четыре и три — S. Три и четыре — O. Пять и пять — Z. Два и четыре — I. SOZI!

— Соци. — Торстен выстукивает: — Понял.

Торстен действительно понял, и не только само слово, но и смысл, вложенный в него. Уж нет ли противоречия между его оценкой роли

социал-демократов и ужасной судьбой этого редактора социал-демократической газеты? Да, они жестоко мстят тем, кто не перебежал к ним, тем более тем, кто высказывался против них; вдвойне жестоко, если к тому же речь идет о евреях.

В этот вечер палачи под предводительством Цирбеса переходят из камеры в камеру. То ближе, то дальше слышны удары. Обливаясь потом, лежат заключенные в темном подвале на своих койках и ждут: вот-вот и до них дойдет очередь. Но в эту ночь их щадят.

— Хорошо было бы привлечь Мейзеля в компаньоны, — размышляет караульный Ленцер. — Надуть-то мне его несложно. А он, как оберtrupпфюрер, будет хорошим прикрытием. К тому же он сейчас в фаворе. Да только пойдет ли он на это?..

Целыми днями носится Ленцер со своим планом, пока в один прекрасный день сам Мейзель не дает ему повода высказаться.

После раздачи обеда они сидят одни в караульной. Мейзель спрашивает у Ленцера, не может ли он одолжить ему три марки. В последнее время он постоянно попадает в денежные затруднения и занимает, у кого только можно. Ленцер знает, что у него новая невеста. Это стоит денег.

— Конечно, с удовольствием!

— Очень мило с твоей стороны! Верну в получку.

Ленцер знает, что ко дню получки у Мейзеля накопится долга больше, чем он получит, и решается сказать:

— Я знаю одно средство подработать. Не так уж много перепадет, но все-таки.

— Каким образом? Можно узнать?

— Да я уж давно тут умом раскидываю, и мне думается, что это можно делать без особого риска. Могли бы ежедневно получать по талеру чистоганом.

Мейзель настораживается. Каждый день три марки? Они ему могли бы здорово пригодиться. Он нетерпеливо спрашивает:

— Ну, а как? Говори же наконец!

— Да, но об этом надо бы с глазу на глаз.

— Так здесь никого нет!

Ленцер замечает, что почва оказалась даже благоприятнее, чем он ожидал.

— Знаешь, — тихо объясняет он, — каждая общая камера раз в две

недели покупает табачных изделий в среднем на пятьдесят марок. Одиночники покупали бы еще больше, если б могли это делать не в положенные дни, так как им часто присылают деньги после того, как заказы уже сделаны. Тюремным ларьком заведует Реймерс, которому при этом немало перепадает. Вот я и подумал: почему бы нам этим не заняться?

— А как?

— У моего шурина табачная лавочка, и если б мы брали у него товар в больших количествах, он нам дал бы двадцать процентов скидки. Предположим, что мы будем доставлять товар только в четыре общих камеры и вместо двадцати реймеровских процентов будем брать только десять, так и то за полмесяца заработаем шестьдесят марок. Но я уверен, что выйдет еще больше, так как мы можем поставлять табак ежедневно.

Мейзель молча размышляет. Шестьдесят марок за две недели — по тридцать на брата. А если об этом узнают? Может возникнуть ужасный скандал. Конечно, сразу станет заметно, что некоторые камеры вдруг перестанут давать заказы. И он высказывает Ленцеру свои сомнения.

— Мы так устроим при общих заказах в ларьке, что никто и не заметит. Придется посвятить в это дело прикрепленного к ларьку кальфактора Курта. Тогда все обойдется. Пусть за это даром курит.

— И ты думаешь, что дело выгорит?

— Да я уж его со всех сторон обдумал.

— А как ты пронесешь товар в лагерь?

— Ты ведь знаешь мой большой портфель, такой широкий, как министерский. Если доставлять каждый день, он даже не будет сильно набит.

— Да, но для этого нужны деньги.

— Зачем? Деньги нам дадут заключенные. И товар будет доставляться на следующий же день.

Мейзель колеблется. Ему очень хочется, но он боится идти на риск. Он не соглашается, но и не отказывается.

— Знаешь ли... я еще подумаю.

Ленцер продолжает носиться с планом добывания денег. Он отправляется в общую камеру № 2 своего отделения с тем, чтобы выяснить, на какую сумму можно получить заказов, если он начнет «дело». В тюремном ларьке заказы будут приниматься через три дня, и в камерах уже должен ощущаться недостаток в куреве.

— Смирно! Отделение «А-один», камера два, налицо сорок человек.

Свободных коек нет.

— Вольно!

Ленцер идет на середину комнаты, где стоят столы, и присаживается на один из них:

— А ну-ка, пусть кто-нибудь встанет у двери!

К двери идет старик Бендер.

— Если кто подойдет, дай знать.

Бендер смотрит в обе стороны коридора.

— Ну, теперь слушайте, сукины дети! Как у вас с куревом?

Со всех сторон раздаются жалобы. Уже два дня, как в камере нет ни крошки табаку.

— Если вы будете держать язык за зубами, то я, быть может, попробую раздобыть вам табачку. При этом не по ценам тюремного ларька, а по нормальным, магазинным. А за хлопоты вы мне дадите — ну, скажем, десять процентов. Что вы думаете насчет этого?

Заключенные поражены. Некоторые недоверчиво переглядываются: уж не ловушка ли это? Большинство же слишком заинтересованы в табаке, чтобы размышлять.

Староста Вельзен выходит вперед и спрашивает:

— Это вы серьезно, господин дежурный?

— Ну, вот еще! Ты думаешь, я шутить сюда пришел?

— В таком случае мы будем вам очень благодарны, господин караульный. Мы очень рады и, конечно, будем молчать об этом.

— Ну, так запишите все, что вы хотите получить, и соберите деньги, а завтра в полдень я вам все доставлю.

— Смирно! — командует староста.

Но Ленцер дает знак:

— Вольно!

— Ребята, что вы скажете на это? Что-то Роберт Ленцер подобрел вдруг.

— Что с ним такое стряслось? Уж больно он добр.

— Роберт всегда к нам хорошо относился. Рычит как зверь, но не обидит и мухи.

В камере полная неразбериха. Некоторые толкуют предложение Ленцера как верный признак разложения в среде эсэсовцев.

— Если он и впредь будет продолжать в том же духе, то позднее может рассчитывать на смягчающие обстоятельства, — предполагает моряк Кессельклейн.

— Рискованное дело затеял. Да нам-то это в конце концов безразлично.

Заказы принимает Альфред, исполняющий в камере обязанности писаря. Чтобы ускорить дело, ему помогает Мизике.

Вначале все заключенные камеры относились к Мизике плохо. Вельзен предостерегал всех, чтобы в его присутствии не велось никаких политических разговоров, так как он не умеет держать язык за зубами. Но спустя некоторое время, когда его лучше узнали, к нему стали снисходительнее. Он действительно случайно затесавшийся, чуждый им элемент, а страх перед побоями делает его совсем невменяемым. Некоторые еще злятся на него, но большинство принимают его таким, каков он есть, и только стараются привить ему чувство солидарности. А Шнееман питает к нему даже дружеские чувства.

Шнееман стал полноправным членом камеры, коммунисты обращаются с ним по-товарищески. Все чаще, но уже тайком, возникают дискуссии, по спорным политическим вопросам. И Шнееман всегда упорно отстаивает свою политическую позицию. Во всем же остальном он подчиняется решению большинства.

Заказывают на пятьдесят восемь марок.

Мизике, которому жена прислала денег, заказывает трубочный табак для трех товарищей, завязтых курильщиков, у которых нет денег. Себе же разрешает роскошь: две дюжины бразильских сигар и пятьдесят штук хороших сигарет.

В камере приподнятое настроение. Незадолго до сна приходит Ленцер. Пятьдесят восемь марок. Для начала недурно. Он быстро просматривает список заказов.

— Две дюжины бразильских сигар, по двадцать пять пфеннигов за штуку, и пятьдесят «Атики»? Черт возьми! Кто же тот капиталист, который может себе позволить это?

Мизике смущенно признается.

— Ах, Мизике! Все тот же Мизике... У этих евреев денег куры не клюют. Ну, ладно, завтра все получите. Только смотрите, язык за зубами держать!

Ленцер поймал Мейзеля в коридоре:

— Ну как, решил?

— Черт возьми!.. Не знаю.

— Вот! Пятьдесят восемь марок. Только что собрал. В одной камере. Выходит двадцать марок на круг.

Это заставляет Мейзеля решиться:

— Ладно! Идет!

Они подают друг другу руки.

— Но, — смущенно спрашивает Мейзель, — в чем, собственно говоря, будет заключаться мое участие?

— Ты будешь мне помогать. Например, при сборе денег... или, если понадобится, пронесешь кое-что в своем портфеле.

— А прибыль пополам?

— Половину чистой прибыли. Ты возьми сейчас еще один талер, тогда у тебя будет в виде задатка шесть марок.

— Вот здорово!

Цирбес в бешенстве мчится по лестнице в подвальное помещение. Теперь уже одиночники записываются к врачу! Что это Ленцеру в голову взбрело! Если завести такой порядок, так это ежедневно будет получасовая прогулка к врачу.

В двери камеры Торстена поворачивается ключ.

— Вы записывались к врачу?

— Да, господин дежурный.

— Что с вами?

— У меня больной желудок, и я не могу есть черного хлеба.

— Не водить же вас каждый день к врачу!

Торстену хочется возразить, но он молчит. Лучше промолчать. Цирбес в нерешительности.

— Ну, ладно! Пошли!

Торстен стоит в подвальном коридоре, освещенном скудным желтым светом лампы. Перед ним пустой длинный коридор со множеством дверей, одна за другой. И за каждой дверью, скорчившись, сидит в темноте товарищ. Сейчас они прислушиваются к шуму и думают, что его уводят из темного подвала. Думают так потому, что сами этого ждут не дождутся.

Цирбес поднимается по лестнице. Торстен идет за ним. Высокие,

продолговатые окна коридора отделения «А-1» выходят на тюремный двор, и здесь очень светло. Торстен жмурит глаза: они совсем отвыкли от дневного света.

В коридоре, лицом к дверям камер, уже стоят несколько заключенных. Цирбес кричит:

— Держать дистанцию в три метра!

Четыре, с Торстеном пять, заключенных становятся один за другим. Впереди него стоит маленький, болезненного вида человек, на котором слишком широкая тюремная одежда висит, как на вешалке. Он прихрамывает.

Подходит ординарец, молодой долговязый эсэсовец. Он отстегивает ремень кобуры и передвигает ее вперед, чтобы револьвер был под рукой.

— Кто по дороге заговорит, будет беспощадно высечен! Шагом... марш!

Пять заключенных шагают за охранником по коридору. Они проходят через флигель «Б» и поднимаются на второй этаж. Ни один не оглянется, не кашляет.

У человека, идущего впереди Торстена, прекрасной формы голова с высоким лбом. Он лыс и чисто выбрит.

Комната врача находится в отделении «Б-2», первая от лестницы. Больные стоят длинным рядом вдоль коридора, на расстоянии трех метров друг от друга, лицом к стене. Пятеро из отделения «А-1» становятся в самом конце.

Мимо расхаживает караульный и следит, чтобы не переговаривались. Когда он уходит в противоположный конец, один из пяти, стоящих впереди Торстена, шепчет:

— Фриц, возьми себя в руки и не сдавайся!

Тот бросает испуганный взгляд в сторону караульного и чуть заметно кивает головой.

Кальфактор из «Б-2» проходит мимо. Слышится тихое:

— Пст! Немножко табачку.

Но тот идет, не останавливаясь. Когда он возвращается обратно, ему шепчут:

— Альвин! Альвин!

Кальфактор осторожно оглядывается и тихо отвечает:

— Ладно, сейчас еще раз пройду.

Караульный медленно возвращается с того конца коридора. Все сразу перестают шептаться, разговаривать и оглядываться и стоят, как истуканы, уставившись глазами в стену. Как только он поворачивается спиной, шушуканье и шепот возобновляются.

— В понедельник меня будут судить, слава богу! Наконец-то вырвусь из этого дома пыток!

— За что судят?

— За соучастие в убийстве. По Грёвенвегскому делу, это когда застрелили нашего товарища Меркера.

— Какое же тогда соучастие в убийстве?

— Тогда один полицейский скovyрнулся, и это дело они теперь хотят нам приписать.

Кальфактор Альвин возвращается. Проходя мимо, он сует что-то в руку одному из товарищей. Дежурный замечает, что он подошел к больным.

— Что ты там делаешь?

— Я ищу свой совок, должно быть, тут оставил, — невозмутимо отвечает Альвин.

— Нужно раньше собирать свое барахло.

Кальфактор уходит.

Прием у фельдшера идет удивительно быстро. Не успел еще больной войти в комнату, как уже раздается возглас:

— Следующий!

Торстен последний в ряду, перед ним четверо из «А-1».

Это путешествие к врачу после долгого заключения в темном карцере действительно очень приятно. Свет, люди, говор, — сразу становится легче. Надо посоветовать Крейбелю — пусть тоже попробует попасть на прием.

Вереница больных заметно укорачивается. Вот уже позвали первого из отделения «А-1». Стоящий впереди Торстена страшно робок и запуган. Когда Торстен тихонько спросил, давно ли он в одиночке, тот ничего не ответил. И на вопросы других он тоже только чуть заметно кивает головой или мигает. Торстен замечает у него под ухом вздутый кровоподтек. Похоже, как будто его душили.

Больные из «А-2» уже прошли. Подходит очередь Торстена. Каждый входящий в приемную называет свое имя. Аспирин, касторка и белые таблетки для успокоения нервов — вот стандартные средства лечения. Торстену даже интересно, что ему дадут проглотить.

Его сосед входит, хромая, в кабинет и рапортует:

— Заключенный Кольтвиц!

Это Кольтвиц! И как он сам не догадался? Торстен напряженно прислушивается к голосам в кабинете.

— Я внесу любой залог, господин фельдшер, если меня начнут по-настоящему лечить в больнице или клинике. Внесу залог, я не убегу. Правда, не убегу.

— Залог? Сколько вы думаете внести? Десять тысяч марок?

— Так точно, господин фельдшер!

— И пятьдесят тысяч можете?

— Так точно, господин фельдшер!

— У вас так много денег?

— У меня... у меня их нет, но... у меня богатые родственники.

— И вы думаете, они внесли бы за вас залог?

— Конечно, господин фельдшер. Они бы это сделали.

— Из этого ничего не выйдет, мой милый, мы не так продажны. Третья империя не Веймарская республика. Вероятно, вам известно, что прежде гамбургские миллионеры могли откупиться от тюрьмы, ну, скажем, к примеру, Витцен или Виценс, не знаю, как правильно. В Третьей империи такое невозможно. Мы не делаем никаких различий между имущими и неимущими. С тем, кто ведет подрывную деятельность против государства, мы обращаемся как с преступником, независимо от того, беден он или богат. Твои деньги, еврей, тебе уже не помогут.

— Я ведь не свободу хочу купить себе, — причитает Кольтвиц, — я хочу только, чтобы меня лечили, хочу попасть в больницу.

— Ты хочешь в больницу, потому что тебе здесь у вас не нравится, не так ли? Говори прямо!

— Я болен, господин фельдшер.

— Я дам тебе еще четыре таблетки. Одну на утро, одну на вечер; Увидишь, что помогут. Через несколько дней будешь, как новорожденный.

Кольтвиц хочет еще что-то сказать, но им настолько овладевает отчаяние, что он не находит нужных слов. Он стоит перед столом фельдшера и смотрит ничего не видящими глазами.

— Ну довольно, иди! Следующий!

— Заключенный Торстен.

— Торстен? Вы еще не были у меня? — Фельдшер разглядывает Торстена. — Вы давно здесь?

— Пять недель!

— А где вы помещаетесь?

— В подвале.

— В темной?

— Так точно.

— Хм... — соображает фельдшер. — Торстен?

Он снова испытующе всматривается в заключенного, который стоит перед столом, выпрямившись во весь рост.

— Ну, да! — наконец догадывается он. — Вы член рейхстага Торстен.

— Так точно.

— Так, так! Вы, следовательно, в некотором роде почетный гость нашего заведения. У нас ведь больше нет членов рейхстага... А у вас что?

— У меня больной желудок, и я не переношу черного хлеба.

— Больше вы ни на что не жалуетесь?

— Нет.

— Никаких желаний?

— Нет.

— Вы все еще коммунист?

Странно! Что за вопрос? Чего хочет от него фельдшер? Торстен смотрит на него с удивлением и не отвечает.

— Ну? — ухмыляется тот. — Ах, вы не решаетесь?

— Я не понимаю вашего вопроса. Вы серьезно думаете, что здесь можно быть «обращенным» в национал-социалиста?

Фельдшер смеется.

— Нет, этого я, конечно, не думаю. Надо быть круглым идиотом, чтобы поверить в такую возможность!

Торстен смотрит на фельдшера со все возрастающим недоумением. Он молод, как все остальные эсэсовцы, но занимает уже, по-видимому, высокий пост. Из-под воротничка белого докторского халата виднеются звездочки на лацкане. Фельдшер, улыбаясь, поглядывает на Торстена и пишет какой-то рецепт.

— Карл! — кричит он за дверь. — Карл!

Входит караульный, наблюдающий за больными в коридоре.

— Тех четырех из отделения «А-один» отведи, а этого я сам сдам.

Дежурный с четырьмя заключенными уходит. Фельдшер подходит к окну. Не оборачиваясь к Торстену, он спрашивает:

— Да, Торстен, тяжелая школа, не правда ли?

Торстену еще не ясно, что все это значит. Почему именно к нему так благосклонен фельдшер? Но пока считает благоразумным промолчать.

— Было время, и я колебался. Коммунизм или национал-социализм? — Он поворачивается к Торстену. — Ведь я был социал-демократом и состоял в Союзе рабочих санитаров. И наблюдал такие вещи, которые заставили меня отойти от этих организаций. Я не стану жертвовать собой для того, чтобы кучка бонз благодумствовала.

Он замолчал, глядя в окно на тюремный двор.

— ...Вы не ожидали, что это будет так скоро и так всерьез, — продолжал он, — что Адольф Гитлер так легко захватит власть и так основательно наведет порядок, не так ли? Вы поставили не на ту лошадь и — проиграли?

— Но политика ведь не рысистые бега.

— Нет? Вы уверены? — Фельдшер ухмыляется. — Я... я не знаю, но, право, мне иногда кажется, что — да. Иногда ставят неудачно, иногда удачно. У меня всегда было верное чутье.

Фельдшер подходит к Торстену вплотную.

— Что бы сделали вы в прошлом году, если бы знали или хотя бы предполагали, что произойдет в этом году?

— Я это знал!

— Что-о?! Вы хотите сказать, что еще в прошлом году знали, что в тридцать третьем году к власти придут национал-социалисты?!

— Я не знал, конечно, этого наверняка, по шансы фашизма были очень велики. Надо уметь учитывать соотношение классовых сил на данный момент.

— И вы не сделали на основании своих знаний никаких выводов?

— Что вы под этим подразумеваете? Я ведь уже сказал: политика — не рысистые бега.

— Следовательно, вы хотите меня убедить, что вы шли к своему несчастью совершенно сознательно?

— К своему несчастью? Как так? Господин фельдшер, я коммунист, я

веду борьбу за Германию социалистическую. Я марксист. До войны был социал-демократом и стал коммунистом, когда социал-демократы пришли к власти. Выходит, с вашей точки зрения, я уже тогда сознательно шел навстречу своему несчастью? Вам, по-видимому, было бы более понятно, если б я стал полицей-президентом или министром. Но я борюсь за победу рабочих, за социализм и не ставлю на любую лошадь, которая в данный момент имеет шансы на выигрыш.

— Но при этом вы сами можете погибнуть.

— Возможно. Но ведь до меня так было с тысячами, больше, чем с тысячами. Классовая борьба — дело серьезное.

Фельдшер как будто не расслышал последних слов.

— Лично я больше презираю социал-демократов, чем коммунистов. Коммунистов можно ненавидеть, социал-демократов нужно презирать. Это продажные людишки... Когда, по-вашему, наступит в Германии благоприятный момент для коммунизма?

Торстен улыбается. Этот неожиданный вопрос выдает все. Стоящий перед ним чернорубашечник не верит словам своего вождя Гиммлера.

— Вождь охранных отрядов Гиммлер недавно определил продолжительность господства национал-социализма в пятьдесят тысяч лет.

— Какая чушь! Кого можно поймать на такую удочку? Но скажите, как вы думаете, когда скипетр власти перейдет в ваши руки?

— Я не пророк, господин фельдшер... Если судить по экономическому и международному положению Германии, по настроению рабочих, то все, что сейчас происходит, не может продолжаться долго.

По лестнице поднимается Цирбес. Фельдшер обрывает разговор и идет ему навстречу.

— Скажи, мой арестант из темной еще у тебя?

— Да, я как раз собирался свести его вниз... У Торстена тяжелое желудочное заболевание. Постарайся уже сегодня раздобыть для него белый хлеб. Он должен его получать с завтрашнего дня.

К Торстену:

— Теперь идите с вашим дежурным.

Начальник лагерной канцелярии Харден и прикомандированный к ней начальник отделения Ридель входят в караульную. В комнате один Цирбес.

— Хайль Гитлер!

— Хайль Гитлер! Сегодня освобождают восемнадцать человек, в том числе один из твоих.

— Как его зовут?

— Погоди-ка... — Харден перелистывает пропускные удостоверения. — Мизике! Готфрид Мизике.

— Что-о?! Эту сволочь, этого еврея выпускают? Черт знает что такое!

Цирбес искренне огорчен; он считает, что евреев принципиально не следовало бы выпускать из лагеря живыми.

Все вместе отправляются в камеру, где находится Мизике.

— Смирно! Отделение «А-один», камера два, сорок человек! Свободных коек нет!

Все заключенные знают Хардена, знают, что он приносит освобождение, и называют его «ангелом-избавителем». Они стоят, затаив дыхание, и каждый надеется, что вызовут непременно его.

— Готфрид Мизике!

— Здесь!

— Ну! Ну! Подойди-ка сюда!

Мизике подбегает к двери, останавливается перед тремя надзирателями и смотрит на «ангела-избавителя». От волнения у него спирает дыхание.

— Ну, Мизике, что бы ты сказал, если б тебя сейчас выпустили?

— О-ох, господин унтер-офицер!..

Больше Мизике не может ничего сказать, так как теперь он уже знает, что его выпустят. Освобожден! Свободен! Не надо будет больше стоять навтыжку, маршировать по двору, носить арестантскую одежду! Освобожден!

— Ну, собирай вещи! Только поскорее! Чтобы в две минуты был готов!

— Слушаю, господин унтер-офицер!

Мизике дрожит от радости. Харден и Ридель смеются. Цирбес гремит боцманским голосом:

— Прежде чем выйти, еще попрыгай три раза вокруг двора. Ну, так собирайся, мы сейчас вернемся!

Мизике окружают, желают ему счастья, завидуют. Двое снимают белье с койки и складывают тюремные вещи, и те из них, что получше, подменяются худшими. Мизике должен дать расписку в том, что заказанные им папиросы и съестные припасы он передает в пользу камеры.

Он отдает, все, без чего может обойтись. Из оставшихся у него пяти марок и сорока пфеннигов он оставляет себе сорок пфеннигов на дорогу, а пять марок отдает камере. Зубную щетку, принадлежности для бритья и расческу, которые ему за несколько дней до этого прислала жена, передает старосте Вельзену, чтобы тот распределил среди товарищей.

Придя в себя от радости, Мизике начинает смеяться, суетиться, трясет руки то одному, то другому, обещает выполнить все, о чем его просят, и никак не может насладиться своим счастьем.

Сейчас должен прийти за Мизике караульный. Ему так бы хотелось сказать несколько слов заключенным, с которыми он прожил вместе несколько недель! Когда нужно продать галстук, мужскую рубашку или носки, Мизике прекрасно говорит, но теперь, когда он хочет проститься со своими товарищами по заключению, с коммунистами, слова так и застревают в горле. Вместо прощальной речи он, заикаясь, обещает писать и посылать табак.

Как только Цирбес отворяет дверь. Мизике хватает свои вещи и, крикнув «До свиданья!», выбегает из камеры.

Двадцать минут спустя он уже за стенами лагеря и, далеко обогнав всех освобожденных, мчится в Ольсдорф, к станции надземной железной дороги.

За то, что выпустили еврея Мизике, должен поплатиться еврей Кольтвиц. Обертруппфюрер Мейзель никак не может взять в толк, почему, как он выразился, отпустили этого паршивого еврея.

— Вот увидишь, — говорит Мейзель Цирбесу, — того и гляди, скоро и этого Кольтвица выпустят. Я совсем не понимаю гестапо.

— Его не выпустят! — уверенно отвечает Цирбес. — Только не его.

— Но ведь это может случиться, и тогда уже ничего не поделаешь.

— Но я могу кое-что сделать, прежде чем это случится.

— Безусловно! И я тебе помогу. Знаешь, Дuzеншен опять получил нахлобучку. Старшему кажется, что у нас все еще слишком миндальничают. Комендант знает, чего он хочет!

— Это потому, что он сидит ближе к правительству, чем эти старые дураки из гестапо. Комендант на несколько дней раньше узнает в Государственном совете, куда ветер дует.

Торстен передал соседу свой необычный разговор с фельдшером. Крейбель стучит в ответ, что фельдшер штурмфюрер и что его зовут Гейнц Бретшнейдер.

Эта ночь — самая ужасная из пережитых Торстеном в лагере. Четыре раза врываются в камеру над ним и избивают больного Кольтвица. Первый раз до двенадцати, а потом еще три раза — между полночью и утром. На этот раз они дают ему кричать. Его звериный вой, причитания и крики заглушают свист плетей и хлопки ударов и разносятся по всей тюрьме.

Торстен думает о стоявшем впереди него тщедушном больном человеке, который не отважился прошептать слово или даже пошевелить головой, вспоминает знаки, оставленные душителем на шее, высокий лоб, гладко выбритую голову. Всю ночь напролет Торстен не может уснуть. Не только он, но и Крейбель и сотни заключенных в эту ночь не находят покоя.

На следующий день, приняв дежурство от Цирбеса и потихоньку отдав табак в камеры № 1 и № 2, Ленцер заходит в одиночку к Кольтвицу. Тот дожит на койке, бледный, как покойник, уставившись широко открытыми глазами в потолок.

— Ну, Кольтвиц, что с вами?

Кольтвиц смотрит на Ленцера, молчит и снова переводит глаза на потолок. Подле Кольтвица лежит толстая веревка. Ленцер берет ее в руки и рассматривает.

— Это что за веревка, Кольтвиц?

— Это мне ее вчера подбросили. — Он говорит тихо, еле слышно, и слезы текут по лицу.

Ленцер ненавидит евреев, но этого он не может одобрить. Если Кольтвиц должен непременно умереть, то не таким образом: его надо просто пристрелить. Хорошенько вовремя всыпать — никогда, по его мнению, не мешает, но эта длительная порка, это избиение насмерть — гнусность.

— Кольтвиц, может, вам что-нибудь нужно? Хотите кофе? Хорошего, настоящего кофе?

Кольтвиц только слабо качает головой.

«Теперь в мое дежурство его больше не тронут!» — дает себе слово Ленцер.

Кальфактор Курт из отделения «А-1» убирает подвал. Он был в Винтерхудере в городском комитете и знает Крейбея по политической работе. Если поблизости никого нет, он всякий раз подходит к двери его камеры и шепотом сообщает все новости. Хотя газеты в лагере строгойше запрещены, но время от времени они все же попадают в камеры то с бельем, то через посетителей. Кое-что узнают заключенные в общих камерах и от

караульных. Когда караульные разговаривают между собой, кальфакторы тоже всегда наостряют уши.

— Вальтер!

— Да.

— Карл Дрекслер покончил с собой. В прошлый понедельник.

— И он?

— Да. И Ионни Райке и Отто Штенке тоже нет уже в живых.

— Курт!.. Курт!..

Кальфактора уже нет. Крейбель прижимается ухом к двери и с напряжением вслушивается в темноту.

Карл Дрекслер умер... Хороший, верный был товарищ. Иоанн Райке умер, Отто Штенке, Ион Тецлин, Ханс Фецдерзен, Карл Шенгер — все умерли. Замучены. Засечены плетьюми и бычьими жилами. А Лютген, Геш, Вольф и Меллер — сколько еще убитых!..

— Вальтер!

— Да.

— Уже давно идет процесс о поджоге рейхстага. И наци все больше позорятся. Болгарин Димитров молодец, он задает им жару. Во время суда назвал Геринга подстрекателем в поджоге рейхстага. На каждом заседании скандал, уже не раз его удаляли.

— А как работа на воле?

— В последнее время стало лучше. Партия уже оправилась от массовых июльских арестов. Говорят, будто бы на некоторых предприятиях работа идет вовсю. Тс... Подожди минутку.

Сверху раздается крик Ленцера:

— Кадьфактор! Кадьфактор!

— Слушаю!

— Ты внизу?

— Так точно!

— Ну, ладно! Только чтоб не было разговоров с этими гадами! Понял?

— Так точно!

Курт чистит замки на дверях камер и смазывает их жиром.

— Вальтер!

— В Женеве здорово провалились. Геббельсу пришлось собрать свои

манатки и удрать с конференции. Кто-то из дипломатов сказал, что Германия должна посылать политиков, а не гимназистов. Германские предложения о вооружении не прошли.

— Что еще нового?

— Советский Союз заключил торговое соглашение с Соединенными Штатами. Союз заказывает товаров на три миллиарда. Вчера кто-то из караульных сказал: «Вот если б нам такой заказ получить, Германия выбралась бы на несколько лет из тупика». Все бегают за Литвиновым. Даже Муссолини просил его заехать на обратном пути из Америки в Рим.

Крейбелю понадобился целый день, чтобы простучать все эти новости Торстену.

Вечером, сейчас же после сигнала, в караульной появляются Мейзель и Тейч. Там сидит Ленцер.

— Роберт, дай-ка мне твой ключ от одиночек, мы хотим навестить Кольтвица.

— Кольтвица оставьте сегодня в покое.

Глаза Мейзеля становятся маленькими и злыми.

— Ты хочешь мне предписывать?

— Предписывать? Нет. Я только говорю, что ты должен сегодня оставить Кольтвица в покое.

Мейзель не возражает: внешне он совершенно спокоен, но в действительности готов наброситься на Ленцера.

— Принеси из классной комнаты две плети, — обращается он к Тейчу.

Тот уходит.

— Что это с тобой? — шипит Мейзель на Ленцера, — Пожалуйста, в мои дела не вмешивайся! Кто, собственно говоря, дал тебе право так распоряжаться здесь?

— Во-первых, пока Тейч не вернулся, вот восемь марок. Твоя доля выручки от последней доставки.

Ленцер протягивает ему деньги.

Мейзель колеблется. Неужели ради денег он уступит? Он хотел бы от них отказаться, но они нужны ему, нужны срочно. И он берет.

— Мне они очень кстати... Но, Роберт, скажи мне, почему ты заступаешься за еврея?

— Я не собираюсь заступаться ни за одного еврея, я только не хочу, чтоб его забили до смерти во время моего дежурства. Ведь Кольтвиц на ладан дышит.

Возвращается Тейч, неся в руках два хлыста.

— Не сегодня — завтра, но мы все же немножко нагоним на него страху.

Он выходит с Тейчем из караульной, включает свет в одиночке Кольтвица и смотрит в «глазок». Заключенный лежит на койке с расширенными от ужаса глазами и с трепетом прислушивается.

Мейзель стучит кулаком в дверь.

— Эй, Кольтвиц, вставай! Приготовься! Мы сейчас придем!

Мейзель видит в «глазок», как дрожит Кольтвиц под одеялом, и лицо эсэсовца искажается злобной усмешкой.

— Погань, трясется, как старая баба!

Тейч тоже смотрит в «глазок» и наслаждается смертельным страхом Кольтвица. Он стучит плетью в дверь камеры:

— Ну! Вставай! Через две минуты мы вернемся!

И, громко смеясь, оба уходят.

Раздается продолжительная трель сигнального свистка.

— Подъем! Долой с постели! — кричит Ленцер.

— Подъем! Долой с постели! — кричат дежурные по другим отделениям.

Шесть часов. Еще совсем темно. Только через час станет светать; одиночники вскакивают. Если пролежишь хоть пять минут после сигнала — поднимут плетью. Спешат и заключенные в общих камерах. За час надо умыться и привести в порядок камеру. Ровно в семь переключка. Незадолго до семи кальфакторы начинают разносить ведра с кофе. Один из них переходит от камеры к камере, раскладывает куски черного хлеба по откидным полочкам на дверях.

Начинается раздача хлеба и кофе. Ленцер отпирает двери, а оба кальфактора раздают.

— Ты, падаль, громче рапортовать не можешь?

— Заключенный Пемеллер!

— Еще громче!

— *Заключенный Пемеллер!*

— Изволь так рапортовать каждое утро и каждый вечер! Понял, дрянная такая?

Ленцер с криком носится от камеры к камере и открывает двери; кальфакторы едва успевают за ним.

— Заключенный Трейдинг!

— Заключенный Дозе!

— Заключенный Эбершталь!

Из следующей одиночки не слышно ни звука. Ленцер уже отворяет двери камеры.

— Ну, а здесь не желают рапортовать? Кто этот мерзавец? Кольтвиц?

Одним прыжком Ленцер оказывается в камере и тут же озадаченно останавливается. Что за черт! Кольтвица нет ни на нарах, ни вообще в камере.

— Ух!..

Ленцер с отвращением и ужасом выскакивает обратно. В полуметре от него, над стульчаком, висит Кольтвиц. Лицо безобразно искажено, рот широко раскрыт, глаза вышли из орбит.

— Тьфу ты, дьявол! Уже воняет, — вырывается у Ленцера.

Он велит кальфакторам подождать и бежит в караульную — звонить в комендатуру и фельдшеру.

В это время Курт сбегает в подвал, как будто для того, чтобы разложить там хлеб.

— Вальтер! — взволнованно шепчет он в дверь Крейбеля.

— Да!

— Кольтвиц повесился!

— Что?..

— На трубе от отопления, над стульчаком!

И бежит вверх.

Крейбель стучит Торстену:

— Кольтвиц повесился!

Торстен, делавший в это время утреннюю гимнастику, опускается прямо на пол. Они таки добились своего. Цирбес и Мейзель добились-таки, чего хотели. Кольтвиц повесился... Он был болен и просился в больницу. И этого больного, слабого человека они избивали не переставая, зверски

избивали.

Идет фельдшер Бретшнейдер, Ленцер — ему навстречу.

— Ты его уже вынул из петли?

— И не подумал. Воняет, как чумной!

— Значит, повесился еще вчера вечером.

— Совершенно верно, — подтверждает Ленцер.

— Откуда ты знаешь?

— Я просто так думаю. Он боялся избиения.

Кальфактор поддерживает труп, пока фельдшер перерезывает веревку. Они вытаскивают тело в коридор.

Ленцер замечает на столе письма. Он их рассматривает и читает:

— «Дорогой Фриц, мой любимый муж...» И еще стихи: «Много птичек там, и малых и больших, — парами всегда я вижу их, — а тебя увижу ли, — кто знает!..» Ах да! — вспоминает Ленцер. — Они вместе читали стихи... Как дети, как влюбленные. Смешные люди бывают на свете!

Спустя несколько часов Ридель разговаривает по телефону с госпожой Кольтвиц.

— Простите, сударыня, но я лично ничего не могу сделать... Нет, администрация лагеря тоже не может. Я уже раз объяснял вам, что труп вашего умершего мужа может быть выдан лишь по распоряжению государственной полиции. Вы должны связаться непосредственно с ними... Нет, коменданта лагеря сейчас нет... Его заместитель? — Ридель смотрит на Дузеншена, который стоит тут же, но энергично отмахивается. — К сожалению, и заместителя коменданта сейчас нет. Что? Как?.. Но позвольте! Как вы можете допустить подобную мысль?! Как?.. Вы можете за это ответить, госпожа Кольтвиц!.. Как?.. Простите, но я не могу выслушивать вас дальше!

Ридель вешает трубку и в замешательстве смотрит на Дузеншена.

— Ну, — смеется тот, — отвела душу?

— Почему это вы всегда на мне выезжаете?

— Должен же и ты что-нибудь делать. Кроме того, — кто это «вы»? Будь осторожен, Вилли, старик и так плохого о тебе мнения... В самом деле, нельзя же требовать от него, чтобы он выражал соболезнование жене каждого повесившегося у нас заключенного. Это было бы уж слишком!

В это время из ворот корпуса «А» мимо комендатуры проезжает автомобиль с телом Кольтвица. Ридель и Дузеншен смотрят в окно. Харден продолжает сидеть за пишущей машинкой, будто все происходящее совсем его не касается. Отворяются большие, с двойными запорами ворота лагеря. При выезде автомобиля с трупом шофер сигналил два раза кряду. В радостном возбуждении Дузеншен подражает сигналу машины.

Тяжелые ворота снова запираются.

Среди вновь прибывших заключенных обращает на себя внимание высокий стройный человек с большим орденом на шее. На отвороте сюртука несколько орденских ленточек, а на левой стороне груди Железный крест первой степени. Холодно и пренебрежительно отвечает он на вопросы караульных. Его длинное худощавое лицо с сильно выступающим подбородком неподвижно. Ридель первый, смеясь, подходит к нему и спрашивает:

— Откуда это у вас такая коллекция?

— Купил у старьевщика, молодой человек, по примеру некоторых высокопоставленных лиц, — холодно и язвительно звучит в ответ скрипучий голос.

— Некоторых высокопоставленных лиц? — намеренно переспрашивает Ридель и испытующе смотрит на отставного ротмистра. Он знает, что это намек на заместника Кауфмана, про которого весь Гамбург говорит, будто он носит купленные ордена.

— Совершенно верно! Высокопоставленных лиц.

— Вы, по-видимому, все еще не понимаете, где находитесь! — И Ридель уходит в канцелярию.

— Этот барон забавен, не правда ли? — смеется Харден. — Когда его арестовали, он нацепил на себя все эти знаки отличия. Смешно... Между прочим, неплохой выбор. Большой, на шее — это орден Гогенцоллернов.

Харден смотрит на дверь и говорит, понижая голос:

— Сам Геринг мог бы позавидовать.

Вновь прибывшие должны выстроиться перед комендатурой и затем пройти через тюремный двор к корпусу «А». Отставкой ротмистр, по приказанию трупфюрера Тейча, возглавляет колонну. Гордо выпрямившись, шагает впереди заключенных сухопарый офицер в отставке с орденом Гогенцоллернов на шее, с Железным крестом на груди и с арестантской одеждой под мышкой. Эсэсовцы острят, хохочут и гнусавыми голосами отпускают презрительные шутки. Часовой у ворот корпуса «А» берет на караул. Новый взрыв хохота. Из заключенных никто не смеется.

Колонна останавливается перед караульной. Подходит Дуженшен.

— Это что еще за дурак? — спрашивает он у Тейча, показывая на ротмистра.

— Это заключенный барон фон Боррингхаузен унд Гельтлинг.

— Вот как? Чрезвычайно интересно!

И широкоплечий, приземистый штурмовик медленно подходит к ротмистру.

— За что ты здесь?

Ротмистр смотрит в одутловатое лицо штурмфюрера и спрашивает:

— **Вы** подразумеваете меня?

Дуженшен щурит глаза и пристально смотрит на странного узника. Однако не бьет его и отвечает:

— Да, я подразумеваю вас!

— Я арестован по ложному обвинению в государственной измене.

— Прекрасно! Коммунист?

— Нет, милостивый государь, я принадлежу к «Черному фронту».

— Однако государственный изменник?

— Меня оклеветали.

— А откуда у вас эти побрякушки?

— Это знаки отличия, полученные мною во время мировой войны.

— И ты, сволочь, изменник, осмелился их надеть?! — кричит Дуженшен.

Он подходит к ротмистру и в три приема срывает с него орден, ленточки, Железный крест и, не глядя, бросает все в песок.

— Ты, наглец, еще издеваться над нами?! А?! Издеваться над национал-социалистской Германией?! Это тебе дорого обойдется! Измена да еще издевательство... Ну, погоди, парень!

Ротмистр бледен как мертвец. Губы плотно сжаты, подбородок дрожит. На лбу крупные капли пота.

— Бросить эту дрянь в мусорный ящик! — кричит Дуженшен Тейчу и идет через двор в комендатуру.

Тейч собирает ордена и ленточки, чтобы исполнить приказание Дуженшена. Ротмистр теряет сознание и падает.

— Эй, вставай! Здесь это не пройдет! — кричит ему Тейч. Но тот лежит неподвижно рядом со своим узелком.

Три человека поднимают упавшего в обморок, тащат его в тюрьму и кладут в коридоре у караульной.

После обеда заключенных разделяют на группы. По распоряжению лагерного инспектора ротмистра помещают в общую камеру № 2 отделения «А-1».

Он входит туда бледный и растерянный. Никто из заключенных не знает, кто он. На вопросы он не отвечает. Несколько раз он хватается за грудь, словно ему мало воздуха. Затем его рвет, рвет желчью.

Заключенные думают, что новичка избили, и Вельзен предлагает уложить его в постель. Он покорно, как ребенок, подчиняется.

В такие вечера в камере бывает тихо. Все говорят шепотом. Громкие игры прекращаются.

Караульный Ленцер отворяет дверь в камеру Торстена.

— Заключенный Торстен!

Вместе с Ленцером входит шарфюрер Харден, «ангел-избавитель». Ленцер включает свет. Торстен закрывает глаза.

— Ну, Торстен, радуйтесь, с этой жуткой дырой вы покончили.

Мальчишеское озорное лицо Ленцера расплывается в улыбке, он и в самом деле рад. Харден молча смотрит на заключенного, мигающего от яркого света.

— Вы освобождены от темного карцера, Торстен, и переходите в группу два. Берите вещи и следуйте за нами.

Торстен больше испуган, чем обрадован. А Крейбель? Он останется один. Теперь ему не с кем будет перестукиваться.

— Но что с вами, Торстен? — удивляется Ленцер. — Вы как будто совсем не рады?

— Я думаю, господин дежурный, о заключенных, которые еще остаются здесь.

— Да ну, — говорит Ленцер, — прежде всего надо думать о себе.

Бросив немой взгляд на стену, за которой сидит Крейбель, Торстен выходит из камеры, где он провел шесть недель в полной темноте.

Его оставляют в том же отделении «А-1» и помещают в одиночку № 14. Когда все уходят, он глубоко вздыхает и жадно смотрит в окно, в ясное октябрьское небо...

Камера чистая, вновь побеленная. Здесь настоящая кровать с матрасом, стол и табуретка. На стене висит еще маленький шкафчик. «В такой камере

можно выдержать, — думает Торстен. — Никакого сравнения с норой в погребке». Осторожно выглядывает он из окна. Перед ним тюремный двор. По ту сторону стены — деревья и крыши домов. За ними красное кирпичное здание газометра, и рядом большое, высокое новое строение с множеством больших окон.

Ах, это небо... эти деревья... свет... дневной свет!.. Мечтательно смотрит Торстен через оконную решетку. Вдруг в замке скрежещет ключ; Ленцер быстро отворяет дверь.

— Что вы, с ума сошли, Торстен? Ведь часовой сейчас же выстрелит, если увидит вас у окна.

Вскоре, незадолго до сигнала ко сну, дверь Торстена еще раз отворяется.

— Заключение Торстен!

— Добрый вечер! Ну как, здесь лучше, чем в погребке?

— Конечно, господин фельдшер.

— Зайдите еще разок ко мне по поводу вашего желудка. Понятно?

— Так точно, господин фельдшер.

— Лучше всего в дежурство Ленцера.

Фельдшер проходит по камере, осматривает стены, открывает шкаф и, не говоря ни слова, уходит.

В коридоре фельдшер говорит:

— Это Торстен, депутат рейхстага, которого чуть не забили до смерти, но так и не добились ни слова.

— Я знаю, — отвечает Ленцер.

— Кауфман, и Эллерхузен, и весь штаб присутствовали, но даже толстый Келлер ничего не мог выколотить.

— Тот, которому коммунисты подстрелили ногу?

Фельдшер кивает.

Торстен находит небольшой, завернутый в пергаментную бумагу сверток. Сначала он хочет отодвинуть створку и сказать караульному, что фельдшер что-то забыл. Но потом меняет решение. Сверток лежит на подголовнике откидной постели, нечаянно никто туда не положит. И он его разворачивает. Два бутерброда с ветчиной.

Целыми часами любуется Торстен красочным октябрьским небом, особенно в ясные сумерки при закате. Тогда, покрытое живописными облаками, оно принимает чудесные тона. Все погружено в глубокую

тишину, и только птичье щебетанье, доносящееся со стороны сада, оживляет вечера.

Если встать на табуретку сбоку от окна, то можно незаметно для часового любоваться деревьями. Груши и яблоки уже сорваны, листья пожелтели. Особенно мил ему большой лесной бук, который широко раскинулся над фруктовыми деревьями. Утром, когда Торстен просыпается, буку принадлежит его первый взгляд; вечером, когда все покрывается мраком, — последний.

Дни опять кажутся долгими и пустыми. Соседи не понимают его стука. Никто к тому же не знает Торстена, а потому ему не доверяют.

Первое время он бродит по камере взад и вперед и радуется свету, облакам, птичьему щебетанью, своему буку.

Но вскоре безделье начинает угнетать его.

Каждое утро он наблюдает, как заключенных из общих камер выводят во двор и разделяют на рабочие отряды.

Одни уходят с ломами и лопатами на разборку зданий, другие, метут двор, расчищают дорожки. Одиночники же обречены на безделье. И бесконечно медленно тянется для них время.

В последний день октября в камеру Торстена входит Ленцер.

— С завтрашнего дня у вас будут новые дежурные. Меня и Цирбеса сменяют.

— Жаль, — говорит Торстен. — Будут ли это, по крайней мере, хорошие дежурные?

— Я не знаю. — И лицо Ленцера хмурится. — Улучшения, конечно, не ждите. Отделение переходит к Мейзелю. С ним Нусбек. Я буду время от времени вас проводить. Покойной ночи!

— Покойной ночи, господин дежурный!

На следующий день Мейзель принимает отделение. Весь день он не показывается заключенным и вечером, когда камеры запираются, никому ничего не говорит. Все думают, что Мейзель доволен отделением, и радуются, что все сошло так тихо и гладко. Совершенно неожиданно, приблизительно через час после отбоя, поднимается дикий шум. Он начинается в первой камере. Коридор оглашают крики боли, ругательства.

Палачи переходят из камеры в камеру.

За шесть недель сидения в темноте чувства Торстена сильно

обострились; ему все чудится, будто во время избиения он слышит женский голос.

Сейчас они бьют кого-то в камере напротив. Удары плетей и хватающие за душу крики прерываются возгласами: «Убийцы!», «Сволочи!», «Красные бродяги!». И вдруг Торстен слышит явственно женский смех. Сомнений нет. В этой экзекуции участвует женщина. Кто бы это мог быть?

Избивают его соседа рядом. Он дико воет и после каждого удара громко вскрикивает. Сейчас они ворвутся к Торстену. Он чувствует, как учащается его пульс, как появляется легкая дрожь. Он берет себя в руки.

Камеру рядом запирают. Идут. Вспыхивает свет. В замке скрежещет ключ. В дверях появляется красный, разгоряченный поркой Мейзель. Рядом с ним Тейч.

— А ну, вставай!

Торстен вылезает из постели. В это время он видит рядом с эсэсовцем в стальном шлеме и с винтовкой молоденькую девушку.

— Нагнись! — кричит Мейзель, который рядом с Торстеном выглядит совсем мальчишкой.

Торстен смотрит в коридор и медлит. Вооруженный часовой и девушка стоят в полутемном коридоре, но Торстен ясно видит их. Девушка — маленькая, очень стройная, с узким изящным личиком.

Хлоп! Удар плеткой пришелся прямо по лицу.

— Ты нагнешься, сволочь? — с пеной у рта кричит Мейзель и наносит второй удар по лицу.

— Нагнись, собака!.. Нагнись!..

Торстен нагибается.

Мейзель и Тейч бьют одновременно. В камере тесно, и Мейзель хлещет по спине так, что концы плети угождают Торстену прямо в лицо. Он руками защищает глаза, судорожно сжимает челюсти и ни одним звуком не выдает боли.

Наконец они останавливаются.

— Если вы, собаки, не будете повиноваться, то так будет каждый вечер! — кричит Мейзель и захлопывает дверь.

Они идут в следующую камеру, где повторяется то же.

Торстен стоит босой, в одной тюремной сорочке, не в состоянии что-либо сделать. Так стоит он долго и слушает, как избивают подряд всех заключенных...

Наконец осторожно, чтобы не было слышно, наливает в таз холодной воды и делает обтирание. Это успокаивает. Лицо, горящее и распухшее от ударов, охлаждает компрессами.

Из караульной до полуночи доносится громкий говор дежурных и звонкий смех и пронзительные взвизгивания девушки.

Когда ротмистр, с сумрачным лицом, заложив руки за спину, одиноко шагает взад и вперед у двери камеры, заключенные посмеиваются. В день своего прибытия он в продолжение нескольких часов молчал. Чтобы что-нибудь узнать, приходилось вытягивать из него по одному слову.

Но чем больше заключенные узнавали, тем более возрастало их любопытство. Особенно заинтересовался ротмистром старый Дитч. Он то и дело подъезжает к нему. Единственной приманкой, против которой не может устоять ротмистр, являются расспросы о пережитом на войне. Целый вечер он наслаждается этими воспоминаниями. До сих пор помнит он каждый уголок румынского фронта, каждую станцию линии Будапешт — Бухарест, всех офицеров своего батальона, их социальное положение, их достоинства и недостатки. Ротмистр незаметно для себя становится разговорчивым. Ему кажется, что он нашел родственную душу. Забившись в угол камеры, он рассказывает Дитчу о том, как его опозорили.

— Если бы они дали мне пощечину, били, топтали ногами, — это можно было бы снести, забыть. Но оскорбления, которое нанес мне этот штурмовик, я никогда не смогу забыть. Оно будет жечь мне грудь до конца дней моих. Как офицер, я еще потребую удовлетворения.

Дитч мог бы многое возразить на это, но он молчит. Ротмистр продолжает.

— Я был национал-социалистом еще тогда, когда эти желторотые юнцы бегали в школу. Я получил свои отличия за Верден, когда большинства из тех, кто теперь выдает себя за героев, еще на свете не было или, в лучшем случае, они были еще в пленках. А теперь они важничают и чванятся... Когда я выйду отсюда, я напишу генералу фон Маккензену, которому я лично известен, — пусть узнает, как здесь со мной обращались... Этого я так не оставлю!

На третий день Дитч добился своей цели; начав с фронтовых воспоминаний, они добрались до политики. Дитч, Вельзен, Шнееман — все внимательно слушают национал-социалиста оппозиционера.

Гордый и чопорный ротмистр уже не находит неприличным распространяться о своих политических взглядах перед пролетариями. Они

сидят вокруг него, а он говорит медленно, четко, внушительно и несколько высокомерно, — так, будто ведет разговор с людьми, которые заранее готовы принять его доводы как откровение.

— Конечно, Гитлер провалится, это можно было предвидеть еще несколько лет назад. Он изменил своей собственной программе и продался Круппу и Тиссену. Что он до сих пор дал народу? Геббельсовский ослепительный фейерверк, а не социализм! Разве банки перешли к государству? Разве налоговое рабство отменено? Разве версальский позор смыт? Ничего подобного! Ложь и обман и все тот же старый реакционный капиталистический режим, только под другой вывеской! Вот что такое их Третья империя!

Многие из заключенных удивлены. Он говорит без обиняков. Ротмистр, видимо, совсем не так плох, пожалуй, из него выйдет толк. Вельзен ждет, когда же ротмистр покажет свое истинное политическое лицо. Тот не заставляет себя долго ждать.

— Но у рядовых членов гитлеровской партии, — продолжает барон, — и у штурмовиков скоро откроются глаза, и тогда национал-социализм вернется к своим прежним идейным целям, тогда под нашим руководством будет пробита брешь для германского социализма, будьте уверены. И тогда произойдет объединение народа, которому мешает сейчас Гитлер своими концентрационными лагерями и массовыми казням и которое необходимо нам, для того чтобы предотвратить гибель нашего народа и дать отпор целому миру врагов.

Ротмистр с удивлением оглядывается, так как видит сплошь улыбающиеся лица. Неприятна ему эта улыбка, уверенная и в то же время сострадательная.

— Только не очень торопитесь, — хохочет Кессельклейн, — мы хотим немножко вас обойти!

Ротмистр свирепеет:

— Вы думаете? Ах вы, несчастные! Вы даже не предполагаете, насколько вы далеки еще от этого! А когда германский социализм победит, вы проиграли, и тогда вы лишние, просто лишние. У вас есть шансы лишь до тех пор, пока господствует капитализм. Вы мечетесь, как слепые, не зная сил, которые против вас направлены, и безумно увлечены только собой.

— Ого! — хохочет Вельзен. — Поменьше жару!

— Что ты так расстраиваешься? — спрашивает, улыбаясь, старая лиса Дитч. — Разве есть для этого какое-нибудь основание?

Какой-то молодой рабочий кричит:

— Да вы ничем не отличаетесь от обанкротившейся национал-социалистской лавочки! Что вы там болтаете о ваших идейных целях? Скажи нам лучше, как ты относишься к вопросу о классовой борьбе. И что за чудовище такое эта ваша Четвертая империя?

— Ах вы, коммунисты!

Ротмистр начинает ругаться. Он позеленел от волнения и злости, взгляд его серых глаз беспокойно блуждает по лицам.

— Какое дело вам, коммунистам, до Германии? Разве вы действуете из национальных побуждений? Нет! Вы форпост внешней политики Советского Союза, вы действуете по указке Кремля!

Вельзен смотрит на социал-демократа Шнеемана, который отвечает ему смущенной улыбкой. Почти те же возражения высказывал он, социал-демократ, против политики германской компартии.

— Вы бесспорно мужественные парни. Я питаю большое уважение к германским рабочим. Ваша борьба с Гитлером— героическая, смелая борьба. Но в конце концов вы все же пешки в чужих руках. Интернациональное братание! Пусть это красиво, пусть это хорошо. Но можно ли жертвовать германским народом для того, чтобы улучшить положение русского народа? Конечно, на это можно пойти. Но не сетуйте на меня, я немец, и я с этим борюсь. Я против такого международного братания. В Кремле сидят умные люди, они прекрасно знают, чего хотят...

— Совершенно верно! — бросает Кессельклейн.

— ...Да, но лишь для укрепления позиций Советского Союза. И когда у него возникают трудности, он посылает пролетариев на забастовки или на баррикады. Для блага русских Советов во всех странах, и особенно в нашей Германии, проливается ценная рабочая кровь.

Несколько рабочих вскочили со своих мест. Никто уже не улыбается, все с горечью смотрят на брызжущего слюной ротмистра.

Берет слово Шнееман.

— Некогда я тоже высказывал подобную точку зрения, — начинает он, — и с тех пор много думал об этом. Сейчас я понял, что был неправ. Почему? Потому, что мы не должны быть узколобыми националистами. Само собой разумеется, мы должны поддерживать ту страну, которой управляет рабочий класс. Даже если тому или другому из нас кое-что и не нравится в ее внутренней политике. Насколько я знаю, национальный вопрос играет у Ленина большую роль, и в пределах Союза всем республикам гарантировано национальное самоуправление и самоопределение. Поэтому сейчас я уже отказался от прежних своих

близоруких взглядов. Только я считаю, что коммунисты должны предоставить автономию и отдельным провинциям.

Коммунисты поглядывают на Вельзена и Дитча, ждут от них необходимого ответа.

Вельзен чувствует взгляды товарищей: они ожидают, что он объяснит социал-демократу и нацисту основную задачу пролетарского интернационализма. Но Вельзен молчит. Он не доверяет этому барону фон Воррингхаузен унд Гельтлинг.

Дитч не понимает молчания товарища, он предпочел бы, чтобы говорил, конечно, Вельзен, потому что сам он не чувствует себя уверенным в этих вопросах. И действительно, он после первых же фраз впадает в противоречие.

Ротмистр тотчас же использует его оплошность, и Дитч, чувствуя всю ответственность своего выступления, еще больше горячится и путается. Кессельклейн хочет ему помочь, но, вместо того чтобы вести спор, тоже ругается. Али, комсомолец, пытается поднять ротмистра на смех. Спор превращается в ссору.

В это время открывается дверь, Вельзен кричит:

— Смирно!

Заключенные поднимаются со своих мест и становятся навтыяжку.

В дверях появляется Мейзель, он сразу видит, что в камере какое-то замешательство и что все заключенные сгрудились вокруг ротмистра.

— Гельтлинг!

Ротмистр выходит:

— Заключенный фон Воррингхаузен унд Гельтлинг!

— Ну это, пожалуй, как вам угодно. — И Мейзель презрительно кривит рот. — Вы будете отпущены. Но сначала вы мне скажете, о чем это вы говорили только что с заключенными. Поняли?

— Так точно, господин дежурный!

— Ну, так собирайте ваши вещи.

Едва только Мейзель затворяет за собой дверь, как заключенные обступают ротмистра:

— Ты ему скажешь?

— Смотри, ведь это только уловка Мейзеля, тебя не отпустят: ведь освобождает «ангел-избавитель». Мейзель только хочет все от тебя выведать.

— Ты... ты нас не выдавай, слышишь?

— Послушайте-ка, за кого вы меня принимаете? Об этом не может быть и речи, — отмахивается он от назойливых наставлений. Кое-кто из заключенных торопливо помогает ему упаковать постельное белье и переодеться.

— Ты был в лагере только три дня, — говорит один.

— Четыре! Четыре дня, — поправляет его ротмистр.

От волнения он обрывает у ботинок оба шнурка. Одни из заключенных наклоняется и аккуратно связывает их.

Мейзель отворяет дверь. «Ангел-избавитель» стоит рядом. Кессельклейн еще раз шепчет:

— Ну, смотри, не проболтайся!

Ротмистр, не прощаясь, уходит.

Среди заключенных напряженное волнение. Через несколько минут будет известно, промолчал ротмистр или нет. Али все время подходит к двери и слушает. Волнение передалось и Вельзену; он бегаёт взад и вперед у двери.

— Идет! — шепчет Али, заслышав шаги.

Все смотрят на дверь. Входит Мейзель.

— Смирно!.. «А-один», камера два, тридцать семь человек, три койки свободны.

— Дитч!

Как будто кто хлестнул заключенных, так они вздрагивают. Старик Дитч выходит вперед.

— Собрать вещи! Вы пойдете в одиночку. Да поживее, старая кляча!

Мейзель, скрестив руки, стоит у двери и смотрит на заключенных. Дитч дрожащими руками собирает свои вещи. Мейзель холодно и деловито заявляет:

— Если еще раз будет разговор о политике, всех выпорю!

У двери Дитч поворачивается и говорит:

— До свиданья, товарищи!

Тут Мейзель впервые теряет свое спокойствие.

— Товарищи?! — кричит он, — Товарищи?! — И бьет Дитча большими тюремными ключами по голове и по лицу.

Весь в крови, старик, шатаясь, бредет по коридору.

Первые дни ноября холодны и дождливы. Неожиданно быстро наступают суровые ненастные осенние дни. Небо свинцовое. Резкий восточный ветер раскачивает деревья.

Внезапная перемена погоды совсем сваливает с ног заключенных. Ослабленный организм людей, лишенных работы и движения, без достаточного питания и теплой одежды, теряет способность сопротивляться. В лагере свирепствует грипп.

Торстен борется за свое здоровье. Он знает, заболел он — заключение окажется тяжелее вдвойне. Его организму прежде всего не хватает хорошей пищи и движения. О хорошей еде и думать нечего, а недостаток в движении можно восполнить.

Четыре, даже пять раз в день делает Торстен гимнастику. Тогда к вечеру он так утомлен, словно занимался тяжелым физическим трудом. Выпив на ночь горячего кипятку, он обматывает шею шерстяными носками, плотно укутывается в одеяло и потеет. Таким образом он предохраняет себя от гриппа.

Между тем заболевают сотни заключенных. Госпиталя при лагере нет. Лазарет бывшей каторжной тюрьмы снесен. Заболевшие лежат в общих камерах и одиночках. Фельдшер бегает с утра до вечера по отделениям и раздает больным аспирин, касторовое масло и какие-то белые пилюли.

Заболел и Крейбель. Спустя несколько дней после перевода Торстена, его также помещают в светлую камеру. И теперь он лежит на койке с воспаленным горлом и сильной головной болью. Вечером и утром получает он по таблетке аспирина и две белых пилюли.

С быстротой молнии распространяется в рабочем квартале города весть о том, что в концлагере вспыхнула эпидемия гриппа. Родственники заключенных весь день стоят у ворот лагеря. Часовые успокаивают их, но никто им не верит. Женщины ругаются, их разгоняют, но они снова собираются небольшими кучками, спорят, бранятся, жалуются и осаждают ворота, за которыми лежат их многострадальные больные мужья и сыновья.

Тогда комендатура лагеря сообщает в ежедневной прессе, что, за исключением нескольких случаев простуды, неизбежных в это время года, никаких заболеваний в лагере не наблюдается. Среди заключенных не было еще ни одного смертного случая от гриппа. Питание — удовлетворительное, уход за больными — безукоризненный. Виновные в распространении ложных слухов будут подвергнуты наказанию и

заклучению в концентрационный лагерь.

Торстен недоволен собою. Вот уже сколько дней он собирается привести в систему свои знания, касающиеся Октябрьской революции, и разработать большой доклад. Но у него не хватает внутреннего спокойствия, не хватает сил, чтобы сосредоточить свои мысли. Эта холодная, сырая погода угнетает его, лишает охоты работать.

Целыми часами сидит он на табуретке, уставившись в тусклое серое небо и вслушиваясь в завывание ветра. Его любимый бук, что высится за тюремной стеной, растрепала неистовая буря. Роскошная одежда бука осыпалась, и множество мелких голых веточек образуют на фоне неба нежную филигрань.

Торстена занимает новая забава. Он находит в ветвях бука портреты, виды, карикатуры, цифры. Достаточно самого ничтожного намека, остальное дополняет фантазия... Вот мостик, по которому переправляется старомодная карета... Крестьянский дом, какие встречаются в Нижней Саксонии, а над ним круглый диск луны... Стремительные пылкие всадники на вздыбленных конях; они даже движутся, когда по ветвям пробегает ветер...

Торстен отыскивает цифры и, если находит тройку, задумывается. Сколько еще? Три месяца? Три года? Он ясно видит в ветвях девятку. Девять месяцев или девять лет? Девять месяцев — значит, в июле будущего года. В июле...

В промежутках между игрой и мечтаниями он встряхивается, занимается гимнастикой, выполняет свой ежедневный урок: двадцать пять приседаний, двенадцать отжимов, двенадцать вращений корпусом. Потом, чувствуя приятную усталость от гимнастики, он снова опускается на свою табуретку, снова мечтательно смотрит в небо и вглядывается в узоры буковых ветвей.

...Анна, — где она, что делает?.. Как перебивается?..

...Тецлин... Он не должен был так резко отвечать ему тогда... Но ведь он сам был почти на краю могилы... Тецлину нужно было выдержать до конца... Ведь это не предательство, — его вынудили пыткой...

...Хемниц. Да, в Хемнице, конечно, работают. Он уверен. Там крепкий народ. По-прежнему ли выпускает газету здоровяк Оссиг с металлургического завода?.. Великолепный парень! Ловкий, умный, надежный... А старый Визе, деревообделочник с искалеченной рукой... Все ли он парторгом?.. А тощий Братче, которому в двадцать третьем году солдаты Носке выбили глаз и который шесть лет руководит ответственным участком работы?

...А Элли, это смелое и решительное создание... Как она руководила молодежью! Партия располагает превосходным человеческим материалом... Нет, всех им не уничтожить, не лишить мужества...

...Этот Кауфман, должно быть, отъявленная сволочь! Позволяет истязать в своем присутствии! И как истязать! Бюрократически подготовленные зверства... Воловий кнут в кожаном футляре...

...А фельдшер Бретшнейдер... Поди разберись в нем. Чего он хочет? Перестраховаться на всякий случай? Одно ясно, он не во все безоговорочно верит, что ему преподносят. Нужно поговорить с ним откровенно... В следующий раз...

Предстоит ли провести весь этот год в лагере, или его переведут в предварительную?.. Там можно писать, курить, читать. Там не бьют и ежедневно выпускают на двадцатиминутную прогулку... Да, это была бы чудесная штука!

Торстен сидит на табуретке, глядя по привычке в окно. Его знобит. Он смотрит в гущу буковых ветвей. Снова отчетливо видит тройку. Три года еще... Три года!

Молодого Крейбеля они доконают. Его силы и так уже были на исходе. Неужели он все еще сидит в погребе?.. Перестукивание все-таки замечательная вещь! Неужели его соседи не понимают стука? Не попробовать ли еще раз? Он ведь тоже не сразу понял...

Торстен хочет возобновить попытки. Но вот слышны шаги, и дверь отворяется.

В камеру входят комендант лагеря, какой-то мужчина в сером костюме и штурмфюрер. Дежурный остается за дверью.

Комендант медленно направляется к Торстену и останавливается на середине камеры. Его глаза пытливо уставились на вытянувшегося перед ним заключенного. Несколько секунд они стоят безмолвно друг против друга. Лицо коменданта стало еще толще. Глаза совсем заплыли. Подбородок, благодаря мясистым щекам, потерял все признаки энергии, мужественности. Комендант поджимает выпяченные губы и чуть-чуть улыбается.

— Как вы себя чувствуете?

— Хорошо.

— Вы ни на что не жалуетесь?

— Нет.

— Вы больны?

— Нет.

Мужчина в штатском выходит вперед. Он маленького роста, сухощав, с измятым, измученным лицом. Торстен думает: «Сыщик из уголовного розыска». Но его можно принять и за торговца жирами. Усталым голосом он говорит Торстену:

— Это мы с вами так обращаемся. Что сделали бы вы с нами?

Торстен молчит.

— Что это за банка?

Торстен объясняет, что у него нет кружки для питья и он пользуется вместо нее этой стеклянной банкой из-под варенья.

— Ну, ну, мы уж не так бедны. Кружек еще хватит.

Маленький худенький человек обращается к штурмфюреру:

— Принести сюда кружку!

— Слушаю, господин президент!

Торстен вздрагивает. Президент? Этот невзрачный человечек — высший чиновник прокуратуры? Он смотрит в скучающее пергаментное лицо, в ничего не выражающие, мертвые глаза. Это президент? Тогда нельзя медлить.

— Господин президент, разрешите вопрос?

— В чем дело?

Комендант и штурмфюрер сердито смотрят на Торстена. Тот твердым голосом спрашивает:

— Избиения в лагере происходят с вашего ведома?

В камере ледяное молчание. Президент долго смотрит в глаза сумасбродного арестанта. И не спешит с ответом. У коменданта отвисли губы, он злобно ухмыляется. Дуженшен щурит глаза и слегка кивает головой, что могло бы означать: «Ну, молодчик, придется тебе еще повидать виды!»

— Об избиениях ничего не знаю.

Президент поворачивается и первым выходит из камеры. Комендант бросает на Торстена быстрый, многозначительный взгляд и тоже выходит. Дуженшен, торопясь за ним, не может, однако, сдержать своего: «Ну, погоди же!»

Все трое входят к Крейбелю. Тот лежит на койке в сильном жару.

— Вы простудились?

— Да.

Президент выходит немного вперед и спрашивает:

— Вам оказывают врачебную помощь?

— Так обращаемся мы с вами. А что сделали бы вы с нами?

Президент отворачивается от больного и, желая выйти из камеры, встречается глазами с Дузеншеном. Тот расплывается в подобострастной улыбке. Они выходят.

Президент убедился уже в образцовом порядке лагеря, но еще выражает желание посетить одну из общих камер. Идут в отделение «А-1».

— Смирно! — кричит староста и рапортует: — «А-один», камера два, тридцать семь человек, три койки свободны. Семь человек больны гриппом.

— Вы врач? — спрашивает старосту комендант.

— Нет, господин комендант.

— Так откуда вы знаете, что эти семь больны гриппом?

— Это установлено фельдшером.

— И он вам сообщил об этом?

— Да.

— Вы на что-нибудь жалуетесь?

— Нет, — отвечают несколько человек за всех.

Президент сразу задает свой второй вопрос:

— Хорош ли уход за больными?

— Да.

Президент поднимает указательный палец и говорит усталым, плаксивым голосом:

— Так обращаемся мы с вами. А что бы вы сделали с нами? — и в сопровождении коменданта и штурмфюрера выходит из камеры.

В коридоре президент выражает коменданту свою признательность за достигнутые им поразительные результаты. Они трясут друг другу руки, кланяются. Даже Дузеншен удостоился рукопожатия.

— В самом деле прекрасно. Я не понимаю, чего они хотят? Э-э... даже до нас доходят слухи... и так... Просто не верится! Нет, действительно, честное слово... Э-э...

Комендант и штурмфюрер провожают президента до машины.

— ...В самом деле образцово. Не нахожу слов, чтобы благодарить вас,

господин комендант! Я поражен. Невероятно корректно! Нет, в самом деле все отлично!..

Ни комендант, ни Дузеншен не произносят в ответ ни слова.

Когда автомобиль президента отъезжает, они смотрят друг на друга, ухмыляясь. А когда тяжелые ворота тюрьмы снова запираются, раздражаются громким хохотом:

— Жалкая фитюлька!

Коменданту нечего стесняться перед своим подчиненным. А тот дает президенту иную характеристику: он называет его настоящим реакционером прадедовских времен.

— Но, — самоуверенно добавляет он, — с этой косной кликой мы еще разделаемся!

Эллерхузен бросает на него быстрый взгляд. В его глазах мелькает выражение превосходства и иронии.

В этот вечер не один десяток заключенных призадумался над тем, что они сделают с фашистами, когда рабочий класс завоюет власть.

«...Эти ужасы неизбежны, — думает Торстен, — германские рабочие недостаточно прониклись ненавистью к своему классовому врагу. Без этой кровавой школы в пролетариате не скоро бы родилась та злость, которая — по выражению Ленина — необходима, чтобы побудить пролетариат взяться за оружие.

«А что бы сделали вы с нами?» — мысленно передразнил он. — Трудно сказать. Но над тем, как с вами поступать теперь, после этих испытаний, не будет задумываться ни один рабочий».

В камере № 2 этот вопрос досконально обсуждался. Есть еще много таких, которые признают личную месть, считают, что надо платить злом за зло.

Целыми часами ведутся дебаты: будем ли мы подвергать избиению наших мучителей? Одни громко и страстно заявляют, что и порку, и темные карцеры, и издевательства — все это фашисты должны испытать на себе. Август Мельнер, беспартийный рабочий, предлагает в будущем ввести гуманные меры наказания, — как в Советском Союзе, — но в отношении членов национал-социалистской партии, штурмовиков и эсэсовцев применять те же наказания, каким они сами подвергали рабочих. Другие резко осуждают порку и говорят, что предстоят дела поважнее, чем избиение противника; и что вообще мучить людей не достойно

коммунистов; кроме того, необходимо еще склонить на свою сторону рядовых штурмовиков; и потом — классового противника надо уничтожать, но не мучить.

Кто-то вносит предложение поставить этот вопрос на голосование. Каждый получит клочок бумаги, где должен будет написать свое мнение. Записки раздает Али. Разговоры по этому вопросу прекращаются. Многие долго думают, прежде чем отдать записку.

За ужином Вельзен поднимается со своего места.

— Товарищи, я хочу вам сообщить результаты голосования.

Все горят любопытством и впиваются в Вельзена глазами.

— Из тридцати семи товарищей голосовало тридцать пять, из них тридцать три высказались за расстрел, один — за повешение, один — за избиение до смерти.

Некоторое время все молчат. Потом сыплются остроты. Каждый старается под шуткой, под небрежным замечанием скрыть свое удивление по поводу таких результатов.

Вельзен не может уснуть. Часы на тюремной башне бьют десять. Три часа уже ворочается он на своем соломенном тюфяке. Рядом слышны дыхание и храп товарищей. Он вглядывается в слабый свет дежурной лампы, висящей над рядами нар. В каждой по товарищу. Почти все они подвергались жестоким истязаниям. Некоторые переведены сюда из темных карцеров и одиночек. Молодому Вальтеру Кернингу сломали два ребра. У Отто Штаммера еще и теперь — три недели спустя после порки — выделяется с мочой кровь. Генрих Эльгенхаген, чтобы спастись от ночных избиений, хотел покончить самоубийством и с этой целью глотал ржавые гвозди, еще до сих пор страдает тяжелыми желудочными кровотечениями. Старика Дитча они избили и бросили в одиночку... О каждом Вельзен знает что-нибудь ужасное. И лишь один из всех хочет за муки отомстить муками. Лишь один... Тридцать три гнушаются этим. Тридцать три стали здесь суровыми, беспощадными, но не жестокими.

Вельзен никак не может уснуть. «Товарищи! — хочется ему крикнуть. — Товарищи! Я люблю вас, безгранично люблю вас и счастлив быть в ваших рядах. Товарищи! Не стыдитесь. Вы правы: гадов надо убивать, но даже их не надо мучить...»

Обершарфюрер Хармс выходит из караулки и собирается подняться по лестнице, ведущей в тюремный двор, как вдруг слышит из другого конца коридора тихое: «Пст... пст...» Он поворачивается и видит, что какой-то

заклученный машет ему рукой. Что это он, с ума сошел? Он идет прямо к нему, чтобы посмотреть, кто это осмелился звать его таким образом. Теперь он узнает его: это его кальфактор Кальман. Но тот вдруг поворачивается и бежит стремглав по небольшой винтовой лестнице в верхнее отделение.

Тут уж Хармс совсем сбит с толку. Что это значит? Его приняли за кого-то другого, это совершенно ясно. Но кто это с заключенными в таких отношениях? Кто с ними на такой приятельской ноге? Во всяком случае, все поведение заключенного наводит на подобную мысль. Он поднимается по узкой лестничке в «А-2».

В коридоре работают оба его кальфактора. Меллер метет пол; Кальман чистит дверные замки. Хармс подходит к Кальману. Он ясно видит, что тот, усиленно орудуя тряпкой и громко стуча засовами, хочет скрыть свое волнение.

— Что это значит? Зачем ты ходил в отделение «А-1»?

Заклученный растерянно смотрит на надзирателя и молчит.

— Я советую тебе отвечать и говорить правду. Не то высеку и посажу в темную. Ну, говори, кого ты там искал, внизу?

— Дежурного Ленцера.

— Ленцера? Зачем он тебе понадобился?

Меллер бросает товарищу предостерегающий взгляд. Тот медлит, дрожа от страха и волнения.

— Ну, ну, отвечай, брат! Что тебе надо было от Ленцера?

— Он... он... принимает наши заказы на табак.

— Какие такие заказы на табак? И сейчас еще не время заказов. И их принимает Реймерс. Ты врешь, собака!

Хармс соображает. Тут что-то неладно. Он должен докопаться до истины.

Он зовет Кенига из отделения «А-3», коротко сообщает, что произошло, и идет с ним и Кальманом в конец коридора в камеру для порки.

Плети лежат в караульной или в школе, в отделении «А-1». Хармс не хочет идти туда, боясь натолкнуться на Ленцера, и берет ножку от стола, толщиной в руку. Кениг находит кусок корабельного каната, который заключенные перерабатывают в пеньку. Когда они, вооруженные таким образом, идут по коридору, Кальман начинает плакать и просить:

— Не бейте, господин дежурный! Пожалуйста, не бейте! Я не вру. Я хотел передать караульному Ленцеру заказ камеры. Честное слово,

господин дежурный! Не бейте, пожалуйста, не бейте!

— Молчать, болван!

— Зачем вы хотите бить меня, господин дежурный? Я не сделал ничего плохого.

Они останавливаются у камеры. Хармс отворяет дверь и вталкивает туда кальфактора.

— Ну, мерзавец, поначалу всыпем тебе, чтобы ты сразу разохотился и почувствовал желание сказать нам правду. Нагнись!

— Господин дежурный, я...

— Нагнись, говорят! Черт тебя подери!

Кальфактор дрожит и весь трепещет. Неестественно расширенными глазами он в ужасе уставился на толстую ножку от стола.

Хармс, прищуриив глаза, надвигается на заключенного, отстегивает кобуру и вынимает маузер.

— Ты еще будешь сопротивляться?! Сопротивляться?! Нагнешься или нет?

Кенигу становится жутко. Это уж слишком. Стоит заключенному сделать какое-нибудь неосторожное движение — Хармс выстрелит. И окажешься свидетелем неприятной истории. Он хочет дернуть Хармса за полу, удержать от необдуманного шага.

Но заключенный нагибается, и Хармс прячет маузер. Размахнувшись палкой, он тяжело бьет кальфактора по заду. Тот отчаянно вскрикивает, выпрямляется и стоит, шатаясь, с открытым ртом.

— Нагнись! Скотина!

Тот снова машинально нагибается.

Хармс хочет еще раз ударить палкой, но Кениг выхватывает ее и дает ему свой канат.

Хармс как одержимый бьет три... четыре... шесть раз.

— Так! А теперь я хочу знать правду. Настоящую правду. Иначе — боже тебя упаси! Чего тебе надо было от Ленцера?

Заклученный долго не может произнести ни слова, но постепенно он приходит в себя и говорит, заикаясь:

— Дежурный Ленцер... закупает для нас... табак... Я... хотел передать ему... список заказов.

Хармс и Кениг переглядываются. Хармс сияет. Ладно! Все дело: Ленцер

заодно с заключенными... Здесь обделываются темные делишки.

— Когда Ленцер закупает для вас табак?

— Ежедневно.

— Только табачные изделия или еще что-нибудь?

— Обычно только табак.

— Обычно? Значит, и другое?

— Да.

Хармс торжествующе смотрит на Кенига. Тот сбит с толку и вовсе не радуется, слыша эти разоблачения. Ленцер — хороший товарищ; правда, ужасный горлопан, но, по существу, порядочнее многих. Кениг спрашивает:

— Что это вообще за история?

— Как ты не понимаешь? Все совершенно ясно. Роберт Ленцер стакнулся с коммунистами. Делает для них покупки. Принимает от них заказы... Я об этом давно догадывался. Я никогда не доверял этому негодю. Вот комендант удивится!

— Но ведь из показаний кальфактора нельзя сделать такого вывода. Может быть, он достал для заключенных только немного папирос.

— Это тебе так кажется. Эти дела так спроста не делаются. Видишь, как далеко зашло, — ему уже свистят... Между прочим, где у тебя список заказов? — обращается он к заключенному.

Кальман вытаскивает из внутреннего кармана арестантской куртки маленькую скомканную записочку и подает ее Хармсу.

Тот читает:

— «Шесть пакетов «Бринкман-Штольц», один пакет «Полевого цветка», десять пачек папиросной бумаги, восемь коробок сигарет «Ллойд» и одну зубную щетку».

Хармс, ухмыляясь, складывает записку и прячет ее за обшлаг.

— Ну, марш отсюда! И если хоть словом проговоришься, еще раз выдеру. И уже тогда поосновательнее.

Заключенный убегает.

— Откровенно говоря, мне жаль Ленцера. Он меньше всего заслужил это.

— Что это ты говоришь?!

Хармс удивлен и испытующе смотрит на Кенига.

— Он этого не заслужил! Чего не заслужил? Он пускается с заключенными в сделки! Ты разве этого все еще не понимаешь?

— Ну да, это, конечно, но... Что ты собираешься делать?

— Ты, право, какой-то странный! Что я еще должен делать? Доложу. Его песенка спета! Ему у нас уже нечего делать... Или ты другого мнения?

— Н-нет... Надо, конечно, об этом доложить.

По дороге в комендатуру Хармс начинает раздумывать: «Лучше всего, если я сейчас же доложу коменданту. А то Дузеншен в конце концов повернет эту историю в свою пользу... Но если я обойду его, он будет злиться на меня. А что я за это получу? Надо думать, что-нибудь побольше простой благодарности, — по крайней мере, хотя бы звездочку...»

Ни коменданта, ни штурмфюрера на месте нет. Хармс колеблется. Сообщить о своем открытии Хардену и Риделю? Это было бы неумно, но ему очень хочется поделиться с кем-нибудь. Однако благоразумие берет верх, и он выходит из комендатуры, не открыв своей тайны.

Караульный Мейзель отворяет камеру № 1. Староста рапортует, заключенные поднимаются, и Мейзель, стоя у двери, объявляет:

— Через несколько минут я дам сигнальный свисток, тогда вы построитесь и будете так стоять по стойке «смирно» до второго сигнала. Сегодня, девятого ноября, в день преступного революционного выступления марксистов, вся Германия демонстрирует свою волю к народному единству.

Затем он запирает двери и идет в следующую камеру, № 2. Усталый, не в духе, какой-то особенно надменный, скрестив руки и нахмутив лоб, он снова повторяет то же самое.

Входить в каждую одиночку и повторять одно и то же ему лень; он останавливается в коридоре и, сделав руками рупор, кричит:

— Слушайте, одиночники! Когда раздастся свисток, вы должны встать у окон по стойке «смирно»!

Потом спускается в подвал, к сидящим в карцерах. Матовая лампочка освещает каменные стены и толстые железные двери, за которыми сидят узники во тьме, в одиночестве. Мейзель останавливается у лестницы и кричит:

— Слушайте, вы, в карцерах! Когда раздастся сигнальный свисток, все должны стать в том месте, где окно, навтыяжку!

Когда Мейзель подымается по лестнице, он слышит, как дежурные

других отделений оповещают о том же своих заключенных. Он смотрит на часы. Еще шесть минут. Гениальная идея, думает он, принудить каждого в отдельности поразмыслить над стремлением народа к единству. Геббельс все-таки башковит. Хорошие мысли приходят ему иногда в голову. Принудить врагов Третьей империи признать единство народа...

— Внимание! — кричит Мейзель.

Караульные каждого отделения выстраиваются перед камерами.

Мейзель не отрываясь смотрит на свои часы, выверенные по башенным часам биржи с точностью до одной секунды.

Наконец дает длинный, пронзительный свисток.

Надзиратели вытягиваются, руки по швам, глядя в одну точку.

Вскакивают и замирают на месте заключенные общих камер.

Одиночники выстраиваются по стойке «смирно» под окнами своих камер, так как боятся, что за ними подсматривают.

Спустя несколько секунд после свистка заключенные слышат доносящиеся из города гудки пароходов, завывание сирен, перезвон колоколов. Шум и вой наполняют воздух.

Неподвижно стоят заключенные общих камер, каждый на своем месте. Сидящие в одиночках и карцерах гадают, что бы это могло значить.

Мейзель, не отрываясь, смотрит на часы и дает второй сигнал.

Скованные мышцы надзирателей расправляются.

Заключенные в общих камерах возвращаются на свои места. Одиночники начинают ходить взад и вперед по камере. Узники карцеров садятся, скорчившись, где-нибудь в углу, и снова впадают в полудремотное состояние.

После второго свистка Хармс быстро заглядывает через «глазок» в одиночки, чтоб посмотреть, как ведут себя заключенные после сигнала. Он видит, что Крейбель продолжает лежать на койке, и бежит вниз за длинной плетью из гиппопотамовой жилы.

Спрятав плеть за спину, он входит в камеру.

— Ты стоял сейчас у окна, как было приказано?

— Нет, господин дежурный.

— Почему нет?

— Я болен, господин дежурный.

— А за нуждой ты слезаешь или нет?

Крейбель молчит.

— Ты встаешь за нуждой или нет? Отвечай!

— Так точно, господин дежурный!

— Значит, тогда ты можешь встать! Вылезай из постели! Живо! Живо!

Крейбель слезает с нар.

— Вон! В коридор, марш, марш!

Не успел еще Крейбель выйти в коридор, как Хармс хлещет его плеткой по спине и кричит:

— До лестницы марш, марш!.. Назад!.. До лестницы!.. Назад — марш, марш!

И каждый раз, когда Крейбель пробегает мимо Хармса, раздается свист плети.

— Ложись! Вставай! Марш!.. Ложись! Вставай! Марш!.. Ложись! Вставай! Марш, марш!..

Как полоумный носится Крейбель по холодному каменному коридору, в одной рубашке, босиком. Стиснув зубы, сжав кулаки так, что ногти впиваются в тело, он падает, поднимается, бежит... снова, снова и снова...

Наконец Хармс кричит:

— Назад в камеру, марш!

Когда Крейбель пробегает мимо него, Хармс еще раз изо всех сил бьет его по спине узловатым концом плетки.

— Погоди, ты у нас тоже узнаешь, что такое дисциплина и единство народа!

Хармс запирает дверь и отходит, а затем на цыпочках подкрадывается к ней, тихонько отодвигает заслонку глазка и заглядывает в камеру.

Он видит, как Крейбель ощупывает спину и ноги, видит темные пятна и кровоподтеки на его теле. И снова тихо, на цыпочках удаляется.

— Господин комендант! Что мы будем делать с Торстеном?

Комендант лагеря Эллорхузен улыбается и как будто соображает. Дузеншен с нетерпением смотрит на него в ожидании ответа.

— Можно было бы опять бросить его в темную, — предлагает он.

Комендант все еще не отвечает. Большой и грузный, он развалился в кресле за своим письменным столом и думает.

— Зачем мы вообще так долго возимся с такими людьми?

Комендант поднимает глаза и смотрит в лицо Дузеншену:

— Все это не так просто.

— Я — за упрощенные способы.

— Штурмфюрер, не всегда можно делать то, что хочется!

Эллерхузен встает. Он почти на целую голову выше Дузеншена.

— Вот, например, мне совсем не нравится история с Кольтвицем... Конечно, дело не в самом еврее, — евреев, по-моему, вообще нужно было бы уничтожить, как вредных насекомых, — дело в другом... Этот Кольтвиц предлагал за свое освобождение сто тысяч марок залога. Уже шли переговоры между гестапо и его адвокатом, и вдруг в такой момент эта свинья вешается. Нужно было помешать этому, штурмфюрер. Сто тысяч марок — это большие деньги, и их надо было с него содрать. Если бы с ним потом на воле что-нибудь этакое случилось, — ну, тут уж было бы совсем другое дело... Иногда и поспешность оказывается вредной.

— Ну, мы едва ли можем помешать кому-либо повеситься.

Комендант, который во время разговора медленно подошел к окну, оборачивается к Дузеншену и, улыбаясь с видом превосходства, говорит:

— Я ведь распорядился доложить мне, как обстояло дело с евреем и какой вид был у него, когда его привезли в крематорий... Конечно, дело прошлое, назад не вернешь!

Дузеншен с трудом сдерживает себя. Его так и подмывает напомнить коменданту, что всего несколько недель тому назад он находил обращение с заключенными слишком гуманным. Ему очень хочется сказать, что обязанности помощника коменданта, служащего, чиновника ему начинают надоедать, но он вспоминает о трехстах марках жалованья, берет себя в руки и молчит.

Эллерхузен уже далеко не так нравится ему, как прежде, когда тот во главе морских штурмовых отрядов проходил через кварталы, заселенные красными. Тогда он был мужчиной, солдатом, наделенным чувством товарищества, презирающим смерть. Штурмфюрера, штандартенфюрера Эллерхузена он уважал, за него пошел бы в огонь и воду. Государственный же советник Эллерхузен разжирел и обленился. Он потерял черты солдата и стал ему удивительно чужд.

С грустью смотрит Дузеншен на коменданта, который повернулся к нему спиной и глядит в окно на тюремный двор. Так грустят об угасшей любви, о потерянной дружбе. В этот миг в душе Дузеншена пробуждаются чувства,

которые давно зрели в нем и которых он до сих пор не признавал: комендант и он не составляют больше единого целого. Солдатская дружба уступила место чиновничьей деловитости. Молчание затягивается, и Дузеншену становится не по себе. Он уже начинает подумывать, как бы уйти, не обижая коменданта, как вдруг раздается стук в дверь.

Комендант оборачивается и кричит:

— Войдите!

В комнату входит Хармс.

— Господин комендант, у меня для вас важное сообщение.

— Да? В чем дело?

Хармс долго разнюхивал, пока не проведал, когда Дузеншен будет у коменданта. Сообщить одновременно тому и другому казалось ему самым лучшим разрешением вопроса.

— Господин комендант! Мне удалось узнать, что дежурный, Роберт Ленцер, ээсовец, заодно с коммунистами!

Хармс делает паузу и смотрит, какой эффект произвело его сообщение. Комендант переводит глаза на Дузеншена, потом опять на Хармса. Он совсем не так уж удивлен, он думает: «Этот офицер мне нравится. Симпатичное лицо. По-видимому, не без образования. Должно быть, из хорошей семьи».

— Что-о?! — вырывается у Дузеншена, который не верит своим ушам. — Ленцер? Роберт Ленцер? Вы в этом уверены?

«...Если приглядеться повнимательнее, так Дузеншен просто солдафон, — продолжает размышлять комендант, снова посмотрев на него. — Неуклюж, ненаходчив. Теперь бы ему не стать штурмфюрером. Прошли те времена, когда подобные типы делали карьеру! На что он, в самом деле, годен? Никакого понятия о том, что требуется в настоящий момент, никакой гибкости! Так и остался тупым рядовым штурмовиком, который не может разобраться в быстрой смене политических ситуаций».

Дузеншен удивлен, что история с Ленцером, по-видимому, совсем не трогает коменданта, и, сделав несколько шагов вперед, спрашивает:

— Прикажете, господин комендант, старшему начальнику отделения изложить доказательства?

— Да, конечно. Расскажите, Хармс.

— Я узнал через кальфакторов моего отделения, что дежурный Ленцер ежедневно контрабандой доставляет в лагерь табак и еще кое-какие вещи. Один из кальфакторов отделения «А-один» по ошибке принял меня за

Ленцера и окликнул. У него был этот список заказов, и он хотел передать его Ленцеру.

Хармс передает коменданту небольшую измятую бумажку. Тот пробегает ее глазами, кладет на свой письменный стол и обращается к Хармсу:

— Дальше?

— Я изложил вам обстоятельства дела, господин комендант.

Комендант долго молчит, затем неожиданно вскрикивает:

— Безобразие! Черт знает какое безобразие, — и с упреком смотрит на Дузеншена. — Как это могло случиться? Впрочем, я уже давно ожидал чего-нибудь такого... Обершарфюрер, вы мне представите докладную записку для передачи по инстанции. А пока молчок! Мы накануне избирательной кампании. Я считаю нецелесообразным волновать людей перед выборами... Поняли?

— Так точно, господин комендант!

— Можете идти.

Хармс щелкает каблуками, поворачивается кругом и выходит из комнаты.

— И вы никогда ничего не замечали? — спрашивает комендант Дузеншена.

— Нет, господин комендант.

У Дузеншена сердце вот-вот выскочит. Кровь бросилась в голову. Что это с комендантом? Почему он хочет заставить его отвечать за все? Что значит этот звучащий упреком тон?

— Господин комендант! Такое предательство всегда возможно и раньше встречалось еще чаще, нежели сейчас.

— Вы в своем уме, штурмфюрер? — в бешенстве накидывается на него комендант. — Раньше мы были организацией для защиты партии, а сейчас мы являемся войсками для обороны государства. Сейчас введена строжайшая военная дисциплина и полевые суды для тех, кто нарушает эту дисциплину. Неужели мне нужно растолковывать все это даже вам?

Дузеншен ничего не отвечает. И как пощечина, звучат для него слова коменданта:

— Идите!.. Я хочу остаться один.

Весь день сидит Дузеншен, запершись в своей комнате. Вечером он

совершает обход лагеря. В корпусе «А-1» бывшей каторжной тюрьмы он сталкивается с Мейзелем, Тейчем и Нусбеком, которые с плетями и бычьими жилами «навещают» одиночников. Дүзеншен присоединяется к ним и как безумный избивает заключенных.

Вальтер Крейбель лежит с высокой температурой. Фельдшер разрешил ему лечь так, чтобы он мог смотреть в окно, и он весь день не отрываясь глядит на крохотный клочок неба, виднеющийся между квадратами решетки. Немножко приподнявшись, он может видеть оголенные осенью верхушки деревьев за тюремной стеной. Он часто приподнимается. Его никогда не пугали ни тюрьма, ни каторга. Но что это так тяжело, ему и в голову не приходило... Даже тот, кто провел заключение в общих камерах, но никогда не сидел в карцере или в одиночке, в вынужденной праздности, не может себе представить, какая это пытка... Не знает, что значит быть отданным во власть таким надзирателям, когда ты один, беспомощен... Если избивают кого-нибудь из общей камеры, ему товарищи не могут помочь, но уже одно сознание, что они здесь, что они это видят, что они потом скажут слова сочувствия, — помогает пережить многое. Но когда ты только наедине с собой — это невыносимо тяжело!

Вот подходит зима. Будет холодно в этих каменных стенах. А потом, когда вернется весна, когда снова станет пригревать солнце, когда зазеленеют кусты, деревья...

Бог мой! Почему именно на его долю выпало это испытание? Глуп он был. Ему тоже надо было эмигрировать, как и другим... Они теперь на свободе, может в Копенгагене или в Апенроде, рядом с ними жены... Возможно, в это самое время Эрих Бленкер сидит где-нибудь в кафе или кино... Рядом с Куртом Дикманом наверняка какая-нибудь подружка... Они умнее его... Если он когда-нибудь слова очутится на свободе, то будет благоразумнее. Пусть теперь другие отдуваются... Теперь очередь тех, кто до сих пор увиливал...

...Ильза будет очень довольна, если он начнет больше заботиться о доме и семье. А маленький Фриц... В каких условиях он вообще растет?.. Ни воспитания, ни настоящего ухода — ведь он почти совсем не заботился о ребенке... Теперь это будет по-иному...

...Лежать на диване... Мальчуган будет взбираться на тебя... Слушать радио... читать газету... Ах, такие скромные желания!..

Чьи-то шаги. Кто-то смотрит в глазок. Камера отпирается, входит фельдшер в белом халате.

— Ну, Крейбель, как дела?

— Немножко лучше, господин фельдшер.

— Ну, вот видите! А вы уж собирались приходить в отчаяние.

Он подходит к койке и кладет руку на лоб больного.

— Все еще жар? Будьте осторожны.

Он просит Крейбеля открыть рот и поднимает ему веко.

— Все скоро будет в порядке. Вот вам еще три таблетки на случай, если вы не сможете уснуть, а если что случится, смело поднимайте заслонку и требуйте, чтоб меня позвали.

— Слушаю, господин фельдшер.

— Вас ведь теперь оставляют в покое?

— Да.

— Побольше спите. Вам надо спать как можно больше... Завтра я снова загляну.

Бретшнейдер выходит из камеры и направляется в отделение «А-1».

— Роберт! — кричит он на всю караульную. — Сколько у тебя больных?

— Трое! В седьмой, одиннадцатой и тринадцатой.

— Семь, одиннадцать, тринадцать, — повторяет фельдшер и направляется по коридору в камеры.

Больные лежат на нарах. Первый, Шмидт, жалуется на боль в ушах. Фельдшер раздает пилюли и что-то записывает.

Но прежде чем совсем уйти из отделения, он открывает камеру Торстена.

— Ну, Торстен, вы с вашим медвежьим здоровьем, конечно, ни на что не жалуетесь?

— Так точно, господин фельдшер.

— А ваш желудок также в порядке?

— Ничего, господин фельдшер.

Бретшнейдер бросает взгляд в коридор. Никого не видно. Ленцер сидит в караульной.

— Торстен, у меня к вам один вопрос... Вы, марксисты, считаете, что государство всегда... — ну, как бы это выразиться? Орган господства какого-либо класса? Правильно?

— Марксисты считают, — говорит Торстен, — что государство — орудие господства одного класса для угнетения другого класса.

— Да, правильно, — так было и в книге. Мне случайно попала в руки

книга Ленина о государстве... Но это утверждение ведь очень поверхностно... Разве национал-социалистское государство тоже орудие господства какого-либо класса?

— Ну, конечно.

— Вы подразумеваете класс капиталистов, не правда ли?

— Конечно.

Фельдшер снова подходит к двери и выглядывает в коридор.

— Но это же неверно! Для капиталистов Третья империя — чертовски неудобная вещь. Они должны вместе с рабочими праздновать Первое мая и даже оплачивать этот день. Они не могут снизить заработную плату, как бы страстно того ни желали. Национал-социалистское государство назначило посредников между рабочими и предпринимателями, в функции которых входит следить за заработной платой и защищать справедливые требования рабочих. Рабочий стоит в центре нашей программы восстановления. Еще никогда прежде он не был в таком почете. Еще нигде ему не предоставлялось столько прав, как в Третьей империи. Мне кажется, исходя из марксистской точки зрения, стоило бы назвать государство сегодняшнего дня орудием господства рабочих.

— Господин фельдшер, экономической основой классового господства капитализма является частная собственность. Экономическая же основа классового господства пролетариата — социализм. Если бы Третья империя уничтожила частную собственность на средства производства и ввела бы плановое социалистическое хозяйство, тогда можно было бы говорить о господстве рабочих. Но, конечно, нелепо ждать чего-нибудь подобного. Адольф Гитлер и германская национал-социалистская партия тесно связаны с крупной промышленностью и финансовым капиталом. И само собой разумеется, что при таких условиях имущий класс остается неприкосновенным. А рабочий класс? Гитлер еще лишит его и тех прав, которые он завоевал в восемнадцатом году.

— Ха-ха! Господин агитатор! — смеется фельдшер, — Вы промахнулись. В воскресенье германский народ скажет свое слово относительно того, хочет ли он, чтобы им управлял Адольф Гитлер или кто другой. В воскресенье всенародное голосование. Скажите мне, в какой еще стране есть такое правительство, которое рискнуло бы апеллировать к народу, как правительство Адольфа Гитлера? Уж не в Советском ли Союзе? Или в Австрии? Гитлер может рисковать, ибо знает, что народ в преобладающем большинстве одобряет его политику.

Торстен и впрямь очень удивлен: всенародное голосование в

воскресенье?

— Ведь Гитлер собирался обратиться к народу лишь спустя четыре года?

— Первоначально — да, но теперь он ставит этот вопрос в первый же год.

— Мне это не кажется выражением его силы, а скорее наоборот — симптомом слабости. Несомненно, это — хорошо рассчитанный маневр, чтобы отвлечь внимание масс от тягостных проблем. Конечно, сидя здесь, об этом трудно судить.

— Я так и знал, за каждым мероприятием правительства вам чудится мошенничество. Вот в этом наши точки зрения расходятся. Я безгранично верю в Адольфа Гитлера. Он и впредь будет действовать правильно.

— Господин фельдшер, вы должны...

— Ну ладно, я и так замешкался с вами...

Все последующие дни Торстена волнует лишь один вопрос: «Каким образом мог бы я повлиять на фельдшера? Совершенно ясно, что к Гитлеру его привело чувство и расчет. Но он начинает мыслить политически. Он наталкивается на вопросы, которых не в силах сам разрешить. Тут необходимо помочь».

Торстен ставит вопрос за вопросом и старается найти на них самые точные и понятные ответы. И с нетерпением ожидает следующего прихода фельдшера.

В субботу после полудня дежурный Ленцер бегает от камеры к камере, отпирает двери и кричит:

— Одиночники! Выходи!

Все заключенные почти одновременно выходят из своих камер. Они с изумлением смотрят по сторонам, не понимая, что это означает.

Торстен разглядывает своих соседей. Тот, что слева от него, совсем старый, хилый человек с длинной, давно не бритой щетиной на лице и проплешинами на голове. Сосед справа — высокий парень с узким лицом, в очках. Он стоит, наклонившись вперед, и производит впечатление больного, подавленного человека.

Большинство заключенных давно не брито. Беспомощно стоят они у своих дверей и косятся на соседей. Некоторые смущенно улыбаются. Слишком длинная или слишком короткая черно-коричневая арестантская одежда придает им жалкий вид.

— Внимание!

Ленцер стоит посреди коридора, размахивая большим ключом от камер.

— Завтра всенародное голосование, и правительство решило, что и вы можете голосовать наравне со всеми. В конце концов вы не преступники, а политические противники и еще обладаете почетным правом каждого гражданина. Исключение составляют только те подследственные, которые обвиняются в убийстве. Есть кто-нибудь среди вас, кто здесь сидит за убийство? Иони, как с тобой?

— Убийство? Нет... Мне хотят навязать соучастие в убийстве!

— В таком случае тебе, верно, не придется выбирать. При голосовании следует принять во внимание следующее: Германия вышла из Лиги наций. Лига наций хочет по-прежнему угнетать Германию, но Адольф Гитлер против. Поэтому он и вышел из Лиги наций. Теперь все государства травят Германию и утверждают, будто Адольф Гитлер тиранит немецкий народ. И вот немцы должны завтра решить, согласны ли они с мероприятиями правительства. Одновременно будет избрано новое правительство во главе с Адольфом Гитлером. Значит, каждый должен заполнить два избирательных листа. Скажу вам совершенно откровенно: я лично считаю, что ваше участие в выборах — это чистейший вздор. У вас спросят, согласны ли вы с мероприятиями гитлеровского правительства. Конечно, вы несогласны, потому что здесь с вами совсем уже не так предупредительно обходятся. Но господа там, наверху, так желают, а их желание — закон. Вы меня поняли?

— Поняли! — ворчливо отвечают некоторые.

Во время этой странной речи Торстен еле сдерживает улыбку. Так как никто из заключенных не задает вопросов, то он спрашивает:

— Выборы будут происходить в камерах или в другом помещении?

— Как будут происходить выборы, я и сам не знаю... Но тайна голосования будет, естественно, соблюдена. Каждый голосует за того, кого находит достойным. Ну, а теперь ступайте по камерам, гады! Марш, живо!

В мгновение ока заключенные очутились в своих камерах. Ленцер носится от камеры к камере и запирает двери.

Вечером заключенных из «А-1» и «А-2» ведут в школьное помещение. Это большая квадратная комната с поднимающимися кверху рядами скамеек. У каждого ряда — часовой-эсэсовец. Позади скамей — тоже эсэсовцы. Перед скамьями, у грифельной доски, за маленьким столом стоят штурмфюрер Дузеншен, оберtrupпфюрер Мейзель, обершарфюрер Хармс и еще несколько дежурных.

Дузеншен обращается к заключенным:

— Когда раздастся команда: «Внимание!» — все должны встать.

Заключенные из разных камер осторожно переглядываются. Подавать знаки друг другу нельзя: за ними зорко следят надзиратели. Но никто не может помешать им обмениваться многозначительными взглядами.

— Внимание?

Все сразу встают. Надзиратели поднимают правые руки в гитлеровском приветствии. В комнату входят комендант и человек с непомерно большой нижней челюстью. Комендант делает знак. Дуженшен командует:

— Сесть!

Вошедшие занимают места за столом. Дуженшен становится в углу и наблюдает за заключенными.

Комендант кладет свою коричневую фуражку на стол и поднимается.

— Господин сенатор фон Альверден сделает вам небольшой доклад, чтобы вы знали, в чем дело, когда будете завтра голосовать.

Сенатор фон Альверден встает и выходит вперед. Эсэсовцы выбрасывают вверх руки и кричат:

— Хайль Гитлер!

Заклученные продолжают неподвижно и молча сидеть на своих местах.

— Германские соотечественники! Вы удивлены таким обращением к вам, которых новое правительство заключило в тюрьму из соображений безопасности. Я сознательно называю вас германскими соотечественниками, ибо мы, национал-социалисты, знаем, что неимущий сын Германии — ее преданнейший и вернейший друг, что в германском пролетариате и особенно в среде пролетариев, подстрекаемых двуличными марксистами, заключены ценнейшие богатства германской нации. Правда, пока они еще находятся под спудом; однако мы уверены: не за горами то время, когда и вы поймете, что национал-социалист — друг рабочих, их надежный авангард; что национал-социалистское государство не является государством с безграничной эксплуатацией трудящихся масс, а государством со здоровым равенством всех трудящихся слоев общества. В силу сказанного, вы, нынешние заключенные, являетесь национальными социалистами будущего, потому я и называю вас соотечественниками.

Эсэсовцы зорко наблюдают за заключенными, которые неподвижно сидят на своих местах. Их лица будто окаменели, ни один мускул не дрогнет.

Комендант тоже оглядывает одно лицо за другим. Некоторых он помнит по допросам. «Закоренелые, неисправимые противники», — думает он.

— ...а Лига наций — это не что иное, как группа государств, вышедших победителями из последней неравной войны, которым хотелось бы до бесконечности грабить Германию, не давая ей окрепнуть...

...Национал-социалистская Германия не хочет войны. Во главе нынешнего правительства стоят люди, познавшие весь ужас войны; поэтому они не подвергнут еще раз немецкий народ таким страданиям. Мы стоим за мир и за разоружение. Лига наций на заседании в Женеве отклонила требования Германии. Отклонила наши требования об увеличении вооруженных сил до уровня соседей. Наша немецкая честь обязывала нас дать соответствующий ответ. И мы его дали. Германия вышла из Лиги наций. Теперь Адольф Гитлер спрашивает свой народ: одобряет ли он этот шаг? И вы тоже должны высказать свое суждение...

Сенатор делает шаг по направлению к безмолвно и безучастно сидящим заключенным, торжественно поднимает руку и взывает к ним:

— Забудьте обиды, которые вам здесь, быть может, причинили! Помните только о том, что этими людьми в мундирах владеет одна большая любовь, которая затмевает все остальное, — любовь к Германии, к нашему отечеству. У немецкого народа в действительности не было родины. Мы хотим ее создать для него. Помогите нам. Чем больше подстрекательств против империи Адольфа Гитлера, тем труднее предоставить рабочему то, что ему положено, тем легче закоренелым реакционерам, для которых барыш дороже родины, побороть Адольфа Гитлера. Поэтому я заканчиваю свою короткую речь призывом к вам: голосуйте завтра за нас. Хайль Гитлер!

Нацисты вытягиваются в струнку и поднимают руку.

— Хайль Гитлер!

Комендант тоже встает.

Дузеншен командует:

— Встать!

Все поднимаются. Эсэсовцы поют:

Знамена вверх, ряды тесней сомкнули...

Вельзен осторожно озирается. Никто из заключенных не поет. Ни один не поднял руки.

Шагай, штурмовики, уверенны, тверды...

Даже оба сутенера и карманный вор из камеры № 1 не поют, хотя последний выдает себя за национал-социалиста.

Борцы, погибшие от красной пули...

Нусбек, стоящий позади заключенных, шипит:

— Петь со всеми! Петь вместе!.

Запугать никого не удастся.

Незримые теперь встают в ряды.

Сенатор и комендант уходят. Дuzеншен командует:

— Камера один, — выходи в коридор!

Половина заключенных теснится у двери. Ни слова об их поведении. Только команды штурмфюрера нарушают тишину. После первой и второй камер наступает очередь третьей и четвертой отделения «А-2».

Собрания повторяются еще несколько раз вплоть до позднего вечера.

Рядовой Фриц Геллерт, несущий в концентрационном лагере службу охраны, беспокожно ворочается на своей походной койке в лагерной башне. Ему не спится. Завтра у него свободный день, и он мечтает о Хильдегарде, стройной белокурой подружке, с которой он познакомился в прошлое воскресенье в Альстердорфе во время «германского праздника». Придет ли она?.. Серьезно ли она дала обещание, или это была только шутка?.. Как ему держаться, с нею?.. Сразу обнять и зацеловать? Многим так больше нравится... Но эта не из таких...

Кровать Фрица Геллерта стоит у овального башенного окошка, ему видны инспекторские дома и часть, наружной, стороны тюремной, стены.

Вдоль стены усталыми, медленными шагами ходит часовой. На несколько секунд он исчезает из поля зрения Геллерта.

...Умная девушка. Даже странно, что она завела с ним знакомство... Когда она рассказывает, он самозабвенно слушает. Чего только она не знает!.. А рот... У нее чудесный рот, — маленький, прекрасно

очерченный... Нет, он ее сразу обнимет...

Вдруг Геллерт вздрагивает и садится на кровати. В саду между деревьями мелькают какие-то люди, возятся у стены. Где часовой?..

Геллерт еще раз внимательно вглядывается... он не ошибся: вдоль стены крадутся люди. Он вскакивает с постели. Как быть? Разбудить товарищей? Дать знать часовым? Пожалуй, еще вспугнешь молодчиков у стены.

Геллерт быстро натягивает брюки и спешит в переднюю. Отсюда он телефонирует в две другие караульные башни и полицейскому посту на Фульсбюттельском шоссе. Сообщает о происходящем и дает указания, как окружить преступников. Затем возвращается в спальню и будит трех своих товарищей. Остальные продолжают спать. Разбуженные торопливо одеваются, пристегивают револьверы, берут винтовки.

Они сообщают о своем открытии внутренней страже у ворот и, когда часовой снова на несколько секунд исчезает за воротами, быстро бегут к первому инспекторскому дому и прячутся в тени высоких кустов у забора.

Вскоре подкатил полицейский автомобиль. Вспыхнул прожектор, осветив сад и стену. Ясно видно, как несколько человек, согнувшись, бегут между деревьями. С противоположной стороны подоспели полицейские и эсэсовцы — ружья наизготовку. Вспугнутые люди бросаются через сад к воротам. Но здесь уже стоит встревоженный прожектором часовой. Из сада выбегают шесть человек и — прямо на часового.

— Стой или стреляю!

Они не больше как в двадцати шагах от часового. Минутное замешательство — и бегут дальше. Они хотят удрать от часового и направляются к дому инспектора, где залег Геллерт со своими товарищами.

До дома осталось десять шагов, раздается выстрел. Это часовой у башни. Один из бегущих падает. В тот же миг четыре эсэсовца с ружьями преграждают беглецам дорогу.

Пятеро сдаются...

Всего арестовано семнадцать человек: шестнадцать мужчин и одна женщина. Полицейский автомобиль освещает стену прожектором. Ах, так вот что эти люди делали у стены! Они наклеивали плакаты. Коммунистические плакаты: «Помните об убитых и замученных в концентрационных лагерях товарищах! Голосуйте против гитлеровского правительства убийц! Голосуйте против!» — большими красными буквами на белом фоне.

Тут же составляют команду для очистки стены. При свете прожекторов полицейского автомобиля солдаты-эсэсовцы и полицейские сдирают,

соскребывают плакаты.

Арестованных ведут в корпус «А» и вталкивают в классную комнату. Раненого кладут в пустую камеру. Дузеншен, взбешенный тем, что явился уже после ареста, как безумный носится по коридору.

— Мы им такую записочку напишем, что они всю жизнь не забудут!.. Вот подлецы! Вот каналы! Этих собак надо было расстрелять! Тут же, на месте расстрелять!..

Дежурные эсэсовцы и несколько часовых, которые пришли вместе с ними, бестолково суетятся. Каждый ищет подходящего орудия для избиения. У Дузеншена плеть, у Мейзеля — бычья жила, у других — ножки от стола, палки от метел, деревянные рейки.

Из отделения «А» в отделение «Б» ведет широкая лестница. К этой лестнице подводят арестованных: шестнадцать мужчин и одну женщину. Руки они должны скрестить на затылке. По обеим сторонам лестницы разместились эсэсовцы со своими орудиями для избиения. Наверху Мейзель с бычьей жилой, внизу Дузеншен с плетью. В нескольких метрах от лестницы стоят четыре часовых в стальных шлемах с ружьями на прицел.

— Женщина, выходи!

Женщина, небольшого роста, лет тридцати, выходит вперед.

— Стать у стены! — приказывает Дузеншен; потом кричит стоящим в два ряда заключенным. — Присесть!.. Ну, присесть!

Шестнадцать человек, держа руки на затылке, садятся на корточки.

— Прыгать вверх по лестнице, не спеша, один за другим! Марш!

Передние приближаются к лестнице, и как только вспрыгивают на первую ступеньку, на них обрушиваются удары ножек от стола, палок, хлыстов, деревянных реек. Избиваемые шатаются, многие падают, но должны прыгать дальше, задние напирают на них...

Внизу стоит Дузеншен и подгоняет ударами плети то одного, то другого.

Передние уже достигли верхней ступени лестницы, но Мейзель ударами бычьей жилы заставляет их спускаться вниз. Они должны снова прыгать со ступеньки на ступеньку. Это еще ужаснее, чем прыгать вверх. Они спускаются, изнемогая под ударами. Один стремглав падает вниз и замирает там с зияющей раной на голове.

Снова и снова прыгают они в эту ночь вверх и вниз по лестнице. Их крики и стенания оглашают все тюремное здание. Израненных, истекающих кровью оттаскивают к стене.

Женщина стоит тут же, плотно сжав губы и широко раскрыв глаза. С часу до четырех утра длится по приказу Дузеншена избивание арестованных. Эсэсовцы сменяют друг друга, изнемогая от усталости. Палки и деревянные рейки ломаются. Под утро избитых загоняют назад в классную комнату. Тех, кто не может идти, хватают за ноги, волокут по коридору и бросают к остальным.

Женщину ведут в караульную.

— Веревку! — приказывает Дузеншен.

Приносят веревку. Дузеншен кидает её Мойзелю и приказывает:

— Завязать этой твари юбку над головой!

Дикий, неистовый крик. Несколько человек набрасываются на женщину, затыкают ей кляпом рот, обматывают голову полотенцем. Мейзель и Тейч поднимают юбку и связывают ее над головой. Дузеншен смахивает лежащую на столе одежду и ремни. Мейзель и Тейч втаскивают женщину на стол. Хармс и Нусбек должны под столом держать ее за ноги, ибо она отчаянно отбивается. Дузеншен хлещет женщину плетью, приговаривая при каждом ударе:

— Ах ты, потаскуха! Стерва! Сволочь коммунистическая!

...Удар за ударом падает на распростертое женское тело.

— Стащить ее со стола!

Хармс и Нусбек стягивают ее за ноги. Мейзель развязывает юбку. Эсэсовцы пугаются дико расширенных, налившихся кровью глаз. Разматывают полотенце, вынимают изо рта кляп. Она не издает ни звука. Губы дрожат. В глазах застыл немой ужас. Женщину запирают в пустом карцере в подвале.

На следующее утро, в воскресенье — день всенародного голосования — Дузеншен в сопровождении Мейзеля ходит из одной камеры в другую и сообщает заключенным, что комендант обещал немедленно после выборов освободить столько человек, сколько будет голосовать «за». Наместник центрального правительства Кауфман, — сообщает он дальше, — объявит широкую амнистию, если результаты сегодняшнего голосования покажут, что и среди обитателей Гамбургского концентрационного лагеря находятся люди, внутренне порвавшие с марксистскими подстрекателями.

После ужасной, бессонной ночи надежда на скорое освобождение снова пробуждает волю к жизни. Заключенные повеселели, заговорили, каждый надеется, что предстоящее массовое освобождение коснется и его и что и

он вместе с другими выйдет на волю.

Коммунистам, сидящим в общих камерах, становится все труднее влиять на других заключенных. За последнее время прибавилось много сомнительных личностей: сутенеров, карманников, гомосексуалистов. Многие из этих уголовников за ничтожные льготы готовы на какое угодно предательство.

Товарищи из камеры № 2 также стали осторожнее после случая с ротмистром-националистом: Вельзен вступает в разговоры только с теми, кого хорошо знает. В камере прибавилось два новичка, которым коммунисты не доверяют. Один из них ювелирный вор, многократно сидевший в тюрьмах; на сей раз он отбыл свой срок наказания, но посажен в концентрационный лагерь как не поддающийся исправлению. Другой — гомосексуалист, который был захвачен в женской одежде.

В это воскресенье дают прекрасный обед: кислую капусту с картофелем, жирный соус и копченую колбасу. Дежурные эсэсовцы любезно разговаривают с заключенными. Дузеншен проходит по камерам, его лицо так и сияет благосклонностью.

После обеда заключенные должны расставить в коридоре отделения «А-1» столы и стулья. Из котельной приносят чисто вымытую жестяную перегородку. За этой перегородкой будет происходить голосование.

На один из столов ставят высокий узкий ящик. Дузеншен и господин из статистического управления занимают место за столом. Мейзель раздает избирательные листки и конверты.

Голосование начинается с камеры № 1. Труппфюрер Тейч вызывает семерых заключенных, в том числе и двух сутенеров. Они выстраиваются в строгом порядке друг за другом перед перегородкой, получают от Мейзеля каждый по два избирательных бюллетеня и конверт и, вычеркнув за перегородкой неудобную им кандидатуру, кладут конверт с избирательными листками на стол. А со стола их уже опускают в ящик.

Из камеры № 2 вызывают девять заключенных, среди них ювелирный вор и гомосексуалист, а также Кессельклейн.

Голосование продолжается до вечера. После общих камер идут одиночки. Из отделения «А-1» к голосованию допускают двух заключенных, из отделения «А-2» — троих. Семьдесят пять процентов заключенных лишены избирательных прав.

После того как все попавшие в список проголосовали, столы и стулья убираются, железная перегородка снова водворяется в котельную, чиновник из статистического управления берет деревянный ящик с

избирательными листками и в сопровождении Дузеншена, Мейзеля и Тейча направляется в комендатуру.

Кессельклеин отводит в сторону не допущенного к голосованию Бельзена.

— Вот какая подлость! Ведь они могут сейчас совершенно точно установить, кто как голосовал. Конверты с избирательными листками прекрасно лежат один на другом, и они могут их открывать в порядке списка.

Вечером в камеру № 2 приходит Дузеншен. Он навеселе и не совсем твердо держится на ногах. Заключенные лежат на нарах.

— При таких условиях было бы, быть может, благоразумнее вообще не голосовать, воздержаться, — полагает Вельзен.

— Пожалуй! — соглашается Кессельклеин.

Некоторые уже успели уснуть. Дузеншен зажигает электричество и лепечет:

— Хочу только вам сообщить... можете... надеяться... Вы хорошо голосовали... черт вас подери!.. Может быть, завтра... вы уже будете... дома.

Он тушит свет и уходит.

Немного погодя приходит Ленцер.

— Ну, вы, сукины дети, хотите знать результаты?

Кое-кто из заключенных приподнимается на нарах.

— Так точно, господин дежурный!

— Ну, так слушайте! Всего голосовало двести семьдесят три человека, из них двести тринадцать — «за», пятьдесят три — «против», семь голосов недействительны... Небось сами удивляетесь?.. А первые подсчеты там, на воле... прямо не верится! Полное торжество! Коммунистам, почитай, голосов не досталось.

До поздней ночи шепотом обсуждают заключенные странные выборы. Дежурные сегодня смотрят на это сквозь пальцы. Они собрались в караульной вокруг радио, слушают результаты голосования и выпивают.

— Вставать! Не валяться в постелях!

Торстен вскакивает с нар, натягивает брюки, оправляет постель и натягивает одеяло, потом делает утреннюю гимнастику и холодное обтирание.

По коридору, громко разговаривая, идут надзиратели. Торстен прислушивается. Они приближаются.

— Открой, — говорит один, — войдем к нему!

В камере вспыхивает свет, и дверь отворяется. Входят Мейзель, Хармс и Ленцер.

— Ну, господин депутат, представитель коммуны, что ты теперь скажешь? Народ голосовал за Гитлера. Сорок против двух.

Хармс с важным видом стоит перед Торстеном.

— Сорок миллионов за Гитлера, и два миллиона с натяжкой — за вас! Ваша песенка спета. Вам больше не на что рассчитывать.

Ленцер совершенно пьян. Он стоит, опершись о косяк двери, и лепечет:

— Но вас... вас... теперь... больше не будут... не будут бить... Не будут больше бить!

— Фульсбюттель называли эсэсовским адом, — говорит Мейзель, он совершенно трезв, — но, что было, это просто детская игра по сравнению с тем, что ждет всякого, кто после этих выборов снова примется за старое!

Торстен молчит и наблюдает за так не похожими друг на друга эсэсовцами. Хармс, несмотря на то что сильно пьян, держится прилично. Видно, что он вообще следит за собой; у него белоснежные зубы и нежный цвет лица. У Мейзеля, самого маленького из них, наиболее расфранченный вид, новая черно-голубая форма, белая рубашка и ярко-красный галстук. Рядом с ним Ленцер выглядит настоящим пролетарием. Форменная одежда местами сильно помята, на воротничке цветной рубашки заметна грязная полоска, лицо грубое, топорное, с нечистой кожей.

— Что... опешил? — снова начинает Ленцер, обращаясь к Торстену, но его выводят.

Торстен слышит, как они входят в одиночку напротив и там сообщают результаты голосования и грозят тем, которые снова попадутся.

Позже Ленцер еще раз входит в одиночку к Торстену, один. Он уже немного протрезвился.

— С вами теперь не будут больше плохо обращаться, Торстен. Все того мнения, что старых заключенных не следует больше истязать. Результаты голосования, и самом деле, превзошли все ожидания.

— Сорок миллионов голосов «за»? — спрашивает Торстен.

— Да, сорок миллионов! — с забавной гордостью заявляет Ленцер. — Притом, вас это должно интересовать, Гамбург чрезвычайно плохо

голосовал. Здесь коммунисты сумели удержать свои голоса... Около ста сорока тысяч голосов «против»... Но вы сами понимаете: портовый город, много всякого сброда, чего уж тут удивляться.

Торстен вглядывается в его простецкое лицо. Эти слова он услышал сегодня в караульной и постарался запомнить. Это не его собственные мысли...

— Если успех действительно так потрясающе велик и марксистов разбили в пух и прах, то нет больше, стало быть, надобности в концлагерях и каторжных тюрьмах.

— Нет, это действительно так. Сорок миллионов против двух, можете в этом не сомневаться, — повторяет Ленцер.

— Я сомневаюсь в другом, — улыбаясь, говорит Торстен.

Ленцер смотрит на него с удивлением и вдруг соображает:

— Вы думаете, с голосованием нечисто?

Торстен пожимает плечами.

— Я, господин дежурный, заключенный, я вообще ничего не думаю.

— Адольф Гитлер так не поступает. В этом не может быть никакого сомнения. Возможно, при его предшественниках делалось что-либо подобное, но не сейчас... Нет, нет, этого я не допускаю.

Ленцер в раздумье выходит из одиночки.

Спустя несколько минут он возвращается, отпирает и просовывает голову в дверь:

— Будьте осторожны и не говорите таких вещей кому-нибудь другому.

После обеда со двора доносятся дикие крики, топот, смех. Торстен осторожно сбоку выглядывает из окна. Перед зданием тюрьмы стоят вновь прибывшие, вероятно, из тех, кто был арестован во время выборов. Эсэсовцы сегодня в отличном настроении, а потому все время изощряются в диких забавах.

Притащили тачки и большую тяжелую вагонетку, в которой вывозят камни. Сначала новички должны бегать вокруг двора с тачкой, в которой сидит заключенный. Потом все должны лезть в вагонетку, в которую впрягают двух заключенных. Эсэсовцы бегут рядом с криком «но! но!» и подгоняют их хлыстами.

У окна караульной стоят фельдшер и несколько полицейских чиновников и развлекаются.

Некоторым это развлечение кажется еще недостаточно веселым. От

дождей посреди двора образовалась довольно глубокая лужа. И вот арестанты должны на тачках перевозить друг дружку через эту лужу. Кому это не удастся сразу, того бьют хлыстом до тех пор, пока он или вывезет тачку, или, совсем выбившись из сил, упадет.

Только в сумерки загоняют арестованных в тюрьму. Восемь из них в изнеможении лежат у стены, хрипя и надрываясь от рвоты. Более выносливые товарищи поднимают их и тащат за собой.

Ленцер сидит в караульной и видит, как два эсэсовца, Оттен и Крекер, направляются через тюремный двор в корпус «А». Они в серых стальных шлемах, сбоку тяжелые револьверы, «Вот те на! — думает он. — Что это они собираются делать, что этак вырядились?» Он подходит к окну и машет им. Но те холодно смотрят на него и поднимаются вверх по ступеням в тюремное здание. Ленцеру становится как-то не по себе. Его охватывает леденящее беспокойство, Оттен и Крекер входят в караульную, Ленцер стоит у стола и вопросительно смотрит на них.

— Вы арестованы, Ленцер. Ваш револьвер!

Ленцер совершенно спокоен. Он улыбается товарищам, стоящим перед ним с окаменелыми лицами. «Ну, что ж, дело лопнуло. Бомба взорвалась. Ладно, посмотрим, что будет дальше». Он расстегивает ремень и, с улыбкой, подчеркивая официальное «вы», спрашивает:

— По чьему распоряжению вы действуете?

— По распоряжению коменданта, — отвечает один.

— Ага!

Ленцер передает Оттену свой пояс с кобурой, достает из кармана ключ от камер и отдает ему же.

— А дальше, милостивые господа?

Оттен бросает на него уничтожающий взгляд.

— Следуйте за нами.

В коридоре Крекер зовет дежурящего в отделении «А-2» Хармса. Он сообщает ему, что тот должен принять на время и отделение «А-1». Затем оба становятся по бокам арестованного и ведут его через тюремный двор в комендатуру.

Ленцер стоит перед комендантом. У двери — Дузеншен и Мейзель. Ленцер бросает взгляд на Мейзеля. Тот смотрит широко открытыми, умоляющими глазами и сжимает губы. Он бледен, как стена, у которой стоит.

Комендант сидит за столом и читает какую-то бумагу. Не поднимая

головы, он пронзает взглядом Ленцера.

— И ты был заодно с коммунистами?

— Нет, господин комендант.

— Нет? Ты не делал покупок для заключенных и не доставлял контрабандой в лагерь?

— Так точно, я это делал, господин комендант.

— И это называется: не быть заодно?

— Нет, господин комендант.

— Так!

— Господин комендант, я покупал заключенным табачные изделия, чтоб заработать немного денег. Вот и все. Больше у меня с ними ничего общего не было.

— Ты выносил письма и сообщения из тюрьмы?

— Нет, господин комендант.

— Но у меня есть доказательства.

— Этого не может быть, господин комендант. Я этого никогда не делал и не сделал бы.

— Сколько времени ты занимаешься покупкой табака для заключенных?

— Всего несколько недель, господин комендант.

— Ведь ты знаешь, что это запрещено. Не правда ли?

— Так точно, господин комендант.

— А знаешь ли ты, болван, — кричит на него комендант, — что я могу тебя предать военно-полевому суду?!

Ленцер молчит.

— Тебя надо было бы расстрелять за нарушение дисциплины! С такими, как ты, расправа будет еще почище, чем с коммунистами, можешь быть уверен!.. Что ты еще скажешь?

— Ничего, господин комендант.

— Штурмфюрер, что нам с ним делать?

Дузеншен в замешательстве. Всего две недели назад он представил Ленцера к повышению. Теперь в его присутствии комендант хочет заставить Дузеншена вынести приговор. Он размышляет.

— Господин комендант, я предлагаю: немедленно убрать его из дежурной команды лагеря и поставить вопрос перед высшим

командованием об исключении из рядов морских штурмовиков.

— Ну, а вы? — обращается он к Мейзелю.

Тот еще в большем замешательстве, чем Дузеншен. Он бросает взгляд на Ленцера, который не спускает с него глаз, и говорит, заикаясь:

— Я... я присоединяюсь... к мнению... штурмфюрера, господин комендант.

По лицу Ленцера пробегает презрительная усмешка. Мейзель покраснел до корней волос и смотрит на него, не отрывая глаз.

— Я еще подумаю об этом... Посадите его в карцер.

— Слушаюсь, господин комендант!

Щелкают каблуки, все трое по-военному делают поворот. Ленцер выходит из комнаты. Дузеншен и Мейзель идут за ним.

— Стой здесь! — приказывает Дузеншен.

Несколько секунд он стоит перед Ленцером и наконец изрекает:

— Сволочь!

Ленцер слегка пожимает плечами, делает гримасу, которая должна выразить сожаление по поводу случившегося, но молчит.

— Отведи его вниз!

Мейзель и Ленцер проходят через переднюю и спускаются в подвал, где находятся арестантские карцеры.

— Роберт, не выдавай меня, — шепчет Мейзель своему арестованному. — Ты об этом не пожалеешь. Я дело поправлю... Я помогу тебе во всем, в чем только можно будет... Только молчи!.. Ведь этим ничего не изменишь.

Ленцер молча шагает рядом.

— ...Я предчувствовал, что в один прекрасный день это выплывет наружу. Не нужно было затевать такое дело. Постарайся разузнать, кто нас выдал.

— Да... Ну, а если дознаются про письмо... про письмо этого Фишера?

Наконец Ленцера взорвало:

— Ну, уж это твое дело! Я к этому не причастен и ни в коем случае не позволю сваливать все на меня.

— Да... да... да... — бормочет Мейзель. — Этого... этого я от тебя вовсе и не требую.

Мейзель запирает Ленцера в пустую холодную камеру, в которой нет ничего, кроме длинных деревянных нар. Окошко только на четверть выше земли, четыре голые стены освещаются сумеречным светом.

— Тут уж я ничего не могу сделать, — говорит Мейзель, выходя из камеры.

— Папиросы при тебе?

— К сожалению, нет.

— Тогда достань мне несколько штук.

— Да, да, я сейчас приду.

Мейзель запирает дверь и быстро удаляется.

Ленцер влезает на окно, чтобы посмотреть, кто сегодня дежурит во дворе. Он узнает Крамера, который его терпеть не может.

— Ко всему еще и это! — вырывается у него, он бросается на деревянные нары.

На следующий день освобождают шестьдесят человек. В течение ближайшей недели ожидаются дальнейшие освобождения. Среди заключенных царит сильное возбуждение. Каждый надеется, что и его освободят. Это разрушает солидарность. Добровольная дисциплина ослабевает. Учащаются ссоры, некоторые упрекают друг друга в преступлениях. Староста Вельзен снова и снова пытается уладить ссоры и сохранить в камере дух товарищества.

На другой день после выборов в общую камеру № 2 помещают молодого рабочего, который, как член рейхсбаннеровской группы, работал вместе с коммунистами своего района. Он знает Шнеемана, и между ними вскоре вспыхивает спор.

Шнееман все еще старается доказать необходимость существования социал-демократии, а рейхсбаннеровец защищает ту точку зрения, что социал-демократия после своего политического фиаско похоронила себя раз и наг всегда, что всякие попытки воскресить ее бессмысленны и остается только одно: действовать заодно с коммунистами и создать единую рабочую партию.

То, о чем рассказывает рейхсбаннеровец, наполняет узников еще большей уверенностью.

Многочисленные группы рейхсбаннеровцев и членов бывшей германской социал-демократической партии работают сейчас рука об руку с коммунистами. В особенности на производстве, где налицо факты образцового сотрудничества. На металлургическом заводе «Тритон» уже

несколько недель выходит газета «Красный гудок». Ни администрации, ни национал-социалистской заводской организации ни разу не удалось арестовать лиц, причастных к выпуску этой газеты и к ее распространению. Чтобы воспрепятствовать нелегальной работе на заводе, уволили всех рабочих, которых до гитлеровского переворота подозревали в принадлежности к коммунистам или хотя бы в сочувствии им. Но не успел последний из подлежащих увольнению рабочих получить расчет в конторе, как несколько старых членов социал-демократической партии заявили, что они берут на себя распространение газеты на заводе. Вот и получается, все рабочие, имевшие репутацию красных, уволены, а заводская газета по-прежнему выходит.

Много любопытного рассказывает рейхсбаннеровец и о выборах.

Благодаря открытому террору и недвусмысленным угрозам только немногие осмелились голосовать в соответствии со своими убеждениями. По улицам ходили со значками «За», и на ком такого значка не было, того осыпали бранью. Некоторые голосовали в перчатках, боясь, как бы их не узнали по отпечаткам пальцев на избирательном листке. Результаты голосования были опубликованы только после предварительной «проверки» Иосифом Геббельсом в министерстве пропаганды. Результаты же по отдельным округам совсем не объявлялись, так как, по заявлению прессы и радио, население не проявило к этому никакого интереса.

— За границей никого не удастся одурачить этим голосованием, — замечает Шнееман.

— И нас тоже, — добавляет Кессельклейн.

Во время раздачи обеда один из кальфакторов сует Вельзену в руки записку: «Ленцер арестован. В случае допроса заявить: мы предполагали, что он действует с ведома лагерного начальства. Мейзель на свободе. Записку уничтожить».

После обеда Вельзен сообщает эту новость товарищам. За Ленцером еще оставалось двадцать марок шестьдесят пфеннигов. Деньги, говорит Вельзен, по всей вероятности, пропали.

— Но почему Ленцер должен один нести всю ответственность? Почему этот свинья Мейзель прячется?

— Товарищи, — отвечает Вельзен, — это вас не касается. Как дежурные разберутся между собой — это уже их дело.

— Во всяком случае, я предпочел бы, чтобы влип Мейзель, а не Роберт Ленцер, — заявляет Кессельклейн.

Ноябрь протекает гораздо спокойней, чем предшествующие ему месяцы. Расстроенный Мейзель бегает по тюрьме и не возобновляет своих ночных экзекуций. Дузеншен становится все в большую оппозицию по отношению к коменданту, который, со своей стороны, старается обострить противоречие. Хармс получил чин труппфюрера и находится в личном распоряжении коменданта. Среды эсэсовцев совершенно открыто поговаривают, будто Хармса в скором времени назначат штурмфюрером и заместителем коменданта.

Заклученные, не зная, по каким причинам истязания почти прекратились, связывают это с результатами выборов. Дни протекают спокойно, как в обычных тюрьмах. Крики слышны очень редко, только по ночам.

Но наступили холода, и, хотя уже середина ноября, камеры все еще не отапливаются. Нет угля. Заклученные напяливают на себя все, что у них есть, и, несмотря на это; лишённые работы и движения, ужасно зябнут в сырых холодных одиночках. Хуже всего заключённым в карцерах в подвале. Они просто коченеют, вынужденные сидеть скорчившись в пронизывающей, леденящей сырости.

Часовые на дворе надели овчинные тулупы и высокие утепленные сапоги.

Дежурные раздобыли керосиновую печку. Возвращаясь после обхода отделения, они садятся вокруг нее и согревают руки.

Только после того, как в одной из одиночек замерз старик заключённый, администрация лагеря стала принимать меры. Восемь человек, больных гриппом, переводят в лазарет при доме предварительного заключения, а на следующий же день прибывает грузовик с углем.

Два дня молодые заключённые из камер № 1 и № 2 корзинами таскают уголь в подвал. Старый арестант, осуждённый на долгий срок, становится истопником, и наконец однажды утром в трубах парового отопления раздаётся слабое шипенье.

В последних числах ноября Крейбель оправился наконец после тяжелого гриппа. Заключение в карцере и последовавшая затем болезнь подорвали его душевно и физически. У него землистый, с желтым налетом цвет лица и какой-то неподвижный, безумный взгляд. Он десять недель не брился. Щетинистая, в несколько сантиметров длиною борода и свисающие на уши и воротник тюремной куртки волосы придают ему отталкивающий и страшный вид. И тюремная администрация использует это с определенной целью.

Часто по воскресеньям приходят посетители: высшие государственные чиновники с женами, родственниками и знакомыми осматривают концентрационный лагерь. Обычно камеры не отпирают, и за заключенными наблюдают в глазок.

Нередко из-за двери доносится полный ужаса визгливый женский голос:

— У-у, какой же он страшный! Наверное, убийца!

Или:

— Он отвратителен!.. Что вы сказали, господин дежурный? Зачинщик поножовщины? Да, да, у него именно такой вид.

Как-то раз является журналист-англичанин. Штурмфюрер водит его по лагерю, показывает несколько общих камер и некоторые одиночки. О подвале нет и речи.

Журналист не знает ни слова по-немецки. Он спрашивает каждого заключенного, понимает ли тот по-английски. Большинство отвечает отрицательно. Тогда англичанин отказывается от дальнейших вопросов. Дузеншен, который тоже на этом языке ни слова не понимает, очень доволен. И только один из одиночников, моряк, посаженный за принадлежность к подпольной организации красного флота, отвечает по-английски.

Он умоляет журналиста не выдавать его и рассказывает ему о действительном положении в лагере и об истязаниях, которым он здесь подвергался.

Англичанин только кивает.

Дузеншен докладывает коменданту о том, что заключенный разговаривал с журналистом на английском языке.

— Вы идиот! — бросает ему в лицо взбешенный комендант, кидается вдогонку за англичанином, осматривающим теперь ремонтирующийся корпус «Д» прежней тюрьмы.

Он словно невзначай спрашивает журналиста, что рассказал ему арестант, с которым он разговаривал по-английски. Англичанин, сохраняя непроницаемое выражение лица, молчит.

Вечером Дузеншен приказывает выпороть моряка.

Декабрь начинается снегопадом. Не переставая ложатся на землю большие белые хлопья. Оделись пушистым покрывалом оголенные ветви деревьев. Затянуло белой пеленой крыши. Тюремный двор покрыт сплошным белым ковром.

Две тонкие трубы отопления в одиночке Крейбеля идут снизу из подвала, поднимаются немного над полом и, пройдя на протяжении метра вдоль стены, исчезают в соседней камере. Целыми днями Крейбель сидит на полу, скорчившись и прижавшись к теплым трубам.

...Ведь эти зимние дни могут быть так прекрасны!.. Он вспоминает о когда-то совершенных прогулках по занесенным снегом лесам Хаака и Герде, вспоминает веселую Урсулу, с которой много лет назад проводил вместе декабрьские каникулы, вспоминает белый свитер, который так шел к ее пушистым волосам и блестящим черным глазам... Далеко, очень далеко ушли эти прекрасные дни...

...И с Ильзой, своей женой, он тоже зимой познакомился, — это было в сочельник, на антирелигиозном празднике... Что она делает в это мгновенье? Ей тоже плохо. Одна с ребенком должна перебиваться на нищенское пособие... Ильза... Их любовь не была первой бурной страстью. Нет, это была тихая, глубокая привязанность, без шумных излияний. Он не всегда бывал к ней справедлив, не всегда добр... Но он все это когда-нибудь исправит, да, если доведется, — исправит...

...Торстен...

Что случилось с Торстеном? Он слышал от кальфактора, что его перевели в отделение «А-1». Торстен даже однажды переслал ему записочку с приветом... Они его еще долго будут томить в одиночке... Если бы Торстен был в соседней камере, Крейбелю было бы куда как легче все переносить. Он такой сильный. Они никогда не видели друг друга, — и, несмотря на это, стали друзьями. Тюремная дружба...

Интересно, как он выглядит... Должно быть, не очень высок, но зато плотный и сильный, как медведь. Он наверняка добр и умен. То, о чем он выстукивал, выдает в нем опытного марксиста...

Крейбель еще долго думает о Торстене, о разговорах через стену. И от этих мыслей чувствует новый прилив мужества и уверенности.

Приближающиеся шаги прерывают грезы Крейбеля. Он вскакивает и становится навтыжку у окна. Дверь отворяется. Появляется штурмфюрер Дuzеншен и сменивший Хармса дежурный, Оттен. За ними робко входят два человека в штатском. Один из них, небольшого роста, горбатый, вплотную подходит к Крейбелю и смотрит на него снизу вверх маленькими колючими глазами. Второй, высокий, с крупным лицом и круглыми удивленными глазами, остается у двери.

Все молчат.

Горбун пристально смотрит на Крейбеля.

Крейбель, поначалу выдерживавший взгляд, отводит глаза в сторону. Все смотрят на заключенного.

Вдруг карлик поворачивается и выбегает из камеры, не произнося ни слова. Остальные следуют за ним.

Крейбель слышит, как кто-то за дверью говорит:

— Нет, этого не надо!

И шаги удаляются.

Словно загипнотизированный, Крейбель еще долго стоит у окна и не может понять, что это значит.

Новый сосед Крейбеля по камере, называвший себя во время рапорта Ханзенем, должно быть, еще совсем ребенок. Всякий раз, когда надзиратель заходит к нему в одиночку, он спрашивает детским, просящим голосом:

— Для меня нет письма, господин дежурный?

И однажды выведенный из терпения Оттен накричал на него:

— Ты меня с ума сведешь вечными своими вопросами! Заткни наконец глотку! И кто тебе вообще может писать?!

— Моя мать, господин дежурный.

Несмотря на нахлобучку, в последующие дни заключенный снова задавал тот же вопрос. Но письма все не было.

Как-то в холодное декабрьское утро Мейзель выстраивает в коридоре одиночников из отделений «А-1» и «А-2». Сохраняя дистанцию в пять метров, вереница одичалых, достойных сожаления заключенных растянулась по покрытому снегом двору.

Мейзель, в теплом зимнем пальто, медленно ходит взад и вперед посередине двора. В нескольких шагах от него стоит часовой, держа ружье наизготовку.

Заклученные одеты в старое, рваное тюремное платье, которое было на них и летом. Некоторые совсем скрючились от холода, втянули голову в плечи. Перед Крейбелем шагает юный рабочий Ханзен. Маленький, хрупкий... Будто вчера сошел со школьной скамьи. Куртка ему слишком велика, непомерно длинные брюки подвернуты.

Сегодня Крейбель впервые после трех месяцев вышел во двор. Полной грудью вдыхает он чистый холодный зимний воздух и оглядывает ряды одиночников. Среди них должен быть Торстен... Но как его узнать? Он рассматривает каждого отдельного заключенного, не похож ли он на

созданный его воображением образ друга. Темная густая щетина скрывала даже знакомые черты... Но вот он замечает, что какой-то высокий человек с буйно разросшейся бородой и бледным как мел лицом шагает перед ним и так же, как он, на каждом повороте испытующе оглядывает своих сотоварищей по заключению. Не Торстен ли это?

...Что сделать, чтобы дать ему понять, что он — Крейбель? Надо как-нибудь обратить на себя внимание. Надо, чтобы дежурный на него накричал... Да, но часовой может выстрелить. У них это не задержится... Все равно, надо кто-нибудь предпринять...

Крейбель падает на колени и катится в снег. Заключенные проходят мимо него.

Часовой указывает на него Мейзелю. Тот кричит:

— Что еще с тобой там случилось?.. Эй! Вставай!.. Поди сюда!

Крейбель с трудом поднимается и, шатаясь, идет к надзирателю.

— Как тебя зовут?

Крейбель кричит так громко, как только может:

— Заключенный Крейбель!

— Что с тобой?

— Мне сделалось дурно, господин дежурный.

— Ну, так шагай здесь, посередине двора.

Крейбель идет один через двор. Он вглядывается в каждое лицо. Большинство отвечает ему ничего не говорящим грустным взглядом.

Он рассчитал так, чтобы в тот момент, когда он почти вплотную подойдет к цепи заключенных, мимо прошел бы высокий бледный товарищ. Когда тот приближается, Крейбелю кажется, что сердце сейчас вот-вот выпрыгнет из груди... Это Торстен!.. Он подмигивает и взволнованно улыбается Крейбелю. Какой у него исхудалый вид, как он бледен!.. Он совсем не такой сильный, каким представлял его себе Крейбель. Но глаза у него действительно умные, теплые.

Это Торстен, его друг... Наконец они в первый раз смотрят друг другу в глаза!.. Он ему так бесконечно благодарен!.. Не будь Торстена, как бы он перенес эти длинные, ужасные недели заключения в темноте?..

— Вам, поди, холодно? — спрашивает Мейзель заключенных.

— Так точно, господин дежурный, — отвечают некоторые.

— Ну, тогда побегайте немножко, чтобы согреться... Бегом! Руки к груди! Марш, марш!

Заклученные бегут по снегу.

После первых же шагов сердце начинает колотиться, легкие судорожно хватают воздух. Сказываются месяцы одиночного заключения, такое напряжение им не по силам.

Несмотря на это, Мейзель заставляет их бежать до тех пор, пока они не добегают, шатаясь, как пьяные, до тюремной стены.

— Рвань негодная! — кричит он и приказывает остановиться, — Теперь гимнастику, чтобы поразмять кости.

Мейзель заставляет ослабевших, выбившихся из сил одиночников лечь на снег и попеременно опускаться и подниматься на руках и носках. Во время этого упражнения часовой и Мейзель ходят с обеих сторон вдоль ряда. Тот, кто делает упражнение неправильно, получает пинок ногой или удар прикладом.

Бескровные пальцы коченеют. Ветер задувает под тонкую одежду снежную пыль. Уши горят, губы синеют. После гимнастики Мейзель снова заставляет их бегать. Во время бега Крейбель, все время ходивший посередине двора, снова на несколько секунд оказывается рядом с Торстеном.

Тот напряженно улыбается и шепчет ему, задыхаясь от бега:

— Ни в коем случае не сдаваться! Надо выдержать!

Крейбель кивает и делает знак глазами.

Это Торстен. Все тот же...

По возвращении в отделение Ханзен жалобно, все еще еле переводя дыхание, спрашивает:

— Господин... дежурный... неужели нет... до сих пор... письма от моей матери?

Оттен не отвечает и с шумом захлопывает за ним дверь камеры.

Близится рождество. Погода как в рождественской сказке. В холодном сухом воздухе выпавший снег сияет девственной чистотой. В домах по ту сторону тюремной стены царит торжественная тишина. По вечерам из тюремной церкви до заключенных доносятся звуки хорового пения. Уголовники готовятся к встрече рождества.

Чем ближе праздник, тем тяжелее становится на душе у каждого заключенного, в том числе и Крейбеля. Слишком укоренились в них обычаи и традиции; много детских воспоминаний связано с

рождественской елкой, с подарками и лакомствами, с веселым щелканьем орехов, с жареным миндалем, финиками...

Крейбелю вдруг приходит на ум попросить Библию. И почитать ее. К примеру, «Псалмы» Давида. Или Книгу Иова.

Он слышит шаги возле камеры и стучит в дверь. Открывает дежурный Оттен.

— Господин дежурный, разрешите попросить Библию!

Оттен от удивления переступает порог камеры и, словно не расслышав, переспрашивает:

— Чего тебе надо?

— Библию, господин дежурный!

— На что тебе Библия?

— Читать, господин дежурный. В ней есть прекрасные главы. Особенно в Ветхом завете.

Оттен в недоумении, молча смотрит на заключенного. Затем его охватывает ярость.

— Ах ты, свинья паршивая, хочешь поиздеваться над Библией! Знаю я вас!

И он наотмашь бьет Крейбеля по лицу.

— Вот тебе за Ветхий завет, мерзавец... Я-то знаю, чего ты хочешь... Посмей у меня еще раз постучать в дверь!

Едва Оттен выходит из камеры Крейбеля, как рядом раздается стук.

— Заткнись, идиот! Что мы у вас, мальчики на побегушках? — доносится до Вальтера сквозь запертую дверь голос надзирателя.

Крейбель придвигает табуретку к окну и осторожно, прижимаясь всем телом к стене, влезает на нее. Часовой медленно ходит вдоль стены, разглядывая на снегу отпечатки следов.

Короткие тихие сумерки переходят в ночь. Луна становится блестящей и яркой. Кое-где вспыхивают звезды. Вдали за сверкающими в лунном сиянии снежными пространствами проступают силуэты домов. В них свет и жизнь. Из ближайшего инспекторского дома долетают детские голоса. Рождественская песня. Сегодня сочельник.

Крейбель стоит на табуретке и смотрит сквозь решетку в ночь. Ильза... Она сидит сейчас дома и думает о нем, как он думает о ней... Она рано уложит спать малютку Фрица. Быть может, в то время, как другие ноют и веселятся в кругу семьи, она бродит по пустынным и темным улицам... А

может быть, одиноко лежит в своей постели и так же, как он, не может уснуть...

— О вас тоже не забыли! — сказал несколько часов назад дежурный надзиратель. Кальфактор протянул Крейбелю кусочек копченой колбасы, немного искусственного меда и шесть коричневых печений.

— Это от лагерной администрации.

Крейбель молча взял угощение.

— Ты, сволочь, может, соизволишь поблагодарить?! — взбеленился Нусбек.

Сочельник...

Каким-то будет он на следующий год?

Когда-нибудь мы, те, которых истязают сегодня, уничтожим этот лицемерный обман, а завтра...

Слышны приближающиеся шаги. Крейбель соскакивает с табуретки, отставляет ее в сторону и забирается на соломенный тюфяк под одеяло.

Караульный Оттен зажигает во всех одиночках свет и оставляет его на всю ночь. Так часовому виднее, если кто будет стоять у окошка.

До утра не спит Крейбель в освещенной камере. И не один он. За красными стенами тюрьмы лежат без сна сотни заключенных.

На следующий день караульный Нусбек раздает почту. Он заходит к Крейбелю и нарочито громко говорит:

— Вот твои письма!

Два письма и одна открытка. Какая радость! Уж сколько дней, как он не получал писем от жены и матери!.. Торопливо вынимает он исписанные листки из уже вскрытых цензурой конвертов.

Из соседней камеры стучат в дверь.

Боже мой! Неужели Ханзен и сегодня не получил письма?

У Крейбеля на секунду опускаются руки. Как это может быть? Бедный мальчик!..

Затаив дыханье, прислушивается Ханзен, как караульный проходит мимо его камеры. Он уже услышал, что тот разносит почту. Им овладевает непомерный страх. Караульный ошибается. Сегодня он непременно получит письма. Иначе быть не может! И несмотря на запрет, бросается к двери и колотит в нее кулаками.

Никто не слышит, никто не идет.

Что-то сжимает ему горло, юношу охватывает чувство безграничного одиночества и беспомощности...

Что случилось?

Что с матерью? Почему она не пишет?

От страха и разочарования ему становится не по себе.

Снова шаги. Они пробуждают новые надежды. Он прислушивается, затаив дыхание... Да, караульный остановился у его двери. Заключенный замечает, что крышка «глазка» тихонько отодвигается. За ним наблюдают.

В камеру входят Оттен и Нусбек. У Оттена в руке два письма. Ханзен их сразу заметил, и по лицу пробегает счастливая улыбка. Наконец!

— Сколько тебе лет? — спрашивает Нусбек.

— Восемнадцать, господин дежурный.

— И несмотря на это, все еще маменькин сынок?.. Восемнадцать лет — уже взрослый мужчина. А ты, по-видимому, еще настоящий младенец!

Заключенный, не отрываясь, смотрит на руку с письмами.

— Как зовут твою мать?

— Полина, господин дежурный.

— А где живет?

— Хуфнерштрассе, шесть, господин дежурный.

Нусбек рассматривает письма и передает их Оттену.

Тот подзывает:

— Подойди-ка сюда, маменькин любимчик!

Ханзен бросается к нему.

— Подними крышку с клозета!

— Что?!

— Крышку с клозета подними!

Заключенный с невыразимым ужасом в глазах поднимает крышку стульчака.

Оттен рвет письма пополам.

— Господин... господин дежурный... мои письма!

Оттен рвет их на четыре части и внимательно смотрит в потрясенное, искаженное болью лицо. Ключки бумаги падают в клозет.

— Спускай воду!

Юноша стоит неподвижно, глядя поочередно то на эсэсовца, то на изорванные письма в клозете.

— Ну, спускай воду!

Тот не трогается с места.

— Спускай!.. Тяни!..

Оттен кричит и беснуется. А Ханзен, хрупкий, бледный, только пристально смотрит на него.

Тогда Оттен отталкивает его в сторону, сам спускает воду и смотрит, не осталось ли клочка бумаги.

— Ну, теперь можешь хныкать! Поревни немножко, маменькин сынок! — смеется он, захлопывая дверь за собой и Нусбеком.

Крейбель слышит под окном размеренные шаги часового. Слышно, как хрустит под сапогами снег. А внутри, в тюрьме, и за оградой — ни звука. Медленно ползут дни... Их тишина невыносима, мучительна. Хорошо еще, что раз в году бывает рождество.

Он постоянно один в этих четырех стенах, лишенный каких-либо занятий. Но он живет каждым словом, которое проникает в его камеру, каждым доносящимся извне шагом, каждым шорохом.

В эти рождественские праздники жизнь словно угасла. Соседи и те даже не кашляют. Ни один звук, стук или шорох не пробивается сквозь стены камеры.

А ведь в каждой камере томится человек, товарищ. В каждой камере. В сотнях камер. И для любого из них эти тихие, долгие, одинокие дни кажутся сном. Каждый думает о жене и детях, о родителях и друзьях, о товарищах на свободе...

Крейбель — в который уже раз за эти три рождественских дня — берет свои письма и, скрючившись в углу, у труб, читает:

«Мой дорогой Вальтер!

Вот уже и рождество на пороге, а ты все еще в заключении. Кто бы мог об этом подумать в марте, когда они вводили тебя из дому? Несколько недель назад у нас стали ходить слухи об амнистии, я пошла в ратушу и спросила, не выпустят ли тебя, так как ты был посажен еще социал-демократическим правительством. Чиновник ответил, что комиссия по амнистии рассматривает отдельные случаи. Вчера мне сообщили, что комиссия была у тебя и отклонила твое освобождение. Дорогой

Вальтер, я, собственно говоря, ничего другого не ожидала, думаю, что и ты тоже. А все же хорошо было бы, если бы ты снова оказался с нами. Но потерпи, это время еще придет.

У малыша была крапивница. За ним ходила твоя мать, которая так хорошо с ним справляется, и теперь он снова молодцом. Отчаянный, но чудесный мальчик, право. Ты его совсем не узнаешь. Он стал такой большой и крепкий. Все до последнего трачу на него.

Нелегко жить на восемь марок пособия в неделю. Приходится себя во всем урезывать. От радио отказалась. Платить за пользование две марки ежемесячно я не в состоянии.

Дорогой Вальтер, все собирались послать тебе к празднику подарки: мать, Грета, Павел и друзья. Так как я думала, что тебе можно переслать только одну посылку, то решила упаковать в нее все подарки вместе. Несколько дней назад стало известно, что всем заключенным вообще запрещены передачи. Это постановление опубликовано в новом уставе о наказаниях. Не грусти, Вальтер, мы еще все наверстаем...»

Крейбель опускает руку с письмом...

Она бодрее и сильнее, чем он ожидал. А комиссия?.. Комиссия по амнистии? Это жуткое, безмолвное посещение горбуна решило его судьбу? Это была специальная комиссия?.. Ах, боже мой, здесь действительно все возможно... Ведь они не произнесли ни единого слова. Не задали ни одного вопроса. Горбун сказал за дверью: «Нет, этого не надо». И это все...

Крейбель вынимает второе письмо — письмо от матери.

«Мой милый мальчик!

Мне тоже Хочется написать Тебе несколько строк, так как я думаю, что тебе будет Приятно получить письмо от своей Матери, хотя у меня почти нет никаких новостей.

Сначала малыш был Болен, и Очень болен. Я совсем из сил выбилась, и крошке Здорово досталось, но он Чудесный мальчик. Представь себе: сыпь по Всему телу, около Сорока гнойных нарывов, Десять доктору пришлось прорезать, крику при этом было — ты себе даже представить не можешь, я должна была его держать, это было Ужасно, зато ему теперь

Легче, сегодня он уже опять Поет.

О себе писать почти нечего, много Работы и Маеты, а к этому еще и Неприятности; я не имею больше права думать о своих Дряхлых Костях, и если я сейчас сдам, все пойдет прахом, так что мне нельзя голову Вешать.

Ну, а тебе, мой мальчик, как живется? Впрочем, можно себе Представить как, — не будем говорить об этом, но всему бывает Конец, и для тебя наступят Лучшие дни, только не теряй Мужества и о нас, женщинах, не Беспokoйся, мы уж как-нибудь перебьемся.

Все шлют тебе приветы, не Грусти, мой мальчик.

Твоя мать».

Крейбель улыбается. Сколько любви в этих письмах, в каждой строке, в каждом слове! Сколько жизненной бодрости и веры!

Эти письма — единственная его радость, единственное чтение. Он снова и снова принимается читать их, и его умиляет, что мать все, по ее мнению, важные слова, пишет с большой буквы и ставит точку только тогда, когда закончит всю мысль.

Крейбель прикрепляет оба письма над столом на голой стене камеры. Это единственное украшение его одиночки, и всякий раз, когда он, кружа по камере, проходит мимо стола, он бросает на них взгляд.

— Смирно!.. Руужья на пле-чо!.. К ноге!.. Вольно!..

Караульный отряд концентрационного лагеря на ученье. Командует Тейч.

— В чем дело? Ведь это же должно доставлять удовольствие, когда руки одним взмахом скидывают ружья и все застывают, словно вылитые из бронзы... Кальк, ты сделал такое лицо, как будто тебя уксусом напоили. Разве тебе не весело? А?

Тот, к кому он обратился с этими словами, смущенно улыбается и пожимает плечами.

— Смирно!.. Ружья на пле-чо!.. Ровным шагом... марш!

Эсэсовцы с винтовками, в стальных шлемах, маршируют вокруг двора. Тейч, шагая рядом, делает замечания: неправильное расстояние между отдельными шеренгами; не так держат винтовки; недостаточно энергично размахивают свободной рукой.

— Отделение!.. Так, хорошо... Ноги выбрасывать!.. Стой!.. Отлично!.. Увидите, как девушки будут на нас заглядываться!.. Отделение, марш!.. Нале-во!.. Прямо!..

В коридоре отделения «А-1» стоят лицом к стене трое арестантов, которых привели сегодня утром, в последний день старого года. Один из них — высокий, стройный, с черными, как сажа, вьющимися волосами.

Дузеншен и Мейзель идут по коридору, замечают черную курчавую голову и останавливаются позади него. Дузеншен наклоняется к самому уху арестанта и шепчет:

— Где твоя родина?

— В Германии!

— Что? Как твоя родина называется?

Арестант слегка оборачивается и еще раз отвечает:

— Германия.

Дузеншен шепчет:

— А как тебя зовут?

— Бруно Леви.

— Так твоя родина Палестина. Верно?

Тот молчит.

— Отвечай, сволочь! — орет ему Дузеншен в самое ухо. — Твоя родина Палестина?

— Нет!

В этот момент проходит мимо Кленкер, тюремный парикмахер. Он несет под мышкой в маленьком ящичке все необходимые ему принадлежности: машинку, для стрижки волос, ножницы, гребенки. Дузеншена осеняет блестящая мысль.

— Эй! — зовет он парикмахера. — Машинка для стрижки с тобой?

— Так точно, господин штурмфюрер!

— Дай-ка сюда!

Дузеншен берет машинку и начинает стричь пышные волосы арестованного. Тот испуганно дергает головой.

— Стой смирно, идиот, или я тебе... с волосами и уши обрежу!

Дузеншен стрижет наголо, лишь на самой макушке оставляет небольшой хохолок. Рядом стоит Мейзель и спокойно смотрит, как падают завитки

черных волос. Взгляд его внимателен и серьезен, словно все так и должно быть.

Во время стрижки Дузеншен спрашивает:

— За что, собственно, ты арестован?

— Мы рассказывали анекдоты.

— Кто мы?

— Мои приятели и я.

— А где твои приятели?

— Не знаю.

— Так, так! Вы рассказывали друг другу анекдоты. А какие анекдоты? Мне бы тоже хотелось послушать хорошие анекдоты... Ну-ка, не стесняйся!

— Это были анекдоты о... о правительстве.

— Да, да! Об этом нетрудно догадаться. Но какие? Я хочу их послушать... Ну, ты скоро? Или хочешь, чтобы тебя сперва высекли?

— Один человек задал вопрос: «Почему нам в этом году не нужно угля на зиму?»

— Ну, и?.. Дальше, дальше!

— Ему ответили: «Потому что у нас... у нас «теплое» правительство».

— Необычайно остроумно! — иронически хвалит Дузеншен и при этом щиплет и рвет машинкой густые волосы у ушей на висках, — Еще! Вы ведь еще рассказывали.

— Зачем... собираются вырубить... саксонский лес? Потому что... — Заключение колеблется и испуганно косится на Дузеншена, все еще обрабатывающего его голову. — По... потому что Герингу... требуется новый шкаф для одежды.

— Чем дальше, тем остроумнее! Вы, наверно, рассказывали анекдот и по поводу поджога рейхстага? Да?

— Нет.

— И даже о братьях Сасс¹⁰ не рассказывали?

— Нет.

Дузеншен смотрит на остриженного еврея и говорит Мейзелю:

¹⁰ Сочетание СА (штурмовики) и СС (эсэсовцы) совпадает с фамилией Сасс, которую носили два брата-преступника. Анекдот был злым намеком на преступную деятельность отрядов СА и СС.

— Замечательный остряк, а?

Мейзель поднимает брови, и едва заметная улыбка скользит по его лицу.

— Он не красив, но оригинален.

— Давай-ка покажем его там, на дворе.

Дузеншен щелкает арестанта по голому черепу.

— Пошли!

На дворе арестанта встречают дружным хохотом. Остриженный наголо, с черным хохолком, он похож на китайца.

Дузеншен принимает командование:

— Смирно!

Эсэсовцы подтягиваются.

— Ружья на пле-чо!.. Шагом... марш!

— Ну, а ты беги свиным галопом вокруг колонны, — обращается Дузеншен к заключенному. — Это будет очень остроумно. Ну, живо, марш!

Леви бежит за взводом. Добежав до переднего ряда, он обегает его, затем каждую из марширующих шеренг.

Эсэсовцы, наслаждаясь, потешаются над заключенным, который, как загнанная собака, бегаёт вокруг них.

— Запевай! — приказывает Дузеншен.

Лора, Лора, Ло-о-ора!.. Хороши же

Девушки в семнадцать — восемнадцать лет...

Дузеншен покрикивает на бегающего вокруг отряда запыхавшегося заключенного:

— Живей! Не спать! Живей! Еще живей!

...И коль в долинах вешний цвет —

Еще раз Лоре той привет...

— Живей бегать! Еще живей!

Лора, Лора, Ло-о-ора!..

Заключенный натывается на марширующих и получает от эсэсовца такой пинок, что его отбрасывает в сторону.

Дузеншен командует:

— Перед входом перестроиться в две колонны! Марш, марш!

Измученный юноша должен пробежать в тюрьму между двумя рядами эсэсовцев.

Дузеншен дает совет:

— Торопись, не то сапоги в заднице завязнут!

Леви стискивает зубы, сжимает кулаки и, не возражая, бежит между рядами.

С обеих сторон его подгоняют пинками и тумаками. Он сгибается, чтоб защитить лицо и голову, но бешеными ударами его сваливают с ног и топчут подбитыми железом сапогами. Он снова вскакивает, не видя ничего, кроме поднятых для удара рук и ног, не слыша ничего, кроме дикого хохота и улюлюканья, и вдруг чувствует, что его швыряют, наконец, на каменные ступеньки лестницы.

В первое мгновение ему кажется, будто он оглох. Затем он поднимает голову, смотрит в довольные ухмыляющиеся лица и осторожно встает на ноги.

— Убирайся отсюда! — орет на него Дузеншен, и заключенный, спотыкаясь, торопится вверх по лестнице. — Внимание! — оборачивается Дузеншен к эсэсовцам. — У меня есть для вас сообщение. Наместник правительства приглашает весь отряд дежурных на встречу Нового года. Это является знаком признания наших заслуг.

В канцелярии комендатуры полная растерянность. Хармс стоит, скрестив руки, перед грубо сколоченной деревянной полкой, на которой лежат деловые бумаги и картотека. Ридель сидит за письменным столом и молча над чем-то размышляет. Дузеншен мерит комнату быстрыми, нервными шагами.

— Но разве это возможно? — снова и снова вздыхает Дузеншен. — Возможно ли?

Хармс и Ридель переглядываются. По лицу каждого пробегают чуть заметная злорадная усмешка.

— Ну, а если замять это дело? Ведь будет беспрецедентный скандал!

— Невозможно! — холодно отвечает Ридель. — Почти все слышали. Старик узнает и помимо нас.

— Ты даже не можешь себе представить, Хармс, что ты натворил! И так уж все время живем, как на вулкане. А теперь еще эта история!

— Я был пьян.

— И все же... все же... — Дузеншен вдруг останавливается перед ним. — И ты все это знаешь от Ленцера? От самого Ленцера?

— Да, я встретил его на Келлингхузенском вокзале. Мы разговорились. В ответ на мои упреки по поводу этой истории он рассказал мне про Мейзеля. Ленцер был взбешен тем, что сообщили в его отряд, а Мейзель за него даже не заступился.

— В таком случае он, конечно, и другим рассказывал?

— Еще бы!

— Не очень хорошо его характеризует, — лаконически замечает Ридель.

— Нехорошо характеризует? Сволочь, отъявленный мерзавец! — шипит Дузеншен и, засунув руки в карманы, снова принимается бегать по комнате.

— Позвони-ка! Пусть Мейзель придет!

Спустя несколько минут в комнату входит Мейзель. Он растерянно озирается по сторонам расширенными от волнения глазами. Его землистое лицо отливает зеленью. Губы судорожно сжаты.

Прежде чем задать вопрос, Дузеншен долго смотрит на Мейзеля и барабанит пальцами по крышке письменного стола. Потом, покачав головой, резко поворачивается к нему спиной.

Мейзель чувствует на себе взгляд своих врагов — Хармса и Риделя, но сам смотрит мимо.

— ...О ком угодно!.. Если бы мне рассказали это о ком-нибудь другом, меня бы это не так поразило. Но ты... Именно ты!.. Самый сознательный, до мелочей исполнительный. Скажи мне, друг, как это Ленцер подбил тебя на это?

Дузеншен стоит вплотную перед Мейзелем, который отвечает на его взгляд тусклым, беспокойным взором.

— Я знал о том, что происходит, но прямого участия никогда не принимал.

Дузеншен прислушивается.

— Ты никогда не принимал участия?

— Нет.

— Не принимал заказов? Не проносил их контрабандой в лагерь? Не распределял в общих камерах?

— Нет.

— Ты только знал обо всем этом?

— Да.

— И не хотел выдать Ленцера?

— Да.

Голос Дузеншена приобретает другой оттенок. Он поворачивается к Хармсу и Риделю:

— Значит, дело принимает совсем другой вид.

Ридель изумленно смотрит на Дузеншена, потом переводит взгляд на стоящего у двери Мейзеля. На мгновение их глаза встречаются. Во взгляде Мейзеля сквозит робкая мольба, но Риделя она не трогает. Он вспоминает инвалида войны, Кольтвица и множество других незащитных заключенных, которых истязал стоящий сейчас перед ним с таким сокрушенным видом его непосредственный начальник, Ридель не чувствует к Мейзелю никакой жалости и не думает его щадить.

— Мейзель не только знал о махинациях Ленцера, — твердо и уверенно заявляет он, — но даже получал половину прибыли.

Дузеншен сражен. Он смотрит на Мейзеля.

— Это верно?

— Да, — тихо отвечает тот дрожащими губами.

— Ах, подлец! — шипит Дузеншен в бессильной злобе. — Устроить мне такую пакость!

Он подходит к окну, судорожно хватается за оконную раму и прижимается к ней лицом.

Ридель и Хармс пристально смотрят на Мейзеля. Тот стоит с поникшей головой, закрыв глаза.

Внезапно, не меняя своей позы, Дузеншен кричит:

— Увести его!

Ридель поднимается и выходит из комнаты. Затем возвращается с конвойными из комендатуры.

— Ну, пошли!

Мейзель вздрагивает, бросает на Риделя убийственный взгляд и выходит впереди конвойных из комнаты.

Дузеншен хочет доложить о случившемся коменданту, но Эллерхузен уже обо всем подробно осведомлен.

— У нас дела идут все хуже.

Дузеншен отвечает:

— Такие вещи надо беспощадно искоренять.

— Ведь Мейзель пользовался, кажется, вашим особым доверием?

Дузеншен ожидал этого вопроса. Он был неизбежен. И все же холодное бешенство сдавило ему горло. Он смотрит коменданту прямо в глаза, но ничего не говорит.

Комендант Эллерхузен понял взгляд штурмфюрера, и вдруг ему стало жаль этого скомпрометированного своими лучшими друзьями подчиненного. И он говорит примирительным тоном:

— Штурмфюрер! Вы плохой знаток людей. Но постарайтесь преодолеть разочарование. Оно дает хороший урок, оно закаляет и учит презирать людей.

В лагере быстро распространился слух о том, что во время новогоднего приема у наместника Кауфмана подвыпивший Хармс бросил Мейзелю обвинение в мошенничестве, продажности и преступлениях по должности, и о том, что Мейзель уже арестован.

Все без исключения заключенные радуются. Слишком велика ненависть к этому извергу. Никто не заступает за него, несмотря на то что его арестовали за спекулятивные махинации, которые им же самим шли на пользу. А Кессельклеин с воодушевлением держит длинную речь:

— Эту сволочь я, как никого, терпеть не мог. Это был не надзиратель, а избиватель. Но они еще все сломают себе хребет. Когда мы восстанем — ни один из этой банды не уцелеет. А пока нам предстоят дела почище: вот увидите. Еще многие из этих бесстрашных, безупречных рыцарей отправятся в карцер.

Обершарфюрера отделения Хармса произвели в обертруппфюреры. Риделя — в труппфюреры. Дузеншен взял отпуск. Его замещает Хармс.

Студент-недоучка Хармс — искусный тактик, он заметно приближается к своей цели. Он доверенное лицо коменданта. Среди эсэсовцев ходят

слухи, будто Дузеншен больше не вернется из отпуска и его место займет Хармс.

Январь проходит спокойно. По ночам уже не слышно криков истязаемых. Хармс любит бесшумную работу. Заключенных уже не бьют тут же, в одиночках. Порка происходит теперь только в подвале, за двойной дверью, сквозь которую не пробиваются ни удары плетей, ни даже крики.

Среди заключенных общих камер отыскали маляров. Их разбили на бригады, и теперь они красят коридоры и камеры. Другие рабочие команды убирают все тюремное здание, вооружившись вениками и шлангами. С раннего утра до позднего вечера во всех отделениях кипит работа.

Не из желания облегчить судьбу заключенных, а из любви к порядку Хармс вводит правила, идущие им на пользу. Аккуратно раздаются письма. Устанавливаются определенные часы для посещений. Равномерно распределяется свободное время. В определенные числа меняется постельное белье. Раз в месяц заключенных водят в баню.

Хармс любит приходить в общие камеры неожиданно. Заключенные должны тогда показывать ему свои руки и, сняв сапоги, ноги. Кроме того, Хармс следит за чистотой обеденной посуды и за порядком в шкафчиках.

В одиночки не заходит. Он знает, что у одиночников зачастую нет посуды и они едят из умывальных мисок. У них обыкновенно нет ни гребешка, ни зеркала. Они по несколько месяцев не бывают в бане, не бреются. Но он приказывает чаще проветривать камеры, чтобы не было зловония.

Однажды, в конце января, Торстену велят немедленно собрать вещи. Дежурный сообщает ему, что его переводят в подследственную тюрьму.

У Торстена захватывает дух от радостного известия. Пережить заключение в концентрационном лагере — много значит. Все предстоящее будет значительно легче.

Он быстро переодевается, сваливает в кучу все казенные вещи и, развернув одеяло, бросает их туда.

В своем собственном платье Торстен сразу чувствует себя человеком. Затем прощается с одиночкой, в которой прожил столько месяцев. Еще раз окидывает взглядом щели на потолке, неровные мазки краски на стенах, пятна ржавчины на двери. Сколько раз в эти долгие недели одиночества его взгляд останавливался на всем этом!

Он смотрит в окно и прощается со своим буком, растопырившим голые окоченелые ветви. Часами, бывало, смотрел он, погруженный в мечты, на его красочное осеннее убранство.

Крейбель... Быть может, его теперь тоже переведут? Ведь скоро год, как он в лагере... Свидятся ли они когда-нибудь? Если вспомнить, то тогда, в карцере, в мрачной каменной могиле, они жили наиболее напряженной жизнью. Они заставляли говорить немые стены.

Входит дежурный эсэсовец.

— Вы готовы?

— Так точно, господин: дежурный.

— Тогда выходите!

В караульной Торстена принимает ординарец из комендатуры. Они идут через ряд тюремных дворов в средний корпус.

В камере хранения, находящейся в подвале под комендатурой, Торстену приходится ждать. В прихожей, где выдают тюремную одежду, много вновь прибывших. Он очень удивлен, что среди них есть молодые люди в высоких сапогах и коричневых замшевых брюках. Одного из них, в полной форме штурмовика, Торстен принял было за караульного. Но ему тоже дают синюю тюремную одежду — значит, он арестант.

По лестнице спускается Тейч, — ему кажется, что выдача одежды идет слишком медленно. Он замечает штурмовика, стоящего перед своим узелком, и подходит к нему.

— Ты штурмовик?

— Так точно!

— А за что тебя сюда отправили?

— На меня донесли... Сболтнул лишнее.

— Что ж ты говорил?

— Против Кауфмана и... и... тех, что повыше.

— Нечего сказать, хорош штурмовик!.. А ты давно в отряде?

— С тысяча девятьсот двадцать девятого.

Тейч смотрит на высокие сапоги и коричневые брюки других новичков.

— Ты кто такой? — спрашивает он у крепкого, ладного парня, по-видимому, спортсмена.

— Мебельщик.

— Штурмовик?

— Так точно!

— А ты что выкинул?

— Я агитировал у нас на предприятии за забастовку.

— Из коммунистов, что ли?

— Нет. Нам хотели снизить расценки.

— Тоже штурмовик? — спрашивает Тейч у третьего, в высоких сапогах и коричневых штанах.

— Нет.

— Вот как? А за что тебя арестовали?

— Я забыл дать начальнику подписать талоны на уголь, которые я себе выписал. Я об этом просто забыл, потому что согласие начальника у меня было.

— Врешь, свинья! — И Тейч подходит к нему вплотную. — Из-за простой ошибки люди не попадают в концентрационный лагерь. Ты думал смошенничать?

— Нет.

— Как тебя зовут?

— Бреннингмейер.

— Я запомню твое имя. Можешь быть уверен, я заставлю тебя сказать правду. Подумай об этом, пока не поздно!

Тейч снова обращается к первым двум штурмовикам:

— Срам!

Торстен стоит тут же, слышит каждое слово и готов кричать от восторга. Если в этих стенах все тихо, то там, на воле, жизнь идет вперед. И если им приходится уже своих собственных приверженцев сажать в концентрационный лагерь, то, значит, события развиваются быстрее, чем он смел об этом мечтать...

Тейч подходит к Торстену и спрашивает:

— Ну, теперь переходите на тюремное иждивение? Вы на что рассчитываете?

— Я этого не могу сказать... ибо даже не знаю, в чем меня обвиняют.

— Да уж, должно быть, хорошенькие делишки выплывут!

Несколько часов спустя Торстен имеет с двумя сутенерами, которых тоже переводят в тюрьму для подсудимых, выезжает в полицейском автомобиле за ворота лагеря. Из узких окон автомобиля в последний раз окидывает он взглядом молчаливые, мрачные, грязно-красные здания тюрьмы, еще раз вспоминает ужасные ночи, проведенные за этими стенами,

думает о Кольтвице и Кройбеле и о многих-многих, томящихся за этими решетками товарищах.

Фельдшер Бретшнейдер входит к Оттену в караульную.

— Ну, Оттен, что нового в отделении?

— Ничего. Вот только Клазен из тридцать восьмой одиночки заявил, что болен. Говорит, у него сифилис. Ну, да эта сволочь хочет просто в лазарет попасть.

— А Крейбель как себя чувствует?

— Опять очень плох.

— Его жена девять часов простояла у ворот. Ни за что не хотела уйти, не повидав мужа и не поговорив с ним.

— Ну и в конце концов передумала? А?

— У нее ребенок в больнице. Совсем вне себя женщина. Насилу отделались!

— Мне это знакомо, — говорит Оттен. — Я как-то раз стоял на часах во время свиданий. У этих баб не языки, а бритвы. Наглый народец! Подходит ко мне этакая куколка, прямо одной рукой поднять можно, и спрашивает: «Вы тоже принадлежите к тем скотам, которые избивали моего мужа?» — «Позвольте, говорю, я вас совсем не знаю!» А она как завизжит: «Меня-то — нет! Меня вы не знаете, но зато хорошо знаете моего мужа, не так ли?» Ну, знаешь, брат, я поскорее смылся. Еще бы немножко — и они накинулись бы на меня, как тогда на Цирбеса.

Фельдшер смеется.

— Понятно, почему все эти бабы истеричны: им мужей не хватает...

Бретшнейдер открывает камеру № 38. Ее обитатель — приземистый, широкоплечий человек, с крупным скуластым лицом.

— Вы моряк?

— Так точно!

— На что жалуетесь?

— Я сифилитик.

— Откуда вы это знаете?

— Откуда я это знаю? — удивленно спрашивает моряк, — Да чего уж проще.

— Когда вы последний раз лечились?

— Дайте вспомнить... Пожалуй, тому уже три года.

— Вы что — с ума сошли?! Или вы издеваетесь надо мной? Три года вы таскаетесь всюду с этой гадостью? Скольких женщин ты заразил, мерзавец?

Заклученный молчит.

— Но ты врешь, нет у тебя никакого сифилиса, тебе просто не нравится сидеть в одиночке, захотелось в лазарет, не так ли?

Заклученный пристально глядит на фельдшера и не произносит ни слова.

— Ладно, приходи ко мне, я тебя обследую. И горе тебе, если ты меня обманул!

Бретшнейдер отворяет одиночку Крейбеля.

— Как себя чувствуете?

— Плохо, господин дежурный.

— Плохо? Чего вам не хватает?

— Работы, господин фельдшер. Дайте мне какую-нибудь работу. От постоянного хождения по камере у меня начинает в голове мутиться.

— Если бы от меня зависело, то вы все с утра до ночи работали бы, — ну, хотя бы в пользу комитета помощи безработным. Но у нас просто нет работы. Ту мизерную работу, что предоставляется тюрьме, выполняют уголовники и каторжники.

Фельдшер внимательно смотрит в лицо заключенного: серый, болезненный цвет лица, странный, неподвижный взгляд и нервное подергивание мускула под левым глазом.

— Сколько времени вы в одиночке?

— Почти десять месяцев, господин фельдшер. Из них шесть недель в темной.

— Хм... Я посмотрю, что можно будет сделать, но больших надежд не возлагайте. Может быть, удастся получить для вас работу в саду.

— Я был бы вам бесконечно благодарен!

Фельдшер выходит из камеры и идет обратно в караульную к Оттену.

— Крейбель долго не выдержит. Мне не нравится его взгляд. Это чертовски тяжелое заключение — быть постоянно одному и без всякой работы.

Оттен, что-то записывающий в этот момент в журнал, оборачивается и произносит:

— Если бы это от меня зависело, я бы совсем иначе поступил. Я бы всех выпустил... Но каждого, вторично попавшегося в политической работе, расстреливал бы на месте. Если уж мы хотим запугать эту братию, то это лучший способ. А кроме того, дешевле. Один немецкий патрон стоит всего семь пфеннигов.

— Ты слишком просто все себе представляешь.

После ухода фельдшера Оттен раздумывает, не рассказать ли Крейбелю о том, что его ребенок в больнице. Как только эта мысль приходит ему в голову, его так и подмывает пойти к нему сейчас же. Пусть-ка помучается угрызениями совести. Но потом он отказывается от своего желания. Узнать подобную весть — безумная пытка для любого заключенного. Надо оставить его в покое. И Оттен продолжает писать. Но спустя какое-то время он вновь отрывается от своей писанины и размышляет... Разве эти парни заслужили снисхождение? Оттен медлит. Ему очень хочется проучить Крейбеля, но он все еще медлит.

Наконец он поднимается, выходит в коридор, идет прямо к одиночке Крейбеля и отпирает дверь. Заключенный стоит, согласно правилам, у стены под окном и рапортует:

— Арестованный Крейбель!

— У тебя есть сын?

— Да, господин дежурный.

— Сколько ему лет?

— Три года.

— Его свезли в больницу.

Крейбель поднимает глаза на стоящего у двери и внимательно наблюдающего за ним надзирателя.

— Господин дежурный, что... что с ним?

— Этого я не знаю. Здесь была ваша жена, хотела говорить с вами.

Лицо Крейбеля будто свело судорогой, он тяжело дышит и, запинаясь, произносит:

— Он... он... опасно болен?

— Подробностей не знаю!

И Оттен запирает дверь. Но прежде чем уйти, он смотрит в глазок и видит, что Крейбель, бледный, продолжает неподвижно стоять на том же месте.

Пусть поволнуется, хоть раз почувствует себя несчастным, думает

Оттен. В конце концов эти парни для того здесь и сидят.

На следующее утро Крейбель слышит беспокойную беготню в соседней камере и по коридору. Оттен сыплет проклятиями. Кальфакторы бросили ведра с кофе и бегут вниз по лестнице.

Что рядом случилось? Уж не повесился ли молодой Ханзен? Если да, то это на совести Оттена. Какие отвратительные глаза были у этого человека, когда он ему сообщал о сыне! Губа поднялась, зубы оскалились. Ровные жемчужно-белые зубы. Он ими, видимо, особенно гордится.

С Оттенем идет по коридору фельдшер. Крейбель сейчас же узнает его по голосу.

— А вчера вечером ты ничего не заметил?

— Никакого намека! Он вел себя, как всегда.

Крейбель прижимается ухом к стене. Если в коридоре очень тихо, то слышно, о чем говорят в соседней камере.

— Какие ты глупости делаешь, дружище! Так не поступают в восемнадцать лет. Что у тебя — неудачная любовь?

Крейбель не слышит ответ Ханзена.

— Письма от матери? У нее, наверное, нет времени писать письма. Но разве можно убивать себя из-за того, что нет писем? Ведь это же черт знает что такое!

Кальфакторы приносят носилки. Крейбель слышит, как Ханзена осторожно выносят из камеры. У двери фельдшер говорит:

— Парню невероятно повезло! Другой бы на его месте давно окошел.

Это утро имело для Крейбеля большое значение. Ему тоже знакомы вечера и ночи, когда его неотвязно преследовала мысль покончить с собой. Уже давно он носит крепкую плетеную веревку на шее под рубашкой, чтобы не тратить времени на долгие приготовления, когда станет ясно, что иного выхода нет. В полные одиночества и отчаяния ночи она жгла, как раскаленная цепь. А вечерами, когда приходил к концу мучительный день и приближалась не менее мучительная бессонная ночь, ему часто казалось, будто веревка на шее понукает его: «Решись, реши!» Тогда обливаясь холодным потом, он прятал лицо в грубый холст своего соломенного ложа.

В это утро, после того как унесли его юного соседа, Крейбель дает клятву никогда не накладывать на себя руки, снимает веревку с шеи и опускает ее в клозет. Он просто не имеет права играть своей жизнью. Он обязан выдержать до конца. Ведь Торстен и большинство товарищей выдерживают. Торстен?.. Тот бы в этом случае сказал: «Не хватило

большевистской закалки». Нет, он не покончит с собой! Никогда!

Крейбель берет крошечную щепочку и клочок серой бумаги и осторожно, медленно начинает выписывать азбуку для перестукивания — накалывает буквы на бумаге. При первой возможности он передаст эту записочку другому своему соседу. Тот не понимает, несмотря на то что Крейбель стучит уже несколько недель.

— Вальтер!

Крейбель бросается к двери. Кальфактор Эрвин шепчет ему в щелочку:

— Ханзен перерезал себе вены. Но кровь запеклась, и он еще жив. Но здорово ослабел. Ты слышишь?.. Это Оттен довел его.

— Да, — шепотом отвечает Крейбель. — Я знаю.

— Его отправили в Бармбекскую больницу. Коли он не дурак, только его и видели.

— Послушай, Эрвин!

— Что?

— Никого нет?

— Нет, Оттен внизу.

— Можешь просунуть записку Рюшу?

— Ну, это опасно. Сам знаешь, чем это для меня может кончиться.

— Ну, тогда не надо.

— Ладно, попробуй просунуть ее в щель двери. Сложи листок и просунь его над самым замком.

Крейбель с волнением сует записочку между дверью и стеной, но наталкивается на препятствие. В скважине на дверной филенке маленький выступ. Крейбель пробует просунуть то в том, то в другом месте.

— Ты успокойся. Иначе ничего не выйдет.

Наконец записка проходит насквозь.

— Взял? — кричит Крейбель. — У тебя?

— Да. Тише, не ори так...

Крейбель слышит, как Эрвин поспешно просовывает записку в дверь соседней камеры и быстро уходит.

Сосед стучит кулаком в стену. Крейбель отвечает.

— Ну, теперь, товарищ, рассмотри шифр, и мы будем с тобой беседовать, — говорит Крейбель, обращаясь к стене, за которой

заклученный рассматривает записочку.

Тридцатого января, в годовщину перехода власти к Адольфу Гитлеру, в одиночку к Крейбелю входит Оттен в сопровождении «ангела-избавителя» Хардена.

От волнения лицо Крейбеля покрывается красными пятнами, сердце готово выпрыгнуть из груди. Неужели это освобождение? Он пристально смотрит на Хардена, держащего в руке большой белый лист.

— Собирайте все ваши вещи!

— Слушаюсь, господин дежурный!

Вне себя Крейбель бросается к постели и сворачивает все вещи вместе. Вытаскивает из шкафа дощечку для селедки, миску и ложку и кладет все это на стол.

— Есть ли у тебя места в общих камерах?

Крейбель прислушивается. Значит, его не освобождают, а переводят в общую камеру. Ну, и то хорошо. Лишь бы выбраться из этой дыры.

Оттен соображает:

— У меня нет места. Обе общие камеры полны.

Крейбель собрал вещи. Свернутые из туалетной бумаги шахматы шелестят в кармане брюк. Украдкой он бросает взгляд на стену, за которой сидит Эрнст Рюш. Конец разговорам, которые так трудно было наладить. Конец и игре в шахматы, заполнявшей последние дни...

«В общей камере! Среди товарищей! Но я буду осторожен, — дает себе обещание Крейбель, — чтобы не обжечься, совсем не буду говорить о политике. А то не успеешь оглянуться, как снова попадешь в одиночку или, еще хуже, в темную».

Общая камера — последний этап перед освобождением, и у него нет ни малейшего желания начинать все сначала.

— У Люринга должны быть свободные койки, — замечает Харден. — Вы готовы?

— Так точно!

— Тогда идем.

Они спускаются по лестнице в нижнее отделение. По дороге Крейбель узнает, что по распоряжению гестапо он переводится в общую камеру и получает разрешение на воскресные свидания.

— Подождите здесь!

Харден входит в караульную.

Крейбель смотрит вдоль длинного коридора. В одной из этих одиночек сидел Торстен. А там темная лестница, ведущая в подвал. Неужели заняты все темные? Перестукиваются ли между собой и другие товарищи?..

Из караульной выходит Харден с Люрингом.

— Идемте!

Люринг отпирает дверь в общую камеру № 2.

Староста кричит:

— Смирно! — и рапортует: — «А-один», камера два, тридцать восемь человек, две койки свободны.

— Получайте! Немедленно побрить, постричь и вымыть, чтоб снова приобрел человеческий вид.

— Слушаюсь, господин дежурный!

Едва успели оба эсэсовца выйти за дверь, как товарищи окружили Крейбеля. Жмут ему руки, хлопают по плечу, предлагают папиросы, масло и белый хлеб из купленных на свои деньги запасов.

Крейбель встречает знакомых товарищей. С Вельзенем они работали в нескольких культурорганизациях. Он знаком и с Вилли Креггером, — это один из лучших рабкоров. Человек, протягивающий ему уже вторую самокрутку, — товарищ Клекнер, старый профсоюзный деятель. Сквозь кольцо окружающих Крейбеля товарищей продирается маленький сухощавый человек. Он пожимает Крейбелю руку и спрашивает:

— Не узнаешь?

Крейбелю неловко, — он не может вспомнить.

— Я — Зибель. Ты доставил меня в больницу, когда я был ранен во время октябрьского праздника в Ольсдорфе.

Теперь Крейбель узнал его, и они долго жмут друг ДРУГУ руки.

— Дайте вы ему прийти в себя, — останавливает Вельзен товарищей. — Оскар, соскобли с его щек девственную растительность и остриги волосы. А Али и Альфред могут пока привести в порядок его постель.

Вельзен отводит в сторону все еще растерянного Крейбеля и шепчет ему:

— Великолепно, что ты теперь здесь! У нас в камере созданся небольшой кружок. Уже прошли курс политэкономии и диалектики. Тебе придется провести курс истории ВКП(б) и русской революции. Я слабоват в

этих вопросах, а ты ведь читал доклады в районных партшколах.

— Взгляните-ка на Натана! — кричит товарищам тощий Зибель. — Нам велел оставить Крейбеля в покое, а сам не выпускает его из когтей. Вот лиса!

— Мы еще поговорим об этом, — шепчет Вельзен и громко добавляет: — А теперь нужно тебя привести, как сказал дежурный, в человеческий вид.

Утро. Вельзен смотрит на часы. Скоро семь. Он берет Крейбеля под руку и начинает разгуливать с ним у двери.

Товарищи, дежурные по комнате, метут пол, отодвигают в сторону скамьи, на которых стояли тазики для умывания, оправляют постели. Одеяла должны быть гладко натянуты на соломенных тюфяках, чтобы не было ни одной складочки.

— У нас в палате хороший народ, но с некоторыми будь осторожен. Например, с нацистом Рудольфом Келлером — вон тот длинный, что убирает сейчас свою постель, Вихерсом — он сутенер, мы ему тоже не доверяем. И с Боргерсом, — за ним какие-то проделки с благотворительными лотереями...

Вельзен подходит к левому ряду нар.

— Чья постель? — указывает он на одну из них.

— Мое ложе! — отвечает Кессельклейн.

— Надо лучше убирать. Натяни как следует одеяло! Сегодня Люринг будет проверять, всем ведь известно, как он придирается.

Кессельклейн ворчит, но все же принимается подправлять тут и там одеяло.

— наших товарищей здесь всего семнадцать, из них пятнадцать крепкие. Ганнес Кольцен — вон у окна, лысый — тот держится замкнуто. Мне кажется, жена действует на него. После каждого полученного письма и после каждого свидания он особенно угнетен. Другой — Вальдемар Лозе. Тот в последнее время ударился в критику окружного руководства.

— Который Лозе?

— Вон тот, что стоит у шкафов и курит трубку. Зато уж остальные в огонь и в воду. Здесь есть также два соци. Одного зовут Шнееман...

— Знаю! Знаю! — перебивает Крейбель. — Тот, маленький, толстенный, не правда ли? Мне он сразу показался знакомым. А как он

держится?

— Вполне прилично. В первые дни все рвался в бой, как молодой петушок, с нами, конечно. В последнее же время утомился.

— Он сыграл скверную роль!

— Знаю! Дузеншену хотелось, чтобы мы его вздули. Я тебе при случае расскажу. Другой — рейхсбаннеровец, идет к нам. Немного болтлив, говорит здравые вещи пополам с чепухой, но, в общем, малый порядочный.

— Где он?

— Вон высокий, за вторым столом, с козлиной бородкой и острым носом. Его зовут Фриц Зелигер... В нашем кружке восемь человек. Кто не участвует, несет охрану кружка.

Вельзен еще раз проверяет койки, стоящие одна на другой направо и налево вдоль стены, окидывает взглядом четыре стола посреди комнаты, на которых ровно, как по ниточке, выстроились суповые миски и чайные стаканы, и командует:

— По росту в две шеренги становись!

Входит дежурный Люринг.

По мере того как открывается дверь, Вельзен выкрикивает:

— Внимание! Налево равняйся!

Вельзен выходит на шаг вперед и рапортует:

— «А-один», камера два, на утренней перекличке налицо тридцать девять человек. Все здоровы, за исключением Дрекса, который просит направить его к фельдшеру.

Люринг — в прошлом стюард — с большим отвислым подбородком и маленькими колючими глазками, окидывает взглядом оба ряда коек. Он командует «вольно», проходит вдоль постелей и глядит, в порядке ли столы; продолжая осматривать камеру, он командует:

— Рассчитайсь!

— Первый, второй, третий, четвертый, пятый..

— Отставить!

— Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой седьмой...

— Который тут Дрекс?

— Я!

— Что с тобой?

— У меня болит горло.

— Советую вам прекратить бегать из-за всякой ерунды к фельдшеру!

Кальфакторы приносят ведро кофе. На стол отсчитывают тридцать девять кусков хлеба. Когда Люринг поворачивается и направляется к двери, к отсчитанным ранее кускам быстро добавляется еще кусок белого хлеба.

— Смирно!

Заключенные снова подтягиваются. Люринг выходит из камеры.

Крейбель сидит подле Вельзена. В первый раз за много месяцев ест он бутерброд. Его угощают со всех сторон.

— Попробуй-ка ветчины. Жаль только, что так мало осталось!

— Вальтер, хочешь сала?! И возьми к нему луку. Смалец с луком — замечательно вкусно!

— Вот, возьми, хороший мармелад. Еще от последнего свидания.

Но Крейбелю ничего не хочется есть. Он почти всю ночь не спал, никак не мог уснуть, несмотря на ужасную усталость. Побрит, пострижен, вымыт, среди товарищей, — слишком много для одного дня. И все так неожиданно, без всякого перехода. В карцере он тосковал по дневному свету, и одиночное заключение в светлой камере уже казалось ему приятным. В могильном уединении одиночки он завидовал товарищам, сидящим вместе с другими. Вот теперь он в обществе, но не испытывает радости; он не может так скоро отрешиться от прошлого, ночные шумы одиночки все еще продолжают звучать в ушах.

— Товарищи, — говорит он вдруг во время еды, — я никогда больше не хотел бы вернуться в одиночку.

Заклученные глядят на него, не зная, что сказать.

— Но раз ты уже здесь, так в одиночку больше не пойдешь. — Кессельклейн первым находит слово утешения, а Вельзен молча обнимает Вальтера за плечи.

Крейбель только теперь начинает понимать, как он был оторван от жизни, как, несмотря на перестукивание и сообщенные шепотом сведения, он был мало осведомлен о том, что творится на воле, а также здесь, в лагере, в его ближайшем окружении.

Он узнает, что товарищи Люкс, Эссер, Дрешер и многие другие жестоким избиением были доведены до самоубийства, что Ландау и Ретслаг повешены...

— Слушай, Вальтер, что ты скажешь? Кампурс и Хорн открыто выступили в печати и обругали партию. В благодарность за это их выпустили.

— Многие смалодушничали и пошли на предательство.

— А Цирбес исчез. Говорят, наши женщины отколотили его в одно из воскресений, и его перевели куда-то.

— Ленцер и Мейзель тоже скрылись с горизонта. Ах, брат, надо рассказать тебе об этом...

Крейбеля засыпают новостями. Он жадно воспринимает их. Сообщают о политических событиях последних месяцев, о подпольной работе партии, о деятельности эмигрировавших и судьбе арестованных товарищей.

Особенно наседает на него сухопарый маленький Зибель с лысым блестящим черепом и крошечным вздернутым носиком. Он близорук; когда говорит, приближает лицо вплотную и брызжет на Крейбеля слюной.

— У нас здесь в камере был ротмистр. Неглупый парень. Один из сторонников Штрассера. Мы часто спорили. Военная политика — это, как тебе известно, мой конек. Занятно, скажу я тебе. Он считал, что Япония получит хорошую трепку. А какая у него великолепная осведомленность относительно Красной Армии!

Крейбель не может удержаться от улыбки, вспоминая, что этот маленький человечек летом 1919 года был военным руководителем революционных рабочих и солдат в Гамбурге: занял ратушу, на вокзале обезоружил корпус добровольцев, организовал сопротивление Леттов-Форбеку. Теперь он — старый слабый человек, с гордостью рассказывающий о своих заслугах перед революцией.

— ...Однажды я спросил ротмистра: «Вы теперь несколько глубже узнали коммунистов. Скажите мне, у кого выше уровень политического развития — у коммунистов или у национал-социалистов?» И знаешь ли, что он мне ответил? «Как можно делать такое сравнение? Ведь национал-социалисты вообще политически неразвиты». Хорошо, не правда ли?! И все же, когда его освобождали, он нас предал.

Теперь, когда Крейбель постоянно находится среди людей, у него часто появляется потребность быть одному. Бесконечные разговоры, хождение взад и вперед, постоянная суета вызывают у него головную боль. В первый день он с радостью окунулся в общий шум и сумятицу, но теперь это ему уже в тягость.

Он часто старается отделаться от товарищей, забивается в какой-нибудь угол и мечтает. Он решает, что если его освободят, то он пойдет один

пешком через Везерские горы или Гарц, целыми днями будет бродить по лесам. Ему надо забыть! Забыть и чтобы ничто, никогда не напоминало об этом!..

В углу, у окна, вокруг Крейбеля собралось восемь товарищей. Среди них комсомолец Вальтер Кернинг, который все еще жалуется на боль в ребрах, — его три ночи подряд избивали в подвале, — бледный Генрих Эльгенхаген, с постоянно красными, будто от слез, глазами, единственный в камере заключенный, который получал ежедневно по четверти литра молока, потому что у него желудок изранен ржавыми гвоздями, которые он глотал с целью самоубийства. Тут же Отто Зибель и Вельзен. Сегодня Крейбель будет читать в кружке об истории братской русской коммунистической партии...

Кессельклейн дежурит у двери. Двое других товарищей стараются отвлечь внимание остальных от маленькой группы.

Крейбель взволнован. Он долго колебался, прежде чем принял решение, ибо знал, что его ожидает, если нацисты пронюхают о кружке. Но что подумают о нем товарищи, если он испугается и отступит перед трудностями? Нет, он не должен проявить себя трусом. А как бы поступил на его месте Торстен? Он, конечно, рад был бы такой возможности, лишь бы заняться политической учебой коммунистов, Здесь, в тюрьме, от товарищей не скрыться. Вот на воле, если его отпустят, — совсем другое дело, там он может вообще не существовать для них.

— Товарищи, — шепотом произносит Крейбель, — поговорим о рабочем движении; начнем с истории развития русского пролетариата, возникновения его партий, теорий и революций. Но прежде мне хотелось бы поведать вам об одном небольшом приключении.

Некоторые заключенные, занятые шахматной игрой или картами, поглядывают изредка на маленькую группу. Они видят в ней всегда одних и тех же, но делают вид, будто ничего не замечают. Чаще других на собравшихся смотрит Шнееман, и если кружок в сборе — он обычно, как челнок, снует по камере.

— Произошло это несколько лет назад, — начинает Крейбель, — я работал смазчиком на теплоходе «Барбара». Мы совершали рейс по Средиземному морю с заходом в Испанию, Италию и Северную Африку. Как-то в воскресный день мы прибыли в Ливорнский порт. Сейчас я точно не припомню, случилось ли то в мае или в июле, во всяком случае, стоял чудесный жаркий летний день. Небо было ясным и безоблачным. И солнце своими чудодейственными лучами разрисовало серые каменные громады города необычайными волшебными красками. «Барбара», как вам,

вероятно, известно, — винтовое судно; к тому же был воскресный день, и на набережной толпились сотни людей, которые с любопытством разглядывали наш корабль. Мы не подошли к самой пристани, а бросили якорь в середине гавани.

Матросы спустили шлюпку и, голые, резвились в воде. Было великолепно. Мы заплывали далеко, отваживались даже до стен набережной, где перебрасывались шутками с празднично одетыми ливорнскими горожанами. Среди публики находилась стайка одетых в пестрые летние платья девушек, на головах которых красовались кокетливые шляпки. Когда мы подплыли совсем близко к ним, они крикнули нам что-то, однако мы их не поняли. Боцман перевел сказанное. Они просили разрешения осмотреть корабль...

Товарищи удивленно переглядываются. Вальтер Кернинг расплывается в улыбке. Вельзен в растерянности смотрит на Крейбеля. Тот, видя вокруг удивленные лица, только произносит:

— Слушайте внимательно! — и продолжает: — Итак, они пришли на корабль. Боцман получил на это разрешение капитана. Наш старик капитан был пуританин до мозга костей, он не пил спиртного, с утра до вечера бранил матросов за их распутную жизнь и усердно молился богу. Облачившись в парадный мундир, капитан встречал дам у трапа. Восемнадцать веселых юных созданий, звонко смеясь, взбирались друг за другом по трапу, от них не отставала пожилая почтенная дама.

Нам тоже хотелось поглядеть на гостей, и мы осторожно вскарабкались на судно по веревочной лестнице, которую еще до купания спустили с носовой части. Когда первый из нас поднялся на палубу, посетительницы оказались как раз там. Одна из девиц, увидев совершенно голого мужчину, громко завизжала. Красный, как рак, капитан кинулся к нам и учинил страшный скандал. Но нам необходимо было попасть на корабль. Дамы стыдливо отвернулись, и мы, мокрые, голые, прошмыгнули в наш кубрик.

Старик долго не мог успокоиться, возмущенный нашим безнравственным поступком, он то и дело извинялся перед девушками за наше поведение.

Мы оделись, а гости все еще осматривали наше судно. Надо признаться, это были чертовски милые девицы. Уже один их вид радовал глаз. Их юбки весело развевались на ветру, когда они поднимались на капитанский мостик.

Девушки проходили мимо камбуза, тут внезапно появился наш кок, старый, косолапый, пренеприятный тип, он поздоровался с ними, пожал каждой руку и тотчас принялся любезничать, коверкая итальянские слова.

Капитан и старший офицер буквально остолбенели. Откуда этот малый знает дам? Но выяснять было некогда — предстояло еще показать гостям машинное отделение. В заключение осмотра дамам предложили по бокалу вина и только тогда распрощались с ними.

Наш старик был прекрасно воспитан. Каждой молодой особе он пожал руку, а почтенной матроне, как истый джентльмен, даже поцеловал. Кок, глядя на это, укоризненно покачивал головой.

Под дружный смех и радостные восклицания боцман отвез девушек на берег.

Старик тотчас накинулся на кока и принялся выпрашивать, откуда тот знает гостей.

— Гм, и вы, капитан, не знаете, кто они?

— Ну, наверное, девицы из какого-нибудь пансиона! — сердито ответил капитан.

— Совершенно верно: девицы из «Пансиона синьорины Ирэны», известного всему городу публичного дома на Виа-дель-Порто-Веччио. Пожилая дама — знаменитая содержательница борделя собственной персоной.

Капитан побелел, как полотно, и остекленелыми глазами уставился на довольного, злорадно ухмыляющегося кока...

— Здорово! — смеясь, восклицает Энгельхаген. — Я с самого начала так и предполагал.

— А вечером вся команда, включая капитана, встретилась в борделе синьорины Ирэны. Так? — допытывается Кернинг.

— Рассказ действительно очень любопытный, но, может, ты нам объяснишь, какое отношение он имеет к...

— Охотно объясню, — прерывает его Крейбель, — Вы прослушали сейчас небольшую историю, и я прошу вас по возможности запомнить ее. Если у надзирателей возникнет подозрение, будто мы здесь занимаемся политикой, и будут кого-нибудь из нас или каждого по очереди выпрашивать, о чем я вам тут нашепывал, то все расскажут об этом ливорнском приключении.

Товарищи громко смеются в ответ.

— Здорово!

— Вот это правильно!

— Вальтер, дружище, отлично придумал! Превосходно! И как мы

раньше не догадались?

— А теперь поработаем!

— Погодите! — кричит Кернинг. — Сначала расскажи, нанесли ли моряки ответный визит?

Крейбель смеется вместе с остальными.

— Об этом я поведаю тебе одному позже.

И Вальтер Крейбель начинает рассказ о народническом движении в России конца прошлого столетия.

Утром во время раздачи кофе кальфактор шепчет одному из заключенных, что товарищ Гарри Ипус приговорен к смертной казни. Об этом говорят за столом во время завтрака. Многие знают товарища Гарри, — он был работником нелегального Союза красных фронтовиков.

— А ведь тогда даже никого не убили.

— При столкновении на Хольстенштрассе, кажется, все-таки погиб один наци.

— Ну что ты! Трое из наших товарищей и двое наци получили ножевые раны, но тогда на это никто и внимания не обратил.

— И несмотря на это — смертный приговор. Вот это да...

— Гарри такой веселый парень. Я помню, как во время поездки на пароходе в Цолленшпикер...

Но рассказчик не договорил. Все вскакивают. Сидящего за первым столом Фрица Янке вырвало, и он бьется головой о свою кружку. Горячий кофе льется на грудь и колени.

Крейбель вместе с другими помогает ему добраться до соломенного тюфяка. Янке лежит неподвижно, глядя перед собой широко открытыми, ничего не видящими глазами.

— Я уж несколько раз говорил, чтоб о таких вещах разговоров не было, — шепчет Вельзен товарищам. — Ведь вы все знаете, что его ожидает!

Товарищи возвращаются на места и молча, с трудом проглатывают свой хлеб. Некоторые уже споласкивают под краном миски. Все украдкой бросают на больного товарища беспокойные взгляды.

— Что это Янке такой чувствительный? — тихо спрашивает Крейбель у Вельзена.

— Ничего удивительного. Он тоже... кандидат в висельники.

— Разве? За что?

— Его обвиняют в убийстве, — шепчет Вельзен. — Ты помнишь столкновение на Готенштрассе в прошлом году? Был убит один штурмовик и трое наших тяжело ранены, — один из них Янке. Он пять месяцев пролежал с тяжелой раной в груди в Ломюленской больнице. И теперь его обвиняют в убийстве, — считают, что это его выстрел был смертельным.

— Он сознался?

— Нет. Но так утверждают другие обвиняемые.

— Как же можно, чтобы они давали такое показание?

— Тебе ли спрашивать? Ведь известно, как их допрашивали. Каждую ночь. Они уже не узнавали даже друг друга, так их отделали... А уж нашему Фрицу снимут голову, можно почти наверняка сказать.

— И он об этом знает?

— Ну, конечно!

Вскоре происшествие забыто. Товарищи ходят взад и вперед по камере, разговаривают, смеются, дразнят друг друга. Играют в шахматы и в шестьдесят шесть. Долговязый штурмовик Кёлер во второй раз перечитывает «Лихтенштейна» Гауффа — единственную книгу в камере. Один из заключенных тайком принес ее с собой из следственной тюрьмы. Молодой, всегда веселый комсомолец Вальтер Кернинг сидит у окна; он смотрит через дырочку в матовом стекле на крыши домов Фульсбюттеля и задумчиво напевает: «Солнце для нас не заходит...»

Крейбель украдкой поглядывает на Фрица Янке, который, все еще лежа на тюфяке, молча наблюдает за товарищами. Тяжелое ранение в грудь, долгое одиночное заключение, ночные истязания состарили двадцатипятилетнего человека. Посеребрили темные волосы на висках. Глаза будто постоянно чего-то ищут, всегда широко раскрыты, полны ужаса и как-то жутко неподвижны. Он вообще мало говорит, а иногда по целым дням молчит.

Но Вельзен рассказывает, что бывают дни, когда он весел и беспечен, как никто. Он хороший рассказчик, страстный шахматист и умеет подбадривать товарищей.

Крейбель смотрит на его бледное, с зеленоватым оттенком лицо. Он ужасно исхудал — кожа да кости. Бескровные, как будто высохшие губы. Под глазами широкие темные тени.

Крейбель вдруг невольно вздрагивает. Янке заметил, что его рассматривают, и манит Вальтера. Крейбель колеблется, но Янке улыбается

и зовет еще раз. Крейбель медленно подходит к нему.

— Товарищ Крейбель, я, правда, не член компартии, но я неплохой товарищ. Как жаль, что вы меня не принимаете, когда ты что-то рассказываешь товарищам.

— Товарищ Янке, теперь ты всегда будешь вместе с нами.

— Спасибо! Ты был когда-нибудь в Советском Союзе?

— Да, в прошлом году я три месяца путешествовал по Украине, Донбассу и Кавказу.

— Расскажи мне, пожалуйста, обо всем, что ты там видел. Съездить в Страну Советов — было моим страстным желанием. Да только ничего из этого не вышло... Сядь сюда, ко мне поближе. Расскажи о рабочих Донбасса, о бакинских товарищах. Пожалуйста!

Крейбель подсаживается к нему. Ему хочется обнять Янке, но как-то неловко. Он рассказывает о гигантской плотине на Днепре, о новом городе Днепрострое, о металлургических заводах в городе Сталино, о рабочих, их клубах и театрах. Он пересказывает слышанные от тамошних товарищей эпизоды гражданской войны и не умалчивает о трудностях, вызванных невероятными темпами социалистического строительства.

Фриц Янке внимательно слушает. Большие глаза устремлены вдаль, будто он воочию видит все, что слышит.

— Добыча нефти в Баку растет не по дням, а по часам. Бакинские нефтяники — молодцы! Когда в Москве, Петрограде и в большинстве других городов Октябрьская революция уже победила, на Кавказе еще свирепствовала кровопролитная национальная война. На Кавказе много народностей, и при царизме их натравливали друг на друга, чтобы легче было держать в подчинении. Азербайджанцы убивали тюрков, грузины — армян, и наоборот. Одно время власть захватили меньшевики, которые вместе с англичанами, турками и белогвардейцами боролись против революционных рабочих. Они выдали белым двадцать шесть бакинских комиссаров, и их расстреляли. После долгих боев, стоивших огромных жертв, бакинские рабочие захватили власть в свои руки. Однако во время гражданской войны нефтяные промыслы были почти полностью разрушены. Но рабочие поняли, что Россия нуждается в масле и горючем, и пятилетний план был выполнен за два с половиной года. Теперь в Баку добыча нефти гораздо выше, чем была до войны. Рабочие живут в социалистическом городе Арменикенде, расположенном на плоской возвышенности над Баку, в красивых новых домах. Братоубийственная национальная вражда между отдельными народностями прекратилась.

Тюрки, русские, грузины и армяне мирно уживаются друг с другом и совместно строят социалистическое общество. Молодые рабочие учатся в высших школах и техникумах. Это будущие строители социализма. Роскошные виллы, некогда принадлежавшие нефтяным магнатам, превращены в рабочие дома отдыха...

Крейбель умолк. Он смотрит в глаза товарищу и не может больше говорить. Но тот хватает его за руку и, сжимая ее, шепчет:

— Рассказывай дальше!

Воскресенье. День свиданий. Шесть товарищей из общей камеры ожидают встречи. Крейбель тоже наконец повидается с женой. После шести месяцев ему разрешено говорить с ней несколько минут. Всего несколько минут! Нужно заранее обдумать все вопросы. Крейбель уже с утра возбужденно ходит по камере.

Спасла ли она самые важные книги? Он успел заранее унести из дома все, за исключением библиотеки. Знает ли она что-нибудь о подпольной работе?.. Как работает уличная ячейка?.. Принесет ли она с собой малыша?.. Нужно точно рассказать, какое заявление надо подать в гестапо. Пусть не робеет и не позволяет себя запугивать. Белье... Пальто пусть тоже придет на всякий случай, — на случай, если его выпустят... Ну, и потом — больше писать. Писать подробнее о всяких мелочах жизни. Так хочется, хотя бы мысленно, жить с ними!.. Изменилась ли она?..

Сегодня особенно тщательно бреются и причесываются. Чистят тюремную одежду, наводят блеск на сапоги, приводят в порядок ногти. Словом, одеты с иголочки.

Ионни Штювен в возбужденном состоянии — он ожидает невесту. В окружении нескольких товарищей он ходит взад и вперед по камере и без умолку болтает.

У Ганнеса Кольцена тоже свидание. Его лысый, полированный череп блестит, словно смазанный жиром. Он не производит впечатления человека, радующегося свиданию с женой. Кольцен робко бегаёт один по камере, опустив вниз голову, и искоса бросает мрачные взгляды на громко смеющихся товарищей. Его душат ярость и отчаяние от сознания своего бессилия. Выбраться б отсюда! Выбраться! Это его единственная мысль. Другие, по-видимому, могут переносить такую жизнь, а он не может, он не рожден мучеником, он хочет вырваться отсюда. Но как? Как?..

Ганнес Кольцен кусает ногти. А если б она пошла к Кауфману?.. Писать прошения бессмысленно. Нужно пойти самой, да еще и не один раз. Ну, и в

ратуше пороги обивать надо. День за днем. Да хорошо бы и ребят прихватить... И почему он не остался в стороне? Почему именно ему надо было распространять газету, когда есть так много молодых товарищей, которые еще не обзавелись семьями? Им гораздо легче отбыть заключение. Пусть еще раз попробуют к нему сунуться, — он им покажет!..

И Ганиесом Кольценом овладевают ярость и ненависть. Но потом на память ему приходят товарищи, которые были не только посажены в тюрьму, где их жестоко истязали, но и убиты, зверски убиты; у них тоже были жены, дети: они никогда не ныли, не проклинали свою судьбу, не раскаивались в своих поступках. Ганнес Кольцен совсем из другой породы. Он не верит тем, кто за партию сознательно и гордо идет на смерть. Он считает таких людей лицемерами и лжецами, обманывающими самих себя, которые погибают ради красивого жеста: «Рот фронт!» — и поднятый вверх сжатый кулак; на самом же деле им выть хочется от отчаяния и страха, но они, бледные, с пением «Интернационала» поднимаются на эшафот. Кольцен не желает лицемерить и лгать, он сыт по горло фашистским террором, с него довольно. Только бы вырваться из этих стен... Да, ей необходимо лично обратиться к Кауфману. Одновременно он подаст в гестапо прошение о повторном допросе. Пусть его спросят — он все скажет. Они должны знать его теперешний образ мыслей.

Первым вызывают Ионни Штювена.

— Чисто помылся? — спрашивает дежурный надзиратель, внимательно осматривая его. — Хорошо выбрит? А то женщины подумают, что здесь не концлагерь, а цыганский табор.

Ионни Штювен даже не отвечает. Дежурный обращается к Вельзену:

— Староста по камере, вы отвечаете за то, чтоб заключенные, имеющие свидание, были хорошо вымыты и побриты и чтобы обувь была как следует вычищена. В прошлое воскресенье какой-то скот вышел к своей жене в нечищенных ботинках. У нас здесь порядок и чистота, и кто этого не усвоил, тому мы это быстро привьем!

Двадцать минут спустя Штювен возвращается, нагруженный апельсинами, яблоками и шоколадом.

— Вот, Натан, дели на всех!

С этими словами он вываливает все на стол.

— А себе ничего не оставишь? — спрашивает Вельзен.

— Как же! Мне мою долю, как и всем.

Потом, обернувшись к товарищам:

— Караульный сделал только дурацкие глаза, когда я ее так сжал, что у нее дыхание сперло!

Они смеются и спрашивают о подробностях.

Вторым вызывают Крейбеля.

— Идите вниз и доложите о себе дежурному в центральной.

Крейбель бежит по лестнице вниз. Еще несколько минут — и он ее увидит. Как она будет себя с ним держать? По-сумасшедшему колотится сердце. Он должен глубоко-глубоко вдохнуть воздух.

— Вы кто такой? — набрасывается на него дежурный в центральной. — Крейбель? Вас еще не звали. Встаньте там у стены. Возле лестницы. Лицом к стене.

Крейбель стоит у лестницы, ведущей в подвал, Внизу в подвале шум. Он прислушивается и отчетливо слышит голос Хармса:

— Так парень взял да и просто-напросто вырвал себе волосы?

— Так точно, господин штурмфюрер!

Штурмфюрер? Хармс получил повышение? Значит, они действительно отстранили Дузеншена? И Крейбель снова прислушивается. Он слышит удары и приглушенные крики. Такое впечатление, будто заключенный пытается защищаться. Дикий топот. Пронзительные крики, которые сейчас же заглушаются. Наконец они выходят из камеры. Стоят в подвале у лестницы.

— Ты ведь ему говорил, что хохолок должен остаться? — спрашивает Хармс.

— Ну, конечно.

— Когда же это он вырвал волосы?

— Я заметил это только сегодня утром. Тоже надо иметь крепкие нервы, чтобы вырвать клочок волос из собственной головы.

— Его зовут Леви?

— Так точно.

— Мы еще особо займемся этой сволочью. И если он посмеет защищаться, пристрелим на месте.

Они поднимаются по лестнице и видят стоящего здесь Крейбеля. Хармс поднимает брови и сердито морщит лоб.

— Кто тебя сюда поставил?

— Дежурный.

— Та-ак! — рычит Хармс. — Не мог лучшего места выбрать.

Оба медленно направляются в центральную. Крейбель вспоминает разговоры товарищей по камере. Некоторые утверждают, что Хармс не избивает. С тех пор как он замещает Дузеншена, в лагере стало тихо. Другие же считают, что это комендант лагеря строго запретил избиения.

Вызывают Крейбеля.

— Живо! — кричит дежурный. — Иди сюда!

Крейбель бросается к нему. Там уже стоят друг за другом трое заключенных. Один из них Ганнес Кольцен.

— Становись сзади! — кричит караульный Крейбелю. — Ну! Живо! Или хочешь коленкой под задницу получить?

Крейбель становится последним.

— Шагом... марш!

Они идут по коридору. Отпирается большая железная решетка. Снова длинный пустой коридор. В самом конце его расположились караульные.

— Стой!

Харден по списку читает имена:

— Кристоф Кох!

— Здесь!

— Вальтер Крейбель!

— Здесь!

— Ганс Хюльзенбек!

— Здесь!

— Иоганн Кольцен!

— Здесь!

— Ступайте туда, в комнату.

Четверо заключенных входят в пустую комнату, в которой стоит лишь несколько стульев. За ними следуют два эсэсовца и останавливаются у двери.

Хармс идет в другое помещение, где ждут женщины.

— Прошу вас пройти, сударыни. Не пытайтесь что-нибудь потихоньку передать вашим близким. Этим вы им только повредите.

Пять женщин медленно идут через приемную. Одна из них не переставая плачет и вытирает глаза. Старая, дряхлая женщина идет, опираясь на более

молодую.

— Пройдите, пожалуйста, туда, в следующую дверь.

Быстрый взгляд, и Крейбель видит, что последней входит его жена... Ну да, она все такая же. Почему бы она должна была измениться? Чуть широкий подбородок, маленький рот, светлые миндалевидные глаза и черные блестящие волосы. Ему вдруг кажется, что он ее только вчера видел. Она подходит к мужу, не сводя с него взгляда. Они протягивают друг другу руки.

— Здравствуй, Вальтер!

— Здравствуй, Ильза!

— Теперь тебе стало лучше, не правда ли?

— Да. Как малыш?

— Он все благополучно перенес и уже здоров.

Крейбель смотрит на другие пары в комнате. Женщины плачут, без конца обнимая мужей, и не могут говорить от слез. Старая женщина спрашивает юношу, который крепко держит за руку стоящую тут же жену:

— Они тебя тоже били, мой мальчик?

Заклоченный смеется и громко произносит:

— На это, мама, я не могу тебе ответить.

Старая женщина с ненавистью смотрит на эсэсовцев, которые стоят у дверей и избегают ее взгляда.

— Мы с тобой не виделись столько месяцев, а ты смотришь на других.

— Да, да... — бормочет Крейбель и глядит на жену, в глазах которой сверкает подозрительная влага, — Только не вздумай плакать.

— Нет, — говорит она, улыбаясь.

— Ну, как вообще у нас дома? Как ты сводить концы с концами? Что делают друзья? Ты ничего не рассказываешь.

— Я так рада, что снова тебя вижу... здоровым! — Она понижает голос. — Рассказывают потрясающие вещи. Действительно, было так ужасно?

— Ты видишь, я жив и даже здоров. Все проходит. Да и не так уж страшно было. Удалось ли тебе спасти хоть часть книг?

— Нет, они все взяли, и не только политическую литературу, а все без исключения.

Крейбель уставился в пространство.

Они унесли все книги... Он так гордился своей библиотекой! Сколько прекрасных часов было связано с этими книгами! Он собирал их долгие годы. И они унесли, все унесли!..

Крейбель смотрит на Ганнеса Кольцена и его жену, стоящих у окошка. Маленькая женщина, истощенная работой и озлобленная. Она не плачет, а говорит, говорит без умолку. Он только кивает.

— Жалко книг, Вальтер, но это ведь не самое худшее. Самое главное, что мы все живы и здоровы. Не надо так огорчаться.

— Я вовсе не огорчен, я так счастлив, что вижу тебя. Были моменты, когда я терял уже надежду увидеть тебя когда-нибудь.

— Значит, было?..

Жена смотрит на него полными слез глазами. Проклятье! Он все-таки сказал больше, чем следовало. В смущении опускает он руку на плечо жены и, видя, что она вновь улыбается, нежно гладит ее по лицу.

— Видишь ли, такие настроения иногда находят. Ну, а теперь... теперь мне, в общем, хорошо, и ты больше не беспокойся.

— Господа, свидание кончается!

— Ах, господин дежурный, уже конец? — жалобно говорит одна из женщин. — Разве прошло десять минут?

— Я исполняю данное мне распоряжение. — Караульный пожимает плечами и задумчиво потирает руки.

— Я тебе принесла кое-какую мелочь. К сожалению, лучшее пришлось оставить там, в контроле.

Крейбель берет маленький пакетик.

— Итак, господа, пора!

Слезы льются ручьями. Объятия и поцелуи. Поцелуи, смешанные со слезами.

Крейбель протягивает жене руку.

— Может быть, снова — через четыре недели.

— Да.

Крейбель видит, каких усилий стоит ей держать себя в руках, быть спокойной и не разрыдаться. Он обнимает ее и прижимает к себе.

— Будь молодцом и не падай духом.

— Через четыре недели я снова приду!

— Привет друзьям! Всем привет!

Четверо заключенных выстраиваются в коридоре. Их ведут обратно в тюрьму, без громкой команды, без брани.

Только после того как за ними закрылась железная решетка, женщинам разрешают выйти из комнаты. Ординарец-эсэсовец провожает их через тюремный двор к выходу...

Каждый день приводят новых арестантов. Каждый день переводят товарищей в дом предварительного заключения. Иногда также заходит «ангел-избавитель» и приносит освобождения.

Каждый день после обеда товарищи собираются в углу у окна. Крейбель рассказывает о первых съездах русской социал-демократии, о теоретических разногласиях, о расколе. Рассказывает об исторической роли Ленина, о первых массовых выступлениях русского рабочего класса и о революции 1905 года.

Все опаснее становится работать в кружке. Среди вновь прибывающих в основном попадают люди неизвестные, очень часто члены национал-социалистской партии и штурмовики, провинившиеся в чем-нибудь; уголовников-рецидивистов тоже сажают сюда как антиобщественный элемент. Политические воспринимают их общество как болезненный нарыв. Крейбель с удовольствием прервал бы занятия. Риск становится слишком велик. Но товарищи настаивают и даже слышать не хотят о прекращении курса.

Крейбелю тяжело приходится в вечерние часы. Уголовники вносят в тихие вечерние беседы новый тон. Они часто до поздней ночи рассказывают сальные анекдоты и непристойности. Крейбель в такие ночи не может уснуть.

Но вот однажды в это печальное арестантское прозябание ворвалась новость, которая сразу взбудоражила всех и вселила в каждого новые надежды.

Подходит кальфактор и тихонько стучит.

Вельзен призывает к тишине и слушает у двери.

— Натан!

— Да! Что тебе?

— Послушай, совсем невероятная вещь: в Париже и в Австрии революция!

— Ну, что за вздор, Эрни!

— Нет, серьезно! В Вене отчаянная стрельба. Сотни убитых. Рабочие захватили целые кварталы.

— Ну, а... а австрийская социал-демократия?

— Она так — ни то ни се. Шуцбундовцы сделали дело.

— Я этому не верю.

— Не болтай глупостей! Во всех газетах только об этом и говорят. Если удастся, я утащу одну из караульной и просуну вам.

— Да, пожалуйста, только не забудь!

Вельзен задумчиво отходит от двери. Он все еще не верит тому, что услышал. Революция в Париже и в Австрии? Что же в самом деле происходит на белом свете? События совершаются быстрее, чем можно было ожидать. И как раз в Австрии. Социал-демократический шуцбунд решился на вооруженное восстание? В чем тут дело? Что из этого может выйти?

Он поворачивается к стоящим вокруг него товарищам, на лицах которых также написан вопрос.

— Послушайте! То, что сейчас рассказал Эрни, так необычайно, что даже не верится! Как будто в Австрии вспыхнула революция. Будто идут ожесточенные бои. Насчитываются уже сотни убитых. И в Париже тоже все вверх дном.

На мгновение у всех захватило дыхание. Потом вдруг прорвалось: взрыв радости, вопросы, предсказания, надежды — все смешалось и вихрем пронеслось по камере.

— Если уж так далеко зашло, должно и сюда перекинуться.

— Теперь все побоку! Нужно объявить забастовку, чтобы парализовать хозяйство. Германские рабочие не должны оставить в беде венских братьев.

— Если этого не случится, то дело дрянь. Ты думаешь, что остальные государства будут спокойно смотреть, если в Австрии вспыхнет рабочая революция? От этого теперь все зависит.

— Если все так, как говорит Натан, то рабочие повсюду зашевелиятся.

— Если в Австрии победят рабочие, Муссолини перейдет границу. Он только и выжидает подходящего случая.

— Ну, мой милый, и австрийские рабочие, и рабочие других стран сумеют этому помешать.

— Сотни убитых, говоришь? Вот, черт возьми, как сразу здорово схватились! Кто бы мог подумать, что венцы на это способны?

Шахматы и карты заброшены. Даже угрюмый Кольцен ходит от одной группы к другой и внимательно прислушивается.

Длинный Кёлер, бывший фланговый четырнадцатого штурмового отряда, вставляет свое слово:

— В Австрии наци пойдут вместе с рабочими. Они тоже хотят прогнать Дольфуса.

— Вот неисправимый! — кричит ему Эльгенхаген. — И ты до сих пор еще веришь, что наци когда-нибудь пойдут вместе с рабочими? Ведь это же очередные полицейские отряды капитализма, которые выполняют требования предпринимателей, а не рабочих. Пойми же ты это наконец!

— Вот посмотришь! — упрямо настаивает нацист на своем. — События покажут.

Крейбель, Вельзен, Вальтер Кернинг и Шнееман собрались вместе. Шнееман, который вначале скорее испугался, чем обрадовался, теперь ораторствует:

— ...Венская социал-демократия — самая организованная в мире. Брошен клич — и рабочие покидают предприятия. Прозвучала команда — и рабочие во главе с шувбундовцами берутся за оружие. Нам, немцам, тоже по мешало бы у них кое-чему поучиться.

Он покровительственно трогает Вельзена за плечо.

— Но надо признать, товарищи, что австрийские пролетарии способны на это, ибо они едины и у них нет двух одинаково сильных партий, которые бы парализовали их действия.

— Об этом можно поспорить, — сердито говорит Вельзен. Он толкает в бок Крейбеля, который безучастно стоит рядом. — Мне кажется, Вальтер хочет сказать, что он думает по данному вопросу. Послушаем, товарищи.

Группа спорящих отходит подальше от двери и устраивается в углу, возле окон.

— Говорить об этом можно чертовски много, но, — Вальтер обращается теперь к Вельзену, — ведь мы почти ничего не знаем о происшедшем, стоит ли в подобном случае спорить всерьез?

— Несколько неудачное отступление, — издевается социал-демократ. — В Австрии наверняка идут бои, в это можно поверить. Венская социал-демократия не капитулирует перед фашизмом, ибо рабочие вооружены, уже много лет как вооружены.

— Знаешь, Шнееман, революцию не объявляют, ее совершают, и для этого недостаточно одного только оружия; рабочие должны быть политически подготовлены к ней; иными словами, нужна революционная идеология...

— Ты болтаешь всякое о революционной идеологии. Прекрасно. Примером самой революционной идеологии и является тот факт, что социал-демократия вооружила рабочих.

— Для какой цели, Шнееман?

— Для какой, спрашиваешь? Наверное, чтобы стрелять по воробьям.

— Я ставлю вопрос так: чтобы добиться господства пролетариата?

— Вот мы и опять вернулись к нашему извечному спору. Вы, коммунисты, можете без конца обсасывать эту тему. Я отвечу тебе так: для защиты прав рабочих.

— Я знаю, что ты называешь правами рабочих; стало быть, признаешь, что не для установления социалистической республики?

— Вы безнадежно глупы. Социалистическая республика. Разве, кроме нее, нет ничего, за что бы стоило бороться?

— Конечно, есть, но важно, чтобы рабочие знали конечную цель своей борьбы.

— Рабочий, который берется за оружие, наверняка знает, за что он борется.

— Ты прав, Шнееман, рабочий догадывается, если даже зачастую и интуитивно. А вожди австрийской социал-демократии? За что и за кого борются они?

— Ах, вот как? — саркастически ухмыляется Шнееман. — Стало быть, они замаскированные фашисты? Не так ли?

— Мне все это тоже начинает казаться смешным, — вмешивается в спор комсомолец Али. — Бабахнули раз из пистолета — революция готова. А прежняя политика не что иное, как сплошная капитуляция.

— Социал-демократия постоянно заявляла: если реакция навяжет нам вооруженную войну, мы не испугаемся.

— Возможно ли, Шнееман? — снова вступает в разговор Крейбель. — Вооруженная борьба с реакцией? После пятнадцатилетнего совместного правления? После всех ваших заверений, будто подобная политика и есть мирное вращение в социализм? Нет, Шнееман, вооруженное восстание рабочих — это радикальный отказ от социал-демократической политики. И как бы там ни было — восстание может вспыхнуть только против воли бюрократической верхушки социал-демократии.

— Венская социал-демократия, шуцбунд...

— Послушайте, — обрывает социал-демократа Вельзен, — мне эти

дебаты не нравятся. Мы ровно ничего не знаем и зря ссоримся. Австрийские рабочие взяли за оружие. И это прекрасно, так не будем никчемной дискуссией отравлять себе радость. Борются рабочие — вместе с ними боремся и мы. А уж потом будем выяснять, кто прав, кто виноват.

— Хорошо сказано, Натан, — поддерживает Вельзена Кернинг, — это мне по душе. Конец спорам.

К группе спорящих своей раскачивающейся походкой приближается Кессельклеин. Он сияет.

— Послушай, Натан! Отто уже носки укладывает. Он думает, что сегодня ночью они придут нас всех освободить.

— Так скоро не выйдет, — смеясь, говорит Вельзен. — Но что делать, Гейнц, дух захватывает, когда слышишь подобные вещи!

Всех охватило страшное волнение и напряжение. Поело сигнала ко сну споры продолжают шепотом до поздней ночи. Каждому не терпится узнать дальнейшие новости. Строятся планы, как раздобыть газеты и новые сведения. Вальтер Кернинг объявляет, что он завтра утром спросит у Люринга, как дела в Австрии, даже рискуя заработать пощечину.

Шесть часов утра. В камере вспыхивает электрический свет. На дворе еще темная ночь. Маленький Зибель, как всегда, первый вскакивает со своего соломенного тюфяка и распахивает окна, которые на ночь должны закрываться. В камеру врывается холодный, морозный воздух.

Большинство не могут сегодня подняться сразу, потягиваются, зевают и снова потягиваются. До поздней ночи шептались и, конечно, не отдохнули. Каждый нехотя напяливает брюки и рубашку, берет таз для умывания и становится в очередь перед краном. Моются друг подле друга у длинной скамьи, на которую ставят тазы.

— Вставай! Вставай! Слезай с перины! — поднимает Вельзен тех, кто заспался.

— Хороша перина! — ворчит кто-то. — Солома так кололась и царапалась, точно живая.

— Зибель совсем спятил: ни свет ни заря окна открывает! Зуб на зуб не попадает.

Кессельклеин моет татуированные руки и бормочет:

— Как подумаешь, что, быть может, они сейчас палят по фашистам, а ты тут сидишь и покрываешься плесенью, — можно лопнуть от злости.

Никто не отвечает. Но каждый думает: «Австрия! Там идет борьба. Сегодня мы наверняка узнаем что-нибудь новое». Но никому не хочется

возобновлять с самого раннего утра вчерашние споры.

А Кессельклеин продолжает, ни к кому не обращаясь, разговаривать сам с собой:

— Вы можете мне поверить, что не за горами то время, когда и у нас то же будет. Германский пролетарий, в общем-то, шляпа, но все равно оно придет, все-таки придет. Чертовски медленно, но придет.

Эльгенхаген и Крейбель, моющиеся поблизости, поглядывают на моряка и смеются.

Столы и скамейки сдвигаются в одну сторону, к стене, дежурные по камере подметают, тащат ведра с водой и моют пол. Остальные складывают одеяла и приводят в порядок койки.

— Живо! Живо! — торопит Вельзен. — Скоро семь часов. Что это вы сегодня с места не двигаетесь?

Он сам принимается за дело, выжимает тряпку и вытирает насухо пол.

Без двух минут семь заключенные общей камеры № 2 выстроились для утренней переклички.

Они ждут до четверти восьмого. Дежурный надзиратель не приходит.

Ждут до восьми. Ни один дежурный не появляется. Тогда Вельзен велит разойтись.

— Что случилось? Почему никто из них не показывается? Почему не дают кофе?

Высказываются самые нелепые предположения.

— Это несомненно связано с австрийской революцией. Кто знает, что сейчас там, на воле, происходит?

— Я не поручусь за то, что наци уже не попрятались в кусты. Когда дело принимает серьезный оборот, они трусливы, как зайцы.

Вельзен напоминает, что ведь не первый раз дежурный заставляет так долго ждать себя. Но никто слышать об этом не хочет. Каждый убеждает себя, будто необычайная тишина в тюремном здании имеет особый смысл.

Возбуждение и волнение все усиливаются. Некоторые совсем расхрабрились. Они складывают в кучу свои вещи и в шутливом топе, за которым таится плохо скрытая надежда, говорят:

— Собирай вещи! Выходи получать оружие!

И вдруг все стихает. В коридоре слышится стук ведер. Приближаются шаги. Люринг открывает дверь.

По команде Вельзена заключенные поднимаются.

— Староста, вы отдали команду разойтись?

— Так точно, господин дежурный!

— Очень благоразумно с вашей стороны. Вольно! — Люринг оборачивается к кальфакторам, — Пошевеливайтесь! Скорее, скорее!

Крейбель незаметно шепчет кальфактору:

— Что это вы сегодня так поздно?

— Да караульные у радио сидели, — шепотом отвечает тот. — После кофе приготовиться к прогулке! Но не торопитесь, сначала спокойно поешьте.

— Слушаюсь, господин дежурный!

Люринг выходит из камеры. Оба кальфактора тащат ведра в соседнюю камеру.

— Черт возьми, точно его подменили! — восклицает кто-то с удивлением. — Сама любезность!

— Что сказал Тео? Почему они так поздно пришли сегодня?

— Караульные сидели у радио.

— Ага! По-видимому, дела не плохи. Иначе Люринг не был бы так чертовски приветлив.

— Ну как, Крейбель? — спрашивает сияющий Шнееман с подчеркнутой иронией, — Все еще колики в животе от политики?

— Не понимаю, — раздраженно отвечает Крейбель.

— Ты ведь не доверяешь венским рабочим!

— Не мели вздор!

— У тебя, вероятно, не укладывается в голове, как это рабочие без указаний Ленина и Сталина делают революцию? А?

— Скажи лучше, ты меня только дразнишь или скрываешь какое-то намерение за своими пустыми фразами?

— Ну, ну, не горячись!

Входит Люринг. Вельзен командует:

— В две колонны стройся! Шагом марш!

Они еще не успели выйти во двор, как Вальтер Кернинг выходит из шеренги и подходит к Люрингу.

— Господин дежурный, разрешите задать вопрос?

— Ну, в чем дело?

— Не можете ли вы сказать нам что-нибудь о положении в Австрии?

Люринг удивленно смотрит на молодого заключенного, который отвечает ему открытым простодушным взглядом.

Сначала он не знает, что ответить, но потом усмехается и спрашивает:

— А кто это вам рассказал про Австрию?

— Мы совершенно случайно узнали, господин дежурный.

— Ах, так! Случайно?.. Странно! Австрия — прискорбный случай. Немцы, которые убивают друг друга, как будто у нас мало врагов. Эти марксистские бонзы взваливают на себя все большую вину.

— Господин дежурный, а какую позицию занимают в Австрии национал-социалисты?

Люринг отвечает и Вельзену:

— Национал-социалисты в братоубийстве не участвуют.

Во дворе Люринг разговаривает с часовым, а заключенные свободно маршируют. Сегодня не надо ни бегать, ни приседать, ни прыгать.

На следующий день кальфактору удастся подбросить в камеру газету.

Как голодные волки на кусок мяса, так набрасываются на нее заключенные. Всем хочется читать. Кричат:

— Пусть Вельзен читает вслух!

Но те, что ухватили газету, не отдают ее. Первые строки выкрикиваются во всеуслышание:

— Уже свыше тысячи убитых! Шуцбундовцы заняли Фаворитен и Зиммеринг! Кровавый бой за Карл-Маркс-хоф!

— Кровопийцы! Проклятые негодяи! — Маленький Зибель судорожно вцепился в газету дрожащими руками, читает и ругается: — Вот скоты! Вы только послушайте, они стреляют из пушек по рабочим кварталам! Пушки на улицах Вены. Дальше уж ехать некуда!

— Товарищи! — сердито говорит кто-то. — Что это за манера? Побольше солидарности и чувства товарищества. Мы все хотим слушать. Читайте, пожалуйста, вслух!

— Да, да! Читайте вслух, читайте вслух!

— Пусть Вельзен читает.

Зибель со вздохом передает газету Вельзену. Тот садится за средний стол. Он читает очень тихо, но в камере такая тишина, что слышно каждое

слово.

«Двенадцатого февраля после полудня шуцбундовцы Маргаретена взяли за оружие. Они заняли Рейманхоф и начали обстреливать полицейских из установленных в окнах винтовок и пулеметов. Военные подкрепления были отброшены. Наконец войскам удалось взять штурмом всю эту гигантскую группу зданий. Но ценой огромных жертв, так как в проходах домов и на лестницах происходили ожесточенные рукопашные бои, дрались прикладами, револьверами, бросали ручные гранаты...»

— Проклятье! Их, значит, разбили!

— Тише!

— Заткнись!

— Читай дальше!.. Вельзен, читай дальше!

«...Мимо Либкнехтхофа, занятого вооруженными шуцбундовцами, промчался санитарный автомобиль. Рабочие пропустили его, думая, что он прибыл за ранеными. Но оттуда внезапно выскочили полицейские и открыли огонь. Ответный огонь шуцбундовцев вынудил полицейских отступить. В автомобиле был найден пулемет и множество патронов...»

— Вот это молодцы! Пулемет им, конечно, здорово пригодился! — крикнул кто-то с восторгом.

— Вот ведь сволочи! Полиция в санитарном автомобиле!

— Да помолчите же! Дайте ему дочитать!

— Ну, вот уж и слова нельзя сказать!..

«...Союзное правительство высылает против восставших шуцбундовцев бронированные автомобили и поезда. В Винерберге шуцбундовцев, занявших дома общин, обстреляли с бронированного поезда. Шуцбундовцы понесли большой урон. Правительство издало указ, в котором призывает войска со всей беспощадностью расправляться с мятежниками. Происходит усиленное стягивание военных сил к Вене...»

— Что-что?! А ну-ка, прочти это сообщение. Тут говорится, что социал-демократическое руководство союза печатников призывает своих членов к возобновлению работы.

— Враки! — кричит Шнееман. — Не поддавайтесь на удочку буржуазной прессы. Они ведь только хотят запутать рабочих.

— Конечно, им это только и нужно. Надо читать между строк, — соглашается кто-то. — Тут даже написано, что призывали ко всеобщей забастовке только коммунисты, а профсоюзы, как всегда, опасались увеличить хаос.

— Какая чушь! — возмущенно кричит Кессельклеин. — Они нас совсем за дураков считают. Там идет настоящая гражданская война, а они хотят нас уверить, будто рабочие даже не бастуют. Как можно писать что-либо подобное? Это не редактор, а коровье ботало.

— От этих профсоюзных бонз можно ждать чего угодно, — говорит Зибель. — Нет такой подлости, на какую бы они не были способны.

Крейбель отводит Вельзена в сторону.

— Замечаешь? Дело дрянь. Все идет так, как я тебе говорил. Пролетарии ударили, а бонзы тормозят и саботируют.

— Если бы можно было узнать подробнее!

Каждая даже маленькая заметка читается вслух, а потом газета переходит из рук в руки. Сообщения снова и снова перечитываются и обсуждаются.

Возбужденные споры наполняют камеру. Произносятся пылкие речи. Кессельклеин наступает на маленького Зибеля и называет его «балаболкой» и «генералом-канцеляристом».

Внезапно в камере появляется Люринг.

— Вы что, с ума сошли? Гвалт, как в еврейской школе. Вам, по-видимому, слишком хорошо живется! Еще раз такой шум подымете — так каждому пропишу в отдельности.

Он идет к двери, уже берется за ручку, но внезапно оборачивается и, издевательски скаля зубы, спрашивает:

— Уж не Австрия ли вам в голову ударила?

И довольный выходит из камеры.

Заклученные переглядываются: каждый старается прочесть ответ в лице другого. Все думают: дело что-то неладно. Но молчат.

На следующий день приводят новичка. Молодой металлист, которому вменяется в вину печатанье и распространение листовок. Он подтверждает невысказанные предположения: восстание венских рабочих подавлено.

В камеру пришла тишина. Умолкли громкие возбужденные споры. Шахматисты снова часами сидят друг против друга, уставившись на поля и фигуры. Фриц Янке, бледный, с неестественно огромными глазами, сидит весь день один у окна. Шнееман притих и стал серьезен. Он часто украдкой наблюдает за Крейбелем. Тот моложе его почти на двадцать лет, а как уверенно и безошибочно защищал он свою точку зрения на события! Неужели он окажется прав?

Кессельклейн и Штювен тоже приумолкли. Оба часами шагают по камере, не произнося ни слова. Кессельклейн время от времени с уважением поглядывает на «генерала-канцеляриста», который рассказывает нескольким молодым коммунистам о гамбургских вооруженных столкновениях в 1919 году.

Только Вальтер Кернинг жизнерадостен и весел, как всегда. Он сидит на своей конке, пришивает к куртке пуговицу и поет:

Солнце для нас не затмится...

Крейбель снова ведет кружок. Теперь и Фриц Янко принимает и нем участие, хотя он и не член партии. Крейбель рассказывает об уроках русской революции 1905 года и о Парижской коммуне.

— Главной ошибкой парижских коммунаров было то, что они, как говорит Маркс, вместо немедленного наступления на Версаль и окончательного уничтожения войск реакции ограничились обороной. И этой своей оборонительной тактикой они дали противнику время перестроиться, вызвать новые подкрепления из провинций и договориться с Пруссией. Ту же ошибку совершили и московские рабочие в тысяча девятьсот пятом году. Они организовали защиту рабочих предместий, вместо того чтобы сразу перейти в наступление, вмести замешательство в войска, перетянуть на сторону восставших рабочих колеблющихся солдат из казарм и, продвигаясь к центру Москвы, атаковать неприятеля.

Крейбель рассказывает, как Ленин и русские рабочие учились на ошибках Коммуны и революции 1905 года.

— Во время Октябрьской революции они уже не повторили этих ошибок. Петроградские рабочие не ограничились защитой города от подступавшей армии контрреволюционного генерала Юденича, а выступили навстречу и разбили его наголову у самых ворот тогдашнего Петрограда.

Крейбель заметил, что Шнееман постоянно посматривает в их сторону и даже несколько раз подходит ближе, но в нерешительности поворачивает обратно. И когда в конце концов Шнееман садится рядом с ними, Крейбель не так удивляется, как все остальные.

Шнееман смотрит на Крейбея, потом на товарищей, потом снова на Крейбея и тихонько, почти шепотом просит:

— Товарищи, у вас тут учеба, не так ли? Нельзя ли... Нельзя ли и мне принять в ней участие?

Все недоуменно переглядываются.

— Это, знаешь ли, собственно, для членов партии, — отвечает Вельзен.

Но встает Крейбель. Его глаза сияют.

— Товарищи, я считаю, что не может быть никаких сомнений.

— Ну, конечно! Пусть присоединяется. — Эльгенхаген отодвигает свою табуретку немного в сторону.

— Мы тебя, товарищ Шнееман, с удовольствием принимаем!

Кернинг вскакивает и приносит еще одну табуретку.

Освобождение

Снег растаял. Тюремный двор покрылся огромными лужами грязи. С моря с шумом налетает сильный, порывистый ветер, он свистит в телеграфных проводах, с треском обламывает сучки на голых деревьях, неистово проносится между домами. Как стремительные парусники, гонимые ветром, проплывают низко над землей клубящиеся серые тучи. Хлещут потоки дождя, и разгулявшийся ветер разметывает их по полям, разбивает о стены домов.

Суровы и мрачны дни, когда весна, проторя себе путь, прогоняет зиму.

В тюрьме тихо, как на корабле во время шторма. Во дворе ни живой души, кроме вооруженных часовых, шагающих взад и вперед вдоль стены с высоко поднятыми воротниками. Караульные сидят в своем помещении за стаканом горячего грога. Продрогшие одиночники жмутся по углам голых камер в том месте, где проходит тонкая труба отопления. Заключение в общих камерах молча и угрюмо бродят взад и вперед, дымя трубками и сигаретами. Некоторые лежат на нарах и следят за проносящимися клочками туч. Один непрерывно сам себе гадает на картах. Едва установив, что его выпустят еще на этой неделе, он тут же узнает, что из этого ничего не выйдет. В отчаянии он снова и снова раскладывает карты. Вальтер Кернинг бездумно напевает себе под нос: «Пусть даже брат родной предаст...» Но и он испуганно замолкает, когда Фред Кольберг, тучный портовый рабочий, мрачно рявкает:

— Перестань скулить!

В камере неприветливо и тоскливо. Кажется, будто серые, извергающие дождь тучи придавили людей, будто буря развеяла их жизнерадостность.

Крейбель сидит в конце среднего стола и перелистывает

«Лихтенштейна», — он хочет еще раз перечитать исповедь флейтиста фон Гардта, которая, если верить предисловию, так понравилась кайзеру Вильгельму. За его спиной ходят взад и вперед Вельзен и Шнееман. Когда они медленно проходят мимо, до него доносятся обрывки разговора. Говорит Вельзен:

— ...Материалистическое понимание истории вовсе не отрицает роли личности. Люди сами делают свою историю, говорит Маркс, но...

Крейбель читает о неудачной любви дочери флейтиста к блестящему юнкеру. Затем снова прислушивается к словам за спиной. Шнееман произносит каждое слово тихо, но убедительно:

— ...Нельзя исключить роль случая. Кто может сказать, как бы повернулось колесо истории, если бы, к примеру, битва под Садовой решилась в пользу австрийцев, если бы при Ватерлоо Наполеон победил Веллингтона, если бы немцы в битве на Марне...

Мрачно и беспокойно трется возле двери Ганнес Кольцен. За последние дни выпустили трех заключенных; среди них — Вальдемара Лозе с соседней койки, с которым он подружился. Других перевели в следственную тюрьму. Только он остался здесь. Только он не знает, предстоит ли ему суд или его скоро освободят. Лозе написал письмо. Он обставил это очень таинственно, и наверняка между его освобождением и этим письмом есть связь. Вот если бы догадаться, как нужно написать, чтобы выпустили! Не будь его жена такой растяпой... Обычно она ни на минуту не закрывает рот, но стоит ей очутиться перед начальством, как у нее отнимается язык и она молчит как рыба... Другие жены... да, другие умудряются как-то вытащить своих мужей на волю.

Крейбель отрывается от книги. Он видит, что Фриц Янке читает письма. Его глаза подолгу задерживаются на одной и той же странице, и Крейбелю кажется, будто он не читает, а грезит. Не только письма, — он тщательно рассматривает конверты, штемпеля, марки, надписи — буквально каждую букву.

К Крейбелю тихонько подходит Эрих Боргерс, наклоняется к нему и таинственным шепотом спрашивает:

— Можешь ли ты мне ответить на один вопрос, который я уже давно хочу задать кому-нибудь из ваших?

Крейбель отодвигает книгу в сторону. Боргерс — дрянной парень, объектом его мошенничества является мелкий люд. Как-то вечером он рассказывал кому-то из заключенных о некоторых своих проделках. Крейбелю об этом передали. С тех пор он презирает этого близорукого,

всегда бесшумнодвигающегося человека с острым носом и длинными, гладко причесанными волосами. Крейбель поворачивается к нему, смотрит в маленькие влажные, всегда немного прищуренные глаза и спрашивает:

— Ну, валяй, выкладывай! Что тебе надо?

— «Валяй», хорошо сказано, — хихикает тот и ещё ближе придвигается к Крейбелю, осторожно оглядываясь по сторонам. — Нас ведь никто не услышит?

— Разве то, что ты собираешься спросить, так опасно?

— Ш-ш... Ради бога, не так громко!

Крейбель теряет терпение:

— Или говори сейчас же, или оставь меня в покое!

— Что ты волнуешься? Вы, коммунисты, всегда хотите нас учить, а когда к вам подходишь с вопросом, вам не нравится.

— Ну, да уж спрашивай, — примирительным тоном говорит Крейбель.

— Дело, знаешь, вот в чем. — Боргерс еще ниже склоняется над ухом Крейбеля. — Вы ведь приносите себя в жертву ради коммунизма, не так ли? И многие при этом знают, что идут на верную смерть. Теперь я тебя хочу спросить по строжайшему секрету, почему еще ни один из вас не попытался Гитлера или Геринга... — и он шепчет чуть слышно: — ...просто пристрелить. Долой этих кровопийц! И была бы расчищена дорога коммунизму. Как ты думаешь?

Крейбель долго смотрит в маленькое птичье личико, в крошечные прищуренные глазки. «Будь начеку! — предостерегает его внутренний голос. — Берегись этого человека!» Крейбель чувствует теплое дыхание спрашивающего, который все еще стоит, наклонившись вплотную к его лицу. Он отстраняется несколько назад и спокойно отвечает, тихо, но не шепотом:

— О таких вещах я не разговариваю. Кроме того, коммунисты отрицают индивидуальный террор, — это ничего не изменит в политическом и экономическом господстве капиталистов.

— Но в России были ведь раньше покушения? И с течением времени удалось все перевернуть.

— Я еще раз повторяю, что не могу говорить об этом. Но и в России марксисты не принимали участия в организации террористических актов. Мы стремимся организовать массовую борьбу рабочего класса, а не единичные выступления.

— Да, но нельзя отрицать...

— Довольно! — прерывает его Крейбель, — Я не хочу больше ничего слышать на эту тему.

Боргерс тихо отходит. Крейбель смотрит ему вслед, не поворачивая головы. Отвратительный тин! Черт его знает, как он набрел на этот вопрос, какую цель он преследует, задавая его.

Боргерс подходит к дальнему столу и смотрит, как играют в шахматы. Теперь Крейбеля мучают угрызения совести. «Надо было поговорить с ним по-товарищески. Такие политически неразвитые люди иногда задают рискованные вопросы просто по незнанию и наивности. Возможно, у него не было никакой задней мысли, просто так взбрело в голову. Но осторожность с такими субъектами — никогда не повредит, в особенности в наше время, да еще в концентрационном лагере. Черт бы его побрал! Нужно было его еще решительнее оборвать. С таким уголовным сбродом незачем говорить в тюрьме о политике, — это просто самоубийство. Вот ювелирный вор в сборной камере в ратуше — тот был совсем молодец и вел себя солидарно. Как он говорил о Димитрове! Сердце радовалось. Он не был ни доносчиком, ни пронырой, ни трусом... А Боргерсу я не доверяю. Мелкие жулики — обыкновенно самые подлые...»

Все еще занятый своими мыслями, Крейбель снова слышит за спиной голос Натана:

— Если один раз пойти по этому пути, непременно попадешь во вражеский лагерь. Вспомни Чан Кай-ши. Он тоже...

Крейбель улыбается про себя. Они уже дошли до Чан Кай-ши. От Садовой и Ватерлоо через битву на Марне — к китайской революции... Интересно, что же, однако, ответил ему Натан на его теорию о роли случая? Но незаметно он снова погружается в чтение семейной идиллии кающегося флейтиста Гардта.

Незадолго до обеда в камеру входят Люринг и «ангел-избавитель» Харден.

Снова освобождение! Глаза заключенных полны ожидания. В каждом теплится надежда. Слышно неровное дыхание.

Харден закладывает за спину руку, в которой он держит записку об освобождении, и медленно выходит на середину камеры. Он останавливается перед Крейбелем:

— Ну, Крейбель, догадываешься?

Крейбель краснеет, как рак. Вот неожиданность! Это застигло его так внезапно. Он не может выговорить ни слова. Долгие месяцы, день за днем,

он все надеялся — и не сбывалось. А теперь, когда он уже потерял всякую надежду, вдруг... свободен! Он будет свободен! Все закружилось. Лицо пылает.

— Итак, собирайтесь: вы освобождены.

Стоящий у двери Люринг кричит Крейбелю:

— Вот уж действительно повезло тебе, парень! Поди, сам себе не веришь?

Эсэсовцы уходят.

Крейбель стоит несколько секунд, как пригвожденный к месту. Он все еще красен и не смеет взглянуть на товарищей: он может уйти домой, а они останутся здесь. Он, один из вожаков, свободен, а у них впереди суд, долгие годы тюрьмы и каторги, даже смерть, как у Фрица Янке. Он растерянно смотрит на всех. Некоторые подходят к нему, берут за руки, трясут, поздравляют.

— Ах, Вальтер, вот великолепно! Они тебя освобождают. Себе на шею.

— Это только потому, — замечает кто-то другой, — что ты был арестован еще при Шёнфельдере. Еще не успел провиниться перед Третьей империей.

— Превосходно! — Вельзен дружески хлопает Крейбеля по спине и шепчет так, что могут слышать лишь Крейбель и Шнееман: — Коммунист на воле полезнее, чем в тюрьме.

— Вальтер! — взволнованно кричит маленький лысый Зибель. — Я соберу твои вещи.

И тотчас же принимается за дело. Выдвигает бумажную картонку, укладывает вещи Крейбеля и вынимает из его ящика бритвенные принадлежности, зубную щетку и пасту.

— Все... все, что у меня есть, останется в камере.

Это первые слова, которые Крейбелю удастся выдать из себя.

Эльгенхаген отводит его в сторону.

— Зайдешь к моей жене?

— Конечно, Генрих!

— Расскажи ей, что здесь делается, и скажи, что нужно предупредить Франца Вольфа. С ним — дело дрянь, Эрнст Дрезель все выложил. Вольфу нужно смыться. Запомнишь?

— Я-то запомню, но мне кажется, что это несколько щекотливое дело. На твою жену можно положиться?

— Ее тебе нечего бояться.

— Где живешь?

— Маршнерштрассе, семнадцать, второй этаж.

— Ладно!

Заключенные снова обступают Крейбеля и рассматривают его, будто видят впервые. Они видят его в последний раз. Еще несколько минут — и он уйдет. Закроются за ним ворота лагеря, и он очутится на воле, будет свободен. Будет свободно двигаться. Поедет домой, к своей жене... К своему ребенку. Свободен! Они смотрят на него тихими, грустными глазами.

— Как выйдешь, так поскорей сматывайся, чтоб они тебя снова не засадили, — советует Кессельклеин, опуская свою тяжелую руку на плечо Крейбеля.

— Только первое время береги себя, Вальтер! — Шнееман проталкивается к нему. — Одно неосторожное слово — и все муки начнутся сызнова.

Крейбель молча принимает все советы и поздравления. Он рассеянно улыбается. Он иначе представлял себе освобождение. Ему стыдно, словно он провинился перед товарищами. Он даже не замечает завистливых взглядов, которые на него бросает Ганнес Кольцен. Тот стоит один у окна, жадно обкусывает ногти и не отрываясь смотрит на Крейбеля. Но Крейбель встречает взгляд Фрица Янке, взгляд, полный горечи, и его сердце болезненно сжимается. Какие мысли мучают этого человека? Он идет на волю, а тот — на плаху. Перед ним жизнь, а перед тем — смерть. Нет, Крейбель иначе представлял себе свое освобождение, радостнее, легче.

— Ты, вероятно, совсем растерялся? — Вельзен подходит к нему. — Но ведь ты счастлив? Главное то, что вся мерзость уже позади, а остальное приложится.

— Ш-ш, Люринг идет!.. — кричит караулящий у двери Кернинг.

Товарищи суют Крейбелю в руки картонку, пододвигают к нему казенные вещи и еще раз протягивают руки.

— Товарищи! — У Крейбеля перехватывает дыхание. — Товарищи... все произошло так неожиданно... право, я еще не могу всего постичь... но вы понимаете, что я вам сказал бы, если бы можно было говорить в этих условиях.

Он ищет глазами Фрица Янке. Тот стоит в последнем ряду и смотрит на него через плечи товарищей.

Крейбелю хочется подойти к нему, обнять, но у него не хватает сил. Он видит желтоватое худое лицо с подергивающимися губами и, запинаясь, говорит:

— Товарищи... я... мы все... кто на свободе... вас никогда не забудем... никогда!

Люринг уже у двери. Отпирает.

— Готов?

— Так точно!

Крейбель поворачивается к заключенным и кричит:

— Будьте здоровы, товарищи! — и выходит из камеры.

— «Товарищи» можно было бы оставить при себе, — ворчит Люринг. — Спустись по лестнице и отметься в центральной.

Крейбель идет по коридору к лестнице. Люринг еще раз с насмешкой кричит ему вслед:

— До свиданья, «товарищ»! — и Крейбель слышит его смех.

В центральной дежурит Оттен. Он сидит за маленьким столом, на котором стоят телефон, чернильница, и на листе белой бумаги отмечает крестом фамилии.

— Ну, Крейбель, собираешься домой? — спрашивает он вполоборота.

— Так точно, господин дежурный!

— Встань туда, к стене... Нет, не надо лицом... Стой только смирно.

Крейбелю виден весь тюремный корпус. Три этажа: камера на камере. В первом этаже заключенные в серых балахонах красят стены. Потолки уже выбелены. Коридоры залиты побелкой, завалены мусором.

— Оттен, что с Крейбелем?

Крейбель смотрит вверх. Через перила второго отделения перегнулся Тейч.

— Освобождают, — отвечает Оттен, не поднимая глаз от бумаг.

— Освобождают? Это, наверное, ошибка. — Тейч в недоумении качает головой. — Освобождают? Ну, я думаю, мы его скоро опять здесь увидим.

— Вряд ли! — Оттен поворачивается на стуле, смотрит вверх на Тейча, потом на Крейбеля. — Но если случится — да хранит его бог.

Идет Нусбек. Он замечает Крейбеля и подходит к нему.

— Вас освобождают?

— Так точно!

— Это меня радует. Только теперь будьте благоразумны и не суйтесь больше в политику. Если вы сюда еще раз попадете, то наверняка не выйдете. Что собираетесь делать на воле?

— Я токарь. Думаю, работа скоро найдется.

— Ну, а если не так скоро, как вы надеетесь, то не надо пасовать перед трудностями. Национал-социалистское государство не допустит, чтобы хоть один его соотечественник погибал от голодной смерти.

Нусбек уходит вверх по лестнице в свое отделение. Из помещения комендатуры: выходит фельдшер. Отген отворяет большую решетчатую дверь. Бретшнейдер тихо спрашивает:

— Что с Крейбелем?

— Его освобождают.

Фельдшер медленно подходит к Крейбелю. В руке у него пузырек с желтоватой жидкостью.

— Итак, свободны?

— Так точно!

— Надеюсь, что здесь мы с вами больше не увидимся?

— Нет, господин фельдшер.

Бретшнейдер подходит совсем вплотную к Крейбелю и шепчет:

— Будь особенно осторожен в первые недели. За тобой будет усиленная слежка.

Крейбель быстро делает знак глазами и кивает.

Фельдшер задумчиво идет по коридору. «А я все еще арестант, — думает он. — Я не могу снять этот халат. И коричневая рубашка сидит на нас крепче чем на них арестантская куртка».

Спустя полчаса Вальтер Крейбель с тремя другими заключенными стоит перед дверью комендатуры. В камере хранения они сдали казенные вещи и получили свои. Сейчас предстоит выполнить последние формальности.

Ридель приносит Крейбелю вечное перо, которое у него отобрали, когда он сидел в одиночке, и при этом говорит, обращаясь ко всем:

— Можно не стоять навтыжку. Станьте вольно. И если трудно, прислонитесь к стене.

Но ни один из четырех не следует этому предложению.

Хармс выходит из комнаты и осматривает четырех заключенных,

стоящих в ожидании рядом со своими картонками. Он берет Крейбеля за плечо и спрашивает:

— Тебя ведь били, не правда ли?

— Нет, господин начальник!

— Но ведь тебя держали в темной?

— Нет, господин начальник!

Хармс, ухмыляясь, проходит в комнату коменданта и возвращается вместе с ним. Они шепчутся, и Хармс кивает в сторону Крейбеля. За зимние месяцы комендант совсем разжирел. Коричневая замшевая форма натянута на его могучее тело, как перчатка. На воротник ложится двойной подбородок и складки шеи.

— Ну, Крейбель, хочешь к маме?

— Так точно, господин комендант!

— Я охотно тебя освобождаю, но не хотел бы еще раз приветствовать здесь. Это будет для тебя очень плохо.

Крейбель ничего не отвечает. Он смотрит в полное самодовольное лицо и невольно вспоминает, как этот человек стоял с револьвером в руке тогда, когда его, Крейбеля, избивали. В то время у него еще была молодцеватая военная выправка.

— Советую тебе забыть то, что осталось позади. В этом заключается высшее искусство жизни — забыть все плохое и помнить только хорошее. Держи язык за зубами, мы шутить с собой не позволим. Это было испытание, а теперь ты должен принять решение. Помни всегда, что мы боремся за каждого соотечественника, даже и за тех, в отношении кого нам пришлось принять серьезные меры. Теперь ступай!

Харден провожает четырех освобожденных через тюремный двор. Комендант и штурмфюрер следуют за ним. Большие тяжелые ворота открываются.

Решение

Обливаясь потом, несется Крейбель вниз по Фульсбют тельскому шоссе. Дующий ему навстречу суровый мартовский ветер так набрасывается на деревья, что сухие ветки с треском ломаются и падают на землю. Крейбель не смотрит ни направо, ни налево, — он бежит вперед. Его гонит безумный страх; что, если все это лишь ошибка и они снова его вернут? С порога

домов и лавочек на него поглядывают женщины. Люди на улице оборачиваются ему вслед, — всякий знает, что он идет из концентрационного лагеря. Каждый день проходят здесь освобожденные со своими картонками. Крейбель ничего не замечает. Все плывет у него перед глазами. Им владеет лишь одна мысль: «Свободен! Спасен! Домой!»

У Альстерского шлюза он оборачивается на грязно-красные строения за высокой стеной, видит безобразную башню у входа в каторжную тюрьму, — в этой башне висит колокол с отвратительным, резким звуком. Он еще раз смотрит на гладкие стены тюрьмы с квадратными зарешеченными дырами. О, никогда больше! Никогда больше сюда не возвращаться!

Он свободно идет по улице. Может пойти, куда захочет. Жизнь снова приняла его в свои объятия. Вон трамвай... Еще несколько минут — и он будет дома. С женой, с ребенком! Он идет, шатаясь от головокружения.

Ну, а если действительно все это лишь ошибка? Если они уже гонятся за ним, чтобы вернуть? Если завтра его снова арестуют? Не лучше ли сразу перейти на нелегальное положение? Правильно ли прямо ехать домой?

От этих мыслей Крейбеля бросает в жар и холод. В нем все смешалось: и радость и страх. Он не верит в свое счастье. Ему все кажется неправдоподобным. Если уж возвращаться — лучше сразу. Лучше не привыкать снова к свободе. Лучше даже по-настоящему не почувствовать, чего там недоставало. Но... лучше вовсе не возвращаться.

Никогда! Уж он-то, во всяком случае, не сунется больше в политику. У него отпуск. На первое время он должен выйти из строя. Он имеет на это право, так как только что выкарабкался из могилы.

Конечно, он поедет домой. Почему бы им вернуть его? Почему его освобождение может быть ошибкой? Когда они увидят, что он покончил счеты с политикой, его оставят в покое. Вообще они, наверное, и сейчас за ним наблюдают, и если он не поедет прямо домой, то это сразу покажется подозрительным. Он будет жить, как отшельник; никаких встреч с людьми. Он хочет покоя. Будет наслаждаться вновь обретенной жизнью. Будет бродить. В первое же воскресенье поедет с Ильзой и мальчиком на берег Эльбы.

Мимо проносится трамвай. Шестой номер, доходит как раз до самой двери его дома. Крейбель бежит за ним и вскакивает на ходу.

Ах, как хорошо пробежаться! Он стоит на задней площадке. Кондуктор бросает взгляд на его картонку и улыбается ему. Неужели все догадываются, откуда он вышел?

Ужасно медленно идет трамвай, останавливается на каждом перекрестке! Ильза даже не смеет помыслить об этом. Какие сделает она глаза, когда он неожиданно появится перед ней? И почему трамвай так плетется?..

Крейбель в нетерпении высовывается и видит, что сейчас опять будет остановка.

Соседи тоже удивятся. В особенности эта свинья Хазенбергер, который тогда так цинично заявил: «Ну, в ближайшие десять лет Крейбелю из каталажки не выбраться». Вот будет глазеть! Ну, а товарищи... От товарищей он будет держаться подальше. Не такие же они идиоты, чтобы сразу к нему сбежаться. И вообще он на первых порах выключится. Обойдутся и без него. Если бы его забили до смерти или если бы он тогда все-таки потянулся к веревке, пришлось бы обойтись. Он в конце концов тоже человек и тоже имеет право на жизнь.

Трамвай так плетется, что можно с ума сойти! Вон стоянка такси. Не раздумывая, Крейбель соскакивает и бежит к машине.

— Бахштрассе, два... Как можно скорее!

Уже на ближайшем углу автомобиль обогнал трамвай. Еще две, одна минута — и он дома.

Вечер. Прошли первые минуты волнения. Мальчик уже в постельке, спит. Ильза спешно делает покупки к ужину! Крейбель лежит на диване и слушает радио.

Все, как было. Но как будто бы еще уютнее, роднее. Длинный, зеленый стол по-прежнему стоит у стены. Над ним по-прежнему висит «Убийство Марата». Наци были сбиты с толку этой картиной. Зато книжные полки пусты. На одной из них рабочая корзиночка и пустая ваза для цветов. На другой — маленький высохший кактус. Совсем внизу лежат уцелевшие от обыска пожелтевшие тоненькие брошюры.

Неужели у Ильзы еще есть деньги? Ведь получка послезавтра, а она делает столько покупок. Он не знает, что она забирает в долг, не знает, что сегодня, по случаю выхода ее мужа из тюрьмы, мелкие лавочники охотно дают ей в долг.

Она все-таки замечательная женщина! Может быть, слишком добрая, слишком мягкая, но прямой, честный человек... Станный у них брак. Когда он пришел, они пожали друг другу руки, как добрые старые друзья. Никаких излишних восторгов, слез, поцелуев, а ведь он почти что из могилы вышел. У них чувство скрыто слишком глубоко, и нужно время, чтобы оно прорвалось наружу.

По радио передают модную песенку: «Умеешь ли ты целовать, Иоганна? Конечно, могу. Тра-ля-ля...» Крейбель прислушивается к мотиву, но его мысли с товарищами, которые, наверное, лежат на койках и говорят о том, что он сейчас с женой. Ах, не надо об этом думать! Зачем? К чему? Ближайшие дни принадлежат ему. Только ему! «И видит бог, я заслужил это», — говорит он самому себе.

Входит Ильза. От возбуждения лицо ее покрылось красными пятнами, движения беспокойные и рассеянные.

— Сейчас будем есть, — говорит она и идет на кухню, как будто еда — самое главное.

Радио передает чью-то речь. Крейбель слышит слова, не вникая в их смысл: «Вот чего мне не хватало. Человек один — и не один. Теперь покончено с одиночеством и тишиной».

Может быть, Торстен лежит сейчас на своих нарах и думает о нем, беспокоится за него. Было ли действительно так тяжело в подвале? Да и сидел он он вообще в карцере? Непостижимо. Но все позади. Все стало по-прежнему, будто никогда и не было иначе.

Ильза очень старательно накрывает на стол. Стелит новую белую скатерть. Приносит хлеб, колбасу, сыр, ставит чайник и нарезает лимон.

Почему она придает так много значения этому ужину? Ему не хочется ни есть, ни пить. Ему хотелось бы сидеть рядом с ней, лежать рядом, положить голову ей на плечо и забыться, ни о чем не думать.

Она наливает ему чашку чая, делает бутерброд с сыром, заставляет есть и ни на минуту не спускает с него ласковых глаз.

И он ест и пьет. И вдруг говорит:

— Даю тебе слово, если они казнят Фрица Янке, я застрелю Кауфмана на месте!

— Забудь хоть на сегодня товарищей.

— Забыть? Забыть товарищей, которых я должен был там оставить? Ну знаешь ли, у меня не хватает слов...

— Я не то имела в виду, Вальтер.

— Не то? А что ты имела в виду?

— Прежде всего успокойся! Потом расскажешь все, а теперь не надо.

— Жаль, Ильза, что ты его не знаешь, — чудесный человек! Тонкое бледное лицо с большими мягкими глазами. Тревога, страх перед самым ужасным убивали его уже сотни, тысячи раз. Но если они его казнят,

тогда... тогда... я не знаю. Тогда что-то должно случиться. Тогда что-то неминуемо случится!

— Ну, ну, Вальтер, выпей немножко чаю.

— Я не хочу.

— Ты не ешь ничего, — говорит ему жена не то с болью, не то с упреком.

— Не могу я есть.

Ночью оба лежат в темноте с открытыми глазами. Крейбель неожиданно произносит, будто во сне:

— Тогда я застрелю Кауфмана!

Жена нежно гладит его пылающее лицо, уговаривает, как больного, Так долго лежат они рядом, молча. Он положил ей голову на грудь.

— Я напишу письмо Кауфману... Неужели хорошо составленное письмо не подействует? Янке нельзя казнить. Надо спасти юношу...

И Крейбель снова смотрит широко открытыми глазами в потолок, как смотрел долгие недели в карцере, долгие месяцы в одиночке.

— Товарищи устроили голосование. Я тогда находился еще в одиночке. И только один был за истязания, все остальные — за немедленный расстрел. Это разве не изумительно? Ты должна помнить, что их почти всех истязали. Но никто не хочет мстить. Уничтожение, но не месть, разве это не изумительно, а?

Жена не понимает, о чем он говорит. Ее глаза полны слез, она гладит его волосы. И на его настойчивый вопрос отвечает:

— Да, Вальтер, ты прав.

Уже забрезжил рассвет нового дня, когда Крейбель наконец уснул. Но даже во сне он не находит покоя. Он ворочается с боку на бок, стонет, вздыхает, что-то бессвязно бормочет и тихо всхлипывает, будто его донимает какая-то боль.

Жена лежит рядом, держит его влажные руки и покрывает лицо поцелуями, смешанными со слезами.

Первый выход Крейбеля на следующий день — в ратушу.

— Вы освобожденный Крейбель? Лично вы? — недоверчиво спрашивает чиновник.

— Так точно!

Крейбеля охватывает ужас. Что значит этот вопрос? Что, если они его

сейчас опять арестуют и пошлют обратно в Фульсбюттель? Им достаточно сказать: «Случилась ошибка — не вы, а другой должен быть освобожден». Чиновник выходит из комнаты. Крейбеля охватывает легкая дрожь. Ему кажется, будто он вновь попал в ловушку. Он не спускает глаз с двери.

Чиновник возвращается.

— Итак, вы действительно Крейбель собственной персоной?

— Да.

— У вас, по крайней мере, есть мужество. Обыкновенно посылают жен или родственников. Вот вам свидетельство об освобождении.

Крейбель с облегченным сердцем бежит по полутемному коридору ратуши назад, в светлую улицу.

У матери, занимающей небольшую квартиру под самой крышей, Крейбель встречает ее брата, дядю Артура.

Дядя Артур — политический флюгер. Он примыкает к партии или союзу только тогда, когда рассчитывает что-нибудь на этом выгадать. Он долгие годы был членом социал-демократической партии. Однажды ему пришлось принять участие в забастовке, хотя союз и отказался выдавать пособия. Так как заботу о стачечниках взяла на себя Международная рабочая помощь, дядя Артур вступил в члены этого общества. Когда выдача пособий прекратилась, он оттуда выбыл. Узнав от соседей, что «Христианская миссия» помогает многодетным семьям, он перешел в «миссию» и притащил домой всякой снеди и одежду. В начале 1933 года он перекрасился одним из первых и вместо черно-красно-желтого вывесил флаг со свастикой. Сыновей послал в трудовые лагеря.

Дядя Артур сердечно приветствует племянника, подсаживается к нему поближе и спрашивает:

— Ну-ка, расскажи мне, каково там в действительности, в этом концентрационном лагере. Болтают многое и очень уж сгущают краски.

Крейбелю не терпится нагрубить этому человеку, но из уважения к матери он только холодно отказывает ему:

— Прости, по об этом я могу говорить лишь с самыми близкими друзьями.

Дядя Артур больше ни о чем не спрашивает, и разговор, несмотря на все старания матери, никак не клеится.

Под вечер в дверь квартиры Крейбеля раздается стук, Ильза открывает. Перед ней стоит молодой человек и протягивает ей пакет.

— Велено передать! — и тотчас сбегает вниз по лестнице.

В комнате они разворачивают пакет. В нем масло, колбаса, сыр, стакан меда, пакетик кофе и бутылка токайского. Крейбель находит маленькую записочку, в которой нацарапано: «Мы все очень рады! Ешь на здоровье!»

Привет от товарищей. Как скоро они узнали, что он на свободе! Он предпочел бы, чтобы они не напоминали о себе. «Я ведь вышел из строя. У меня отпуск. Длительный отпуск».

— Как это мило с их стороны. Не правда ли?

Крейбель только бурчит что-то в ответ. Потом говорит:

— У них у самих нечего есть!

— Это, конечно, так. Они определенно сложились. Я сейчас же сварю чашечку крепкого кофе.

В этот вечер и в эту ночь Крейбель уже спокойнее; он начинает привыкать к новой жизни.

Дни текут. Крейбель гуляет по городу, ходит в читальню для безработных, часами бродит по гавани и страшно скучает. Он часто встречает старых знакомых, товарищей. Узнав его, они обычно отворачиваются, не здороваются и проходят мимо. Крейбель никогда не знает почему: стыдятся ли они его, потому что стали ренегатами, или же делают это из предосторожности, так как работают в подполье.

В первое же воскресенье, рано утром, он выходит из дому, ведя за руку мальчика.

— Куда вы думаете? — Ильза провожает их до двери.

— Мы поедем на Эльбское шоссе.

— Возвращайтесь вовремя к обеду.

Крейбель покупает билеты до Фульсбюттеля. Два раза он на большом расстоянии обходит вокруг мрачное здание тюрьмы. Кажется, будто за высокой красной стеной жизнь совсем замерла. Но он знает, что творится за этими холодными камнями. Сколько тихих воскресений просидел он, скорчившись, в углу, на бетонном полу... Ему казалось непостижимым, что жизнь может спокойно идти своим чередом, что солнце светит, что на свете есть женщины, что люди могут радоваться. Он вернулся к жизни. Теперь другие похоронены в этих темных норах. Другие в отчаянии бегают целыми днями по одиночке. Семь маленьких шажков от окна до двери и столько же обратно.

Никогда больше не попадать туда! Умереть, если это нужно, но никогда бы не оказаться снова в этих медленно убивающих, затхлых камерах-могилах.

Крейбель берет мальчика на руки и бежит, словно за ним погоня.

Ильза из кожи лезет вон: на ничтожные гроши пособия старается украсить квартиру. Покупает краску и красит кухонную мебель, окна и двери. Выпросила у домовладельца немного воска и натерла пол. Ей хочется создать мужу возможно больший уют.

Крейбель сидит за своим длинным столом и читает. Перед ним дела пачка газет. Он хочет узнать все, что произошло за время его тюремного заключения.

Он ищет сообщения об аресте товарищей. В Цейтце вновь арестовали семнадцать коммунистов. Их обвиняют в том, что они продолжали создавать нелегальную коммунистическую организацию, даже собирали членские взносы... Собирали членские взносы... разве это самое главное... А здесь заметка из Страсбурга: рабочая делегация из Саарской области посетила в Моабите Эрнста Тельмана... Да, Эрнст Тельман сидит уже больше года, и без суда и следствия... Отважатся ли они вообще начать против него процесс? «Конечно, меня избивали!» — крикнул им Тельман, Он сказал это открыто и прямо. Большинство и представления не имеет, сколько для такого высказывания требуется мужества. Эти живодеры эсэсовцы жестоко отомстят ему... Страсбургская газета публикует имевший место эпизод, а странный информационный бюллетень «Блик ин ди цайт» просто его перепечатывает...

Он читает об убийстве Иона Шеера и трех других членов ЦК. Тогда эту новость принес в камеру один уголовник, но никто ему не поверил. А Натан Вельзен даже упрямо настаивал на том, что Ион Шеер вовсе не был арестован.

Сколько товарищей погибло! Сколько только в одном Гамбурге! Обезглавлены. Повешены. Расстреляны. Забиты плетьюми до смерти. Фриц Янке еще жив, но они хотят и его убить. Кто знает, сколько еще их, тех, кого ждет эта участь?

Они бродят сейчас у двери общей камеры. Возможно, говорят о нем. Они не могут, конечно, сказать о нем ничего плохого.

Одиночники смотрят через оконные решетки на небо. В воздухе уже чувствуется весна. Погода становится мягче. Организм заключенных чувствует приближение весны.

А в подвале? В темной? Они сидят там среди постоянной ночи и мечтают о свете, о жизни, о людях, о женщинах.

Спокойнее ли теперь по ночам? Продолжаются ли избиения в подвале?..

Крейбель думает о мучительных пытках и ужасах, перенесенных большим, сильным Ширманом. Они страшно истязали его, но ничего не добились. Тогда его стащили в подвал. В ванной комнате лежал труп товарища, повесившегося несколько часов назад. Они связали Ширмана с трупом лицом к лицу.

Через час Ширман выдал двоих.

Крейбель вспоминает рассказы комсомольца Вальтера Кернинга. С тремя другими комсомольцами среди ночи, под конвоем эсэсовцев в стальных шлемах и с винтовками, вывели его на тюремный двор. Стояла светлая лунная ночь. Сияли звезды. Эсэсовцы и четверо заключенных проковыляли через глинистый, топкий двор и остановились у полуразрушенной внутренней стены. Труппфюрер Тейч вышел вперед и прочел по списку имена четырех заключенных. Йотом спросил, нет ли у них предсмертных желаний. Когда все четверо ответили отказом, на них нацелили ружья. В этот момент Кернинг крикнул: «Да здравствует коммунизм!»

Их не расстреляли, но снова отвели в камеры, а Кернинга стащили в подвал и били до утра.

Кого они сейчас мучают?

Кто теперь в отчаянии тянется к веревке?

Кто лежит изувеченный на нарах и стонет?..

Крейбель отбрасывает газеты. Он не может ни о чем читать без того, чтобы в нем, словно из бездонной глубины, не поднимались ужасные воспоминания.

Проходит неделя за неделей. Крейбель ходит отмечаться, получает в установленные дни пособие, а все прочее время слоняется по улицам, заглядывает в библиотеки, посещает музеи и художественные галереи. Бессистемно по желанию и настроению, без какой-либо определенной цели.

Все больше и больше теряют над ним власть воспоминания о недавнем прошлом. Они бледнеют и тускнеют. Уже не стоят перед глазами лица товарищей. Уже не звучат в ушах их голоса. Собственное заключение кажется ему ужасным сном.

Ему начинает доставлять удовольствие ходить с женой за покупками. С деньгами туго. Нужно уметь купить подешевле. В лавках можно многое увидеть и услышать. Женщины бранятся. Торговцы плачутся. Крейбель прислушивается ко всему, но молчит.

Вечером он сидит в своей маленькой комнатке над газетами, стараясь угадывать невысказанное между строк; включает радио, если передают

музыку, или читает взятые из библиотеки книги.

Ильза сидит рядом, чинит одежду или просматривает «Журнал для хозяек», который в некоторых магазинах раздается клиентам бесплатно.

И все же Крейбель чувствует себя нехорошо. Ему часто кажется, будто его кто-то тормозит, трясет, кажется, что знакомые голоса говорят ему что-то, на него указывают пальцами. Тогда его охватывает непередаваемый ужас. Во рту появляется противный вкус.

Как-то вечером Крейбель мечется по улицам Бармбока. Мозг сверлит одна и та же мысль: «Не хочу! Не пойду! Пусть оставят меня в покое!»

Его только что остановил на Гамбургерштрассе партийный уполномоченный Адольф Расмус и шепотом сказал:

— Будь завтра в одиннадцать часов утра в бане на Дипдрихштрассе. В бассейне.

Это — партия. Она снова хочет его запрячь. Все начнется сызнова.

Но Крейбель не хочет. Нет, нет и еще раз нет!

«Я туда не пойду. Кто меня может заставить?» Пусть видят, что пока на него не приходится рассчитывать. Он уж давно ждал этого предложения. Пусть говорят и думают, что хотят. Испытали бы сначала на собственной шкуре... «Я туда не пойду. Надо было сразу так и сказать Расмусу».

В этот вечер Крейбель вернулся домой поздно. Жена не спрашивает, где он был, а молча вновь ставит уже убранный со стола ужин. Во время еды она поглядывает на него. Он старается избежать ее взгляда. Она хорошо знает своего мужа и чувствует, что он скрывает что-то серьезное.

— Случилось с тобой сегодня что-нибудь?

Поначалу Крейбель молчит. Потом поднимает голову, видит озабоченное лицо жены и снова опускает глаза в тарелку.

— Что могло со мной случиться? С чего ты взяла?

Жена видит, как муж торопливо ест, как опускает глаза, чтобы они его не выдали.

— Тебя снова зовут товарищи?

Крейбель удивленно поднимает голову:

— Ты что, не в себе? Они должны оставить меня в покое, хотя бы ради собственной безопасности. Ведь за мной потащится целая свора шпииков.

Как будто не понимая его, она тихо говорит:

— Не давай себя снова втянуть.

На следующее утро Крейбель идет в бармбекский бассейн. Несколько безработных и группа школьников со своим учителем барахтаются в воде.

Крейбель намыливается, ополаскивается под душем и уже хочет войти в бассейн, как с ним здороваются.

— Здравствуй, Вальтер! Ты меня не узнаешь?

— Ах, Отто! Здорово, брат, я тебя в самом деле не узнал в костюме Адама.

Они пожимают друг другу руки.

— Я как раз в воду.

— Подожди минутку, мне надо сказать тебе пару слов.

Крейбель поражен. Неужели Отто Регерс связной?

Когда они виделись в последний раз, он еще был социал-демократом.

Они стоят под душем. Вокруг шумят школьники. Отто Регерс говорит шепотом:

— Мне поручено установить с тобой связь. Сначала не хотели посылать меня, но когда я рассказал, что мы знаем друг друга по Союзу рабочей молодежи, согласились.

— Ты, значит, теперь с нами?

— Да, конечно. Почти год. Сейчас же после прошлогодних майских событий. Ну, так слушай!

Регерс еще ближе подвигается к Крейбелю, но держит руки высоко, как будто старается направить струю горячей воды на спину.

— У нас хотят знать, сколько еще времени ты намерен не возвращаться к работе. Партия нуждается в людях. Есть кое-какие виды на тебя.

Крейбель ни в каком случае не может заявить этому бывшему социал-демократу, что он еще надолго намерен воздержаться от партийной работы. Он чувствует легкое замешательство и уклончиво отвечает:

— Я должен раньше узнать, для какой работы меня наметили.

— Этого я сам не знаю. Значит, в принципе ты согласен?

— Само собой!

— Конечно, Вальтер, от тебя другого и не ожидали. Но некоторые преподносят иногда сюрпризы. Есть люди, которые считались раньше крепкими членами партии, а сейчас категорически от нее отмежевываются.

Крейбель удивлен. Отто Регерс обо всем судит так, будто он уже добрый десяток лет в партии. Он говорит естественно и самоуверенно, чего

Крейбелю никогда бы не удалось. За год его ареста, по-видимому, кое-что изменилось.

— Видишь, — снова шепчет Регерс, — наконец и я нашел правильный путь! Ты, наверно, думаешь, что чертовски долго искал, да?

Крейбель, смеясь, трясет головой.

— Я перешел со всей группой. Один-единственный только не присоединился. Да и тот не из-за политических разногласий, а просто-напросто от страха. Мы очень хорошо работаем. Я принес тебе кое-какие вещички, чтобы ты видел, что делается. Это у нас прямо нарасхват.

В последующий вечер Крейбель бегает до поздней ночи по пустынным тихим улицам. Ему не сидится дома. Радио его раздражает. Он недостаточно спокоен, чтобы читать, и это сидение в комнате становится ему невмоготу.

Апрельские ночи светлы и прохладны. Он часами просиживает на скамейках и, как часто делал это в одиночке, мечтает, глядя на мерцающие в небе звезды. Но даже размышляя над числами и сопоставлениями, когда-то вычитанными у Бюргеля, и стараясь ясно представить себе загадочную неизмеримость мироздания, он не может справиться со своими мыслями и чувствами. Ему хочется, сидя на одинокой скамье, восхищаться сиянием вечерних звезд, а мысли упорно возвращаются к Торстену.

Торстен... Он, вероятно, до сих пор еще сидит в четырех стенах голой камеры. По-прежнему ободряет своих соседей и советует: «Обтирайся утром и вечером холодной водой! Делай гимнастику! Первая обязанность коммуниста в заключении — сохранить здоровье, стальные нервы...» Да! Торстен... Но не все коммунисты похожи на Генриха Торстена. Не все носят в своем сердце такую любовь к партии. Не все обладают такой непоколебимой уверенностью в победе рабочего класса. Не все так тверды, так самоотверженны. Что бы сказал Торстен о нем? Фашисты сломали Крейбеля. Они добились от Крейбеля, чего хотели: запугали, нагнали на него страху.

Но Торстен сказал бы тоже: «Вы, товарищи, живущие на свободе, не знающие карцера, не знающие одиночного заключения, не осуждайте Крейбеля с такой легкостью и поспешностью. Не у каждого коммуниста закованная в броню душа».

Он сказал бы им: «Не все, проявившие слабость, стали вашими врагами. Помните, что эти товарищи страдают от разлада в их жизни гораздо сильнее, нежели крепкие, здоровые люди, нежели те, кто быстро может

забывать, кого не преследует навязчивая идея очередных истязаний».

Торстен умный человек, умеющий глубоко видеть. Он не станет делать поспешных выводов. Он поймет его, поймет его состояние. Но одобрит ли он его?

Нет! Никогда! Он слишком требователен и к себе и к другим. Он слишком активен как революционер. Он никогда не одобрит такое поведение.

В подобные вечера Крейбель возвращается домой разбитый, подавленный, в разладе с самим собой.

Ильза замечает, что муж снова постепенно от нее ускользает. Беспокойство, охватившее его, передается и ей. Она догадывается, что его снова влечет к партии, и она борется за своего мужа, борется за сохранение своей маленькой семьи, старается оградить ее от новых забот и несчастий.

Как-то раз, когда Крейбель снова поздно возвращается домой и, мрачный, молча ложится рядом с женой, она не выдерживает — обхватывает его голову руками и, покрывая ее слезами и поцелуями, начинает упрашивать, умолять его не подвергать себя и свою семью новой опасности, не связываться с товарищами, всегда помнить о том, что он пережил.

— Если ты опять туда попадешь, я не выдержу... Я лишу жизни... и себя и ребенка! Второй раз тебе оттуда не выбраться.

Крейбель обнимает дрожащую, плачущую жену. Он ничего не говорит, откидывает ей волосы с мокрого лица и прижимает к себе.

— Почему ты скрываешь от меня свою тревогу?

— Тебе нечего бояться, Ильза, я останусь в стороне. Я уже раз обжегся. — В этот момент Крейбель действительно верит тому, что говорит. — Зачем ты себя мучаешь? Зачем создаешь напрасные заботы?

— Ты... ты стал такой странный. Всегда угрюмый, неразговорчивый. Приходишь поздно домой. Ты думаешь, я не замечаю, как ты изменился?

— Это верно! Я слишком много думаю о товарищах.

— Подумай хоть раз о себе. Один раз! И чуточку — о нас. Так ведь нельзя жить!

Крейбель бредет вдоль Остербек-канала. Навстречу идет человек, фигура и походка которого ему кажутся знакомыми. Человек смотрит на него удивленно, затем направляется к нему быстрыми шагами.

— Здорово, товарищ Крейбель! — протягивает он руку. — Я все надеялся встретиться с тобой. Я уже давно знаю, что ты на воле, но — сам

понимаешь — не хотел к тебе заходить.

Теперь Крейбель узнает его и от изумления не может вымолвить ни слова. Это Боллерт, из союза металлистов. Такое восторженное приветствие?.. Еще два года тому назад на каком-то собрании он поносил Крейбеля, называл его «коммунистическим подонком», «безответственным подстрекателем». Будь осторожен, у него может быть плохое на уме.

Боллерт, крепкий, приземистый мужчина, идет рядом с Крейбелем и шепотом сообщает новости:

— Ты слыхал о листовках у Кальмона?

Крейбель отрицательно качает головой.

— Нет? Потрясающая вещь! Замечательно проделано. Наши товарищи здорово работают, доложу я тебе!

Наши товарищи? Крейбель молчит.

— Взять, к примеру, вчерашний случай. Понимаешь, у Кальмона работает один упаковщик, Карл Эндруш, я его знаю, он был раньше членом социал-демократической партии. После гитлеровской истории — воды не замутит. И вот он как-то сострил насчет Рема. Представляешь, конечно, в каком духе. Об этом стало известно руководству национал-социалистской заводской ячейки, и человека уволили за оскорбление члена правительства. Это произошло вчера. А сегодня утром — обрати внимание, сегодня же! — все рабочие, предприятия получили маленький листочек за подписью КПГ. Ни одна душа не знает, каким путем эти листки попали на завод. В листовках спрашивается, стоит ли из-за такого гнусного развратника, как Рем, лишать куска хлеба старого рабочего, проработавшего на предприятии одиннадцать лет? Листовка призывает коллектив добиваться всеми мерами возвращения уволенного на работу. Ну, я тебе доложу, подействовало, как взрыв. В особенности скандалили женщины-работницы. Сегодня после работы было общее собрание. Коллектив рабочих требует возвращения уволенного на работу. Наци вне себя.

— Значит, на предприятии работают еще товарищи из КПГ?

— Еще бы! И отлично работают. Листовки вышли на следующий же день. Весь Бармбек говорит об этом.

— А как ты вообще расцениваешь работу коммунистов в Бармбеке?

— Прошлой осенью, как тебе известно, партии пришлось скверно. После этого на несколько недель работа совсем стала. Но с тех пор партия оправилась. Наши товарищи хорошо работают. Активно, насколько мне известно, работает небольшой круг лиц, но это отборная, крепко спаянная группа.

На Гольдбекплац Боллерт прощается. Крейбель один идет домой по Бахштрассе. Ему все еще вспоминается собрание металлистов, на котором Боллерт обругал его и всех членов Компартии вообще. А теперь он восторгается работой коммунистов. «Наши товарищи...» — сказал он.

...Крейбель медленно бредет по улицам Бармбека. Он несколько раз останавливается у витрин, чтобы проверить, не наблюдают ли за ним. Около восьми часов он сворачивает, в Гейтманштрассе.

Когда он входит в подъезд дома № 63, его все еще неотступно преследует мысль, что ему не миновать Фульсбюттеля, если здесь состоится собрание и их накроют.

На медной дощечке надпись: «Фриц Кречмар». Он стучит у двери. Старая сгорбленная старуха отворяет, не снимая целочки.

— Вы хотите говорить с моим сыном? Сию минутку!

Она захлопывает дверь, но через некоторое время снова открывает.

— Входите, пожалуйста!

В маленькой комнате сидят три человека. По прежней партийной работе Крейбель знает только одного из них.

Тот подходит к нему, здоровается и говорит:

— Хорошо, что ты вовремя пришел. Мы постараемся изложить дело покороче. Садись. Итак, это — товарищ Вальтер, а это — товарищ Хуго и товарищ Вильгельм.

Крейбель здоровается. Он удивляется их беспечности и спрашивает:

— Неужели вы не боитесь, что я могу притащить за собой шпика?

Один из них смеется и берет его за руку.

— Если бы так, мы еще до твоего прихода узнали бы об этом. Все в порядке!

— Не понимаю, как бы вам удалось?

— Товарищ Крейбель, мы тоже следим за тобой.

Во время этой встречи Крейбель узнает, что его намечают во Франкфурт в качестве редактора.

У него перехватывает дыхание, но внешне он спокоен и сдержан.

— Само собой разумеется, в Гамбурге ты не можешь больше работать. Это было бы чистейшим самоубийством. Да и во Франкфурте первое время ты ничего не будешь делать. Должен сначала привыкнуть к нелегальному положению. Но мы думаем, что это у тебя не займет особенно много

времени. Документы, билет, адреса — все это ты получишь позже.

— А... а моя жена?

— Твоя жена? Она, конечно, останется здесь.

Крейбель краснеет. Он даже не знает почему. Что это на него так странно смотрят? Ведь в конце концов у него может быть жена, судьба которой ему не безразлична.

— В конце концов, у нас у всех есть жены. Как тебе лучше и удобнее ее обеспечить, об этом ты договоришься с товарищами во Франкфурте. Пока подыщешь здесь какой-нибудь нейтральный адрес и так далее. Ну, ведь это все просто и ясно...

Для Крейбеля это все далеко не так просто и ясно. У него появляется сильное желание осадить этого равнодушного человека, сказать, что он отказывается от партийного поручения, что у него вообще нет намерения переходить на нелегальную работу. Но он колеблется и молчит.

Тогда поднимается самый старший, высокий плотный человек с грубым лицом, большой лысиной и необычайно густыми бровями. Он до сих пор не произнес ни слова, теперь он спокойно обращается к Крейбелю:

— Товарищ, ты еще не совсем пришел в себя. Мы не хотим спешить. Обдумай все еще раз хорошенько и через неделю скажешь свое решение. И тогда, если будешь согласен, можешь сразу получить документы и билет. Такой вариант тебя устроит, не правда ли?

— Да, спасибо... Я еще подумаю.

Крейбель снова краснеет.

— Слышал ли ты в лагере о некоем товарище Торстене?

— Еще бы не слышать! В подвале мы сидели в соседних камерах. Я бы очень хотел узнать, где он сейчас?

— Торстен сейчас в доме предварительного заключения. Через несколько недель начнется его процесс.

— Он в предварилке? — радостно вскрикивает Крейбель. — Вот это хорошо! Торстен замечательный товарищ!

— В партии много Торстенов!

Крейбель лежит на диване и читает речь Геринга, опубликованную в газете «Анцайгер». Ильза сидит у него в ногах и приводит в порядок праздничный костюм мальчика.

Вдруг Крейбель откладывает газету в сторону и спрашивает:

— Так ты бы наложила на себя руки, если бы я снова взялся за

политическую работу?

— Нет, я бы не сделала этого.

— Нет? Ведь ты еще недавно говорила.

— Теперь я думаю иначе.

— Да-а? — Крейбель изумлен, даже несколько разочарован. — Что же изменило твое мнение?

Не поднимая головы от своей работы, она отвечает:

— Жены других товарищей.

— Других товарищей? Каких других товарищей?

— Тех, которые еще долго будут сидеть, и тех, которые убиты.

— Во всяком случае, благоразумная точка зрения.

Крейбель читает. Ильза занята своей работой. К этому разговору они больше не возвращаются.

Позже, в постели, она говорит:

— Поступай, как считаешь правильным. Не нужно поддаваться влиянию семьи. Только прежде хорошо обдумай свой шаг.

Крейбель ничего не отвечает и бурно прижимает ее к себе.

Тогда она перестает владеть собой и плачет безудержно, как ребенок.

Вальтера Крейбеля не узнать: он счастлив, весел, жизнерадостность бьет из него ключом. словно тяжесть свалилась с его души, и он снова может расправить крылья. Вальтер носится по комнате с сыном, шутит с женой, дурачится. Маленькая заметка как рукой снимает его радостное настроение. Газета сообщает: Фриц Янке приговорен к смертной казни.

Значит, все-таки...

Он видит перед собой обращенное на него узкое лицо со впалыми, щеками. В глазах последний привет, последнее «прости». Они приговорили его к смерти. Ведь тогда они его почти убили, но снова вылечили. Затем месяцы держали в одиночном заключении. Ночь за ночью избивали и мучили, а теперь хотят отрубить голову.

Крейбеля начинает мутить, он бледнеет, кусок застревает у него в горле.

Вальтер выходит из дому и рассеянно бродит вдоль Мундсбургердамм и Альстера. Поздно вечером он оказывается перед зданием дома предварительного заключения, крадучись идет вдоль кладбища, прячется между могилами и, лихорадочно возбужденный, смотрит на жутко спокойный темный каменный колосс, дрожа от холода. Ему вспоминается

слух, ходивший по лагерю, будто Фолька, первого казненного в Гамбурге коммуниста, обезглавили над ванной во дворе дома предварительного заключения.

В одной из тысяч камер сидит Фриц Янке. Завтра они могут уже потащить его на плаху. Быть может, сейчас он лежит на тюфяке, уставившись глазами в потолок... или стоит в углу камеры и смотрит в зарешеченное окно... Уголки его рта слегка вздрагивают...

Освещенные прожекторами четкие контуры тюрьмы расплываются перед влажными глазами Крейбеля.

По ту сторону стены, как тень, движется часовой. Вокруг ночная тишина. Только с Гольстенплаца доносится шум трамваев. У тюрьмы, как жандарм-великан, стоит маленькая приземистая церковь Божьей милости.

Они не убьют его... Они хотят только запугать приговором. Не может быть, чтобы они привели его в исполнение. Нет, они не казнят его!

И вдруг он почувствовал твердую уверенность: приговор не будет приведен в исполнение.

Крейбель поднимается и идет вдоль старого кладбища к Даммтору и Альстеру. В голове, как мелодия, звучит одна мысль: «Они не приведут приговор в исполнение». И с этой мыслью шагает он по спящему городу.

Прежде чем лечь спать, он шепчет жене:

— Они не приведут приговор в исполнение...

Посреди небольшого двора, обнесенного высокими стенами, Крейбель видит ослепительно белую ванну. Вокруг ванны стоят темные фигуры в черных цилиндрах и белых перчатках.

Одна из них выходит вперед, сухо кланяется и глухим, замогильным голосом возвещает:

— Мы, к сожалению, не были подготовлены и должны прибегнуть к помощи ванны.

Медленно приближается колонна штурмовиков. Ее возглавляет человек во фраке, с белой повязкой на рукаве и в белых перчатках. В правой руке он держит продолговатый ящик.

Штурмовики выстраиваются в два ряда по бокам ванны. Их начальник в черном склоняется перед темными фигурами и делает знак рукой.

Одиноко подходит изможденный, с длинной, худой шеей человек в сером балахоне. Руки связаны за спиной. Свесив голову на грудь, становится он подле ванны.

Человек во фраке открывает свой ящик и вынимает широкий блестящий топор.

Из строя выходит штурмовик и заставляет стоящего у ванны изможденного человека опуститься на колени.

Блестящий топор на мгновение взлетает над белой ванной и со свистом опускается. Голова падает, из отверстия в шее бьет широкой струей алая кровь.

Человек во фраке аккуратно вытирает топор и укладывает его в ящик.

В это время два штурмовика поднимают обезглавленный труп и опускают в ванну. Голову они кладут на грудь казненного.

Только сейчас Крейбель видит его лицо: Фриц Янке...

— Ради бога, Вальтер, что с тобой?

Крейбель сидит на постели, сжимая голову руками, глаза неестественно расширены, он не переставая стонет.

— Что с тобой? Кричишь во сне, машешь руками и вскакиваешь...

— Они казнили Фрица Янке!

— Глупости, это тебе приснилось!

— Неужели? Это был только сон? О, ужасный сон! Ужасный!

— Ложись и спи. Ты весь в поту. У тебя жар. Смотри, Вальтер, только не заболей ты у меня!

Крейбель снова откидывается на подушки и, как ребенок, дает жене укутать себя до подбородка одеялом. Она гладит его по лицу.

— Ильза, как ты думаешь, они его казнят?

— Нет, они не приведут приговор в исполнение.

У Крейбеля вырывается вздох облегчения.

Прошла неделя. Сегодня Крейбель должен встретиться с тройкой. Он принял решение.

Теперь он даже не понимает, как мог колебаться. Партия зовет, к чему же мешкать?

И все же... В нем еще шевелится остаток ужаса. Воспоминания утратили свою остроту, поблекли, а между тем нет-нет да и вспыхнут ярко. Карцер. Ночные избиения. Одиночка. Воскресный октябрьский день. Убитый заключенный и игра на органе. Мучительная смерть Кольтвица...

Ну и пусть. Он принял решение. Не может быть ни колебаний, ни отступлений.

Крейбель отправляется на Гейтманштрассе.

По дороге он покупает вечернюю газету и читает.

Вдруг ему кажется, что рушатся дома, что с шумом несутся по воздуху деревья и фонари. Он ищет опоры, хватается за низенькую решетку палисадника.

— Неужели это возможно?!

Он шатается и прикрывает рукой глаза.

— Значит, они все-таки привели приговор в исполнение.

Он видит залитую кровью белую ванну. Черные фигуры вокруг... Штурмовиков... Видит, как человек во фраке снимает белые, испачканные кровью перчатки...

Крейбель берет себя в руки, до боли сжимает зубы и, выпрямившись, идет твердым быстрым шагом вдоль Гейтманштрассе.

Те трое уже поджидают его...

Послесловие автора

Бывший комендант Фульсбюттельского концентрационного лагеря Пауль Эллерхузен стоял в качестве обвиняемого перед судом присяжных в Гамбурге. Этот человек самолично распорядился судьбами нескольких тысяч узников, от его настроения долгие годы зависела жизнь или смерть заключенных, на его совести многочисленные случаи совершенных в концлагере Фульсбюттель самоубийств, он насаждал зверские жестокости и пытки; за все это Пауль Эллерхузен должен был ответить в 1950 году. Обвиняемый, в возрасте пятидесяти двух лет, уже не в коричневой замшевой форме штурмовика, а в скромном гражданском платье, держался подчеркнуто спокойно; ходил взад-вперед возле скамьи подсудимых, когда суд удалялся на совещание, или разговаривал со своим адвокатом, госпожой д-ром Элерт. Он, кто раньше, ревел, как бык, давал показания робким, едва слышным голосом. После первой мировой войны он занялся торговлей; в 1927 году вступил в штурмовые отряды и стал членом национал-социалистской партии. Он молниеносно сделал карьеру и уже в 1929 году в чине бригаденфюрера стал верховным главнокомандующим штурмовиков в Гамбурге. За растрату казенных денег он был исключен из рядов национал-социалистской партии и выгнан из штурмовых, отрядов. Однако Карл Кауфман, став гаулейтером Гамбурга, вступился за растратчика, потребовал его реабилитации и в марте 1933 года назначил

своим личным секретарем. Спустя короткое время, когда гаулейтер стал имперским наместником, Эллерхузен получил пост коменданта концлагеря в Фульсбготтеле. При его назначении на эту должность, Кауфман особо подчеркнул, что отныне Эллерхузен имеет все шансы «доказать, на что способен», Тот не заставил себя долго ждать, и вот комендант концентрационного лагеря уже глава сената и государственный советник: он оправдал надежды Кауфмана.

Отвечая на вопрос верховного судьи страны Валентина, председателя суда, как обвиняемый выполнил свои служебные обязанности, будучи комендантом концлагеря, Эллерхузен заявил, что каждый вечер, после сигнала ко сну, проходил по тюремным коридорам, где царили покой и тишина, как в хорошем санатории. Да, он действительно приказал установить в камерах решетки, но только для безопасности дежурных штурмовиков. Случалось, конечно, что с некоторыми заключенными он иногда бывал несколько «суров», однако лишь в том случае, если они его «оскорбляли и сами вызывали на это». При нем случаев истязаний в концлагере не было, к тому же подобную практику использовало только гестапо.

Присяжные выслушали это с явным удивлением. В зале заседаний стояла мертвая тишина, каждый боялся, что его попросят выйти в случае проявления малейшего беспокойства.

Некоторые женщины плакали. Их мужья или дети были зверски убиты в концентрационном лагере Фульсбюттель.

На второй день процесса давали показания свидетели: бывшие заключенные Фульсбюттельского концлагеря: рабочие, служащие, интеллигенты. Из их рассказов возникала страшная картина причиненных им страданий и мук.

Полным жалости голосом обвиняемый отрицал все, однако согласился, что некоторые надзиратели превышали свои полномочия. Один из свидетелей, гамбургский экскаваторщик, ответил на это коротко и убедительно: «Каждый капитан несет ответственность за свою команду». Другой рабочий выразился не менее метко: «Колафу (сокращенное название Фульсбюттельского концентрационного лагеря) был узаконенной государством камерой пыток». Бывший депутат от горожан Жан Вестфаль нарисовал картину гнуснейших пыток и на вопрос председателя суда, почему, по его мнению, обвиняемый все отрицает, Вестфаль ответил: «Разве вам, господин верховный судья, никогда не доводилось слышать, чтобы преступник отрицал свою вину?»

Я в своих свидетельских показаниях подробно изобразил полный

страданий и мук путь редактора социал-демократической газеты «Любекер фольксботе» д-ра Фрица Сольмица, которого нацисты схватили тотчас после поджога рейхстага и посадили в Фульсбюттель. Он больше других подвергался самым изощренным издевательствам и пыткам садистов-штурмовиков, ибо был евреем. Ночь за ночью, вооружившись толстыми веревками и ножками от стульев, озверелые штурмовики врывались в камеру и истязали его. Душераздирающие крики заключенного приводили в волнение весь лагерь; тогда палачи стали засовывать своей незащитной жертве в рот кляп. С тех пор слышны были только глухие удары.

Однажды утром д-ра Сольмица нашли в его камере мертвым. Поначалу говорили, якобы он сам наложил на себя руки, дабы прекратить повторяющиеся изо дня в день истязания. (В своем романе «Испытание» я так и изобразил его смерть.) Позднее, однако, выяснилось, что мучители забили его до смерти и, чтобы инсценировать самоубийство, повесили труп.

Эллерхузен заявил, что, по всей видимости, д-р Сольмиц устал от жизни. Истязаний подобного рода он-де не заметил, хотя сам лично освидетельствовал труп. В противоположность заявлению коменданта, бывший узник Фульсбюттеля, который нес службу в камере хранения, показал, что получил приказ сжечь переданную ему одежду д-ра Сольмица. Она вся была в пятнах еще не запекшейся крови.

Будучи комендантом концлагеря, Эллерхузен издал указ, в котором приказывал без предупреждения стрелять в каждого стоящего у окна заключенного. Обвиняемый отрицал и этот факт. Но он признался, что издал распоряжение, которое обязывало каждого часового стрелять в воздух, в случае, если заключенные смотрели в окна. Это было вызвано необходимостью, как цинично заявил он, ибо заключенные с помощью жестов и световых сигналов пытались установить связь с товарищами на свободе.

Все без исключения свидетели показали, что, по приказу коменданта, часовые стреляли по окнам. Действительно, многие узники погибли от такой пули.

Однажды в воскресенье один молодой рабочий был в своей камере тяжело ранен в челюсть. Штурмовики вытащили истекающего кровью раненого из камеры и оставили в коридоре. В то время как он кричал от нестерпимых мук, один из штурмовиков играл в часовне на расстроенном органе веселые танцевальные мелодии.

На третий день процесса суд и многочисленных слушателей ожидал сюрприз. Как свидетель я показал, что меня семь раз избивали по

распоряжению обвиняемого, причем два раза в его присутствии. Обвиняемый впервые сознался, что принимал участие в подобных избиениях. Но чтобы мотивировать это «наказание», придумал себе в оправдание чудовищную версию: я якобы переправлял в Москву из концлагеря тайные сведения. Даже многим присяжным это показалось неудачным оправданием, и они, посмеиваясь, недоверчиво покачивали головами.

Вся гамбургская пресса принимала живое участие в этом многодневном процессе. Каждый день появлялись подробные отчеты. Радостно было уже одно то, что гамбургская пресса, хотя и под нажимом общественного мнения, единодушно выступила против обвиняемого, против пресловутого садиста из Колафу.

Мои свидетельские показания я закончил следующими словами: «Я стою здесь не для того, чтобы выместить личную обиду за выстраданные муки. Подобные мысли и чувства чужды мне, равно как и моим политическим друзьям. Но я бы хотел своими показаниями способствовать тому, чтобы подобным мучителям и палачам никогда не нашлось места в немецком обществе».

Паулю Эллерхузену вменяются в вину восемьдесят телесных повреждений, шестьдесят одно опасное увечье, восемьдесят одна дача показаний под пыткой, одно непреднамеренное убийство; он был приговорен к двенадцати годам и шести месяцам тюремного заключения.

Эллерхузен давно вновь на свободе.

Рассказы

Смерть Зигфрида Альцуфрома

Я не убивала его, нет, но все мы виновны в его смерти, и вы, и вы тоже. На каком основании вы пытаетесь всю вину свалить на меня? Ваше письмо, полное упреков, поразило меня в самое сердце. И все же вы не правы. Разве моя доля не самая тяжкая? Там, в Англии, мир вам кажется иным. Особенно Германия. Вы, очевидно, и не знаете толком, что тут у нас происходит. Иначе вам бы не пришло в голову обвинять меня. Вы в самом деле думаете, что смерть — это самое страшное? На каком основании вы обвиняете меня в трусости? У вас нет детей. Нет малыша, который еще так беззащитен. Курт — вы знаете, какой это был тихий и трудолюбивый человек, — с тех

пор пьет. А Бернхард, с его педантичной любовью к порядку, пропадает целыми ночами, и я даже не представляю — где. Младший побледнел, исхудал и стал таким нервным, что не знаешь, с какой стороны к нему и подступить. Все избегают смотреть друг другу в глаза. Каждый уже ненавидит другого. Мы пришли как раз к тому, чего так не хотел и боялся Зигфрид. Любовь исчезла. Семья распадается и гибнет. Да, мы виноваты, но не только мы, а и вы тоже, вы и все остальные.

Что вы знаете о нашей жизни? Как мы к этому пришли? Как это все случилось? Я, вдова Зигфрида, приступаю к этому письму, надеюсь, что оно принесет мне какое-то облегчение. Клянусь, я не стану ничего приукрашивать, я опишу все, как было. А вы, когда прочтете его до конца, подумайте, не поторопились ли с выводами.

Называйте это исповедью, если хотите, и простите, если найдете в ней подробности, уже известные вам: ведь я пишу это не только для вас, я пишу также и для себя.

Многое, что мне в этой жизни казалось само собой разумеющимся, погибло или получило новую цену и новый смысл. Это как после землетрясения, после обвала. Что стояло прочно и надежно, словно на века, поглотила разверзшаяся пропасть; нравственные устои, существовавшие испокон веков, рухнули. У людей вдруг появились глаза и когти хищников. И таким, как мы, страшно стало жить на земле. Уж поверьте мне: смерть — отнюдь не самое страшное.

Сколько нападков, сколько унижений мы вынесли еще до того, как на нас обрушился последний уничтожающий удар.

Мы уже боялись высунуть нос из дому, не ходили ни в театр, ни даже в кино, не бывали в кафе, не приглашали гостей; вообще влачили жалкую жизнь. «Военные годы — тяжелые годы», — часто повторял Зигфрид; он считал эти годы годами войны. Говоря так, он надеялся, что мирное время не за горами. А однажды он сказал: «Матильда, все-таки хорошо, что я женился на тебе, по крайней мере, дети будут избавлены от самых гнусных преследований». Детей от смешанных браков и впрямь не так травят, как чистокровных евреев. А вы знаете наших детей. За исключением младшего, который унаследовал глаза и волосы Зигфрида, а также, к сожалению, и его еврейский нос, все они в меня — светловолосые и голубоглазые, по их внешности нельзя понять, что они наполовину евреи. Бедный Зигфрид радовался этому; ведь он не мог предполагать, что это станет одной из причин трагедии.

Мы надеялись, как и многие, что сумеем как-то вывернуться в это мрачное время. Но однажды все рухнуло.

В Париже было совершено покушение. Вам известно, что какой-то еврей убил советника германского посольства. Когда Зигфрид прочитал об этом в газете, — дело было вечером, и мы с ним были дома одни, — его охватила тревога. Меня это удивило, и я спросила, какое нам дело до покушения, почему оно так его тревожит. «Но ведь убийца еврей», — ответил он. «Ну и что из того?» — спросила я. «Как ты не понимаешь, — возразил он и добавил: — Это вызовет у них новый взрыв ярости». — «У кого?» — спросила я, как сейчас помню. По этому моему вопросу вы можете судить, какой наивной, все еще наивной я тогда была. Шепотом, словно боясь произнести это вслух, он ответил: «У нацистов, конечно! У нацистов!»

В последующие дни каждое новое известие только усиливало нашу тревогу. Угрозы нацистов становились все более неприкрытыми и злобными. Наверное, вы о них читали в те дни. Зигфрид вообще перестал выходить из дома. На нашей улице прохожие напали на какого-то еврея и выбили ему глаз, а газеты отозвались о них с одобрением. Зигфрид сказался больным. Да он и на самом деле был болен. Курт вел все дела. Мы никого не пускали в дом. При каждом звонке мы вздрагивали, нам казалось, что уже пришли громить нашу квартиру и забрать Зигфрида в концлагерь. В те дни многих бросили за решетку. Без всякой причины. «Каждый еврей, появляющийся сейчас на улице, провоцирует германскую общественность», — писали газеты. К сожалению, мы не могли снять с входной двери табличку с фамилией. Несколько месяцев раньше мы было попытались это сделать, но квартальный уполномоченный заставил водворить ее на место. Так и висела на улице предательская табличка: «Зигфрид Израэлит Альцуфром». Слово «Израэлит» у нас здесь каждый еврей обязан добавлять к своему имени. Мы испытывали мучительный страх. Но не все относились к нам враждебно. Например, почтальону, «арийцу», мы доверяли. Если раздавалось три звонка подряд, значит, это был он, и мы отпирали дверь. Однажды, когда звонок трезвонил без перерыва, а мы все стояли в передней, дрожа и не смея дышать, мы услышали за дверью приглушенный голос сборщика платы за электричество: «Господин Альцуфром, это я!». Тогда мы открыли. «Еврей сидят, запершись на все замки, — рассказал он, — но когда слышат, что это я, открывают».

Потом нацистское правительство потребовало возмещения. Мы должны были платить возмещение за то, что в Париже кто-то кого-то убил. Миллиард марок. Прочитав это постановление, Зигфрид побледнел... Двадцать процентов немедленно. «Все кончено!» — выдавил он. Я не верила, считала, что он преувеличивает, спорила с ним. Но он только повторял: «Все кончено. Это конец!»

Для нас такое требование и впрямь означало полное разорение. Зигфрид понял это сразу. Наш магазин был оценен налоговым управлением в сорок тысяч марок. Цифра была явно завышена, но мы предпочитали платить более высокий налог, чем навлечь на себя подозрение в том, что уклоняемся от уплаты. От этой суммы надо было уплатить двадцать процентов наличными, то есть восемь тысяч марок. Само собой, у нас не было ничего похожего на такую сумму. А в кредит таким, как мы, никто не давал. Все это было хитро продумано; цель была — разорить нас всех.

Если продать нашу квартиру и переехать в более дешевую, то, согласно ранее изданному постановлению, мы получили бы одну пятую ее стоимости. Мы заплатили за нее в свое время шесть тысяч марок, а получили бы в лучшем случае тысячу пятьсот и должны были бы тут же снять какую-то другую. Но какой домовладелец пустил бы к себе евреев? Продать магазин? Мы получили бы также лишь одну пятую. На него, конечно, нашелся бы покупатель-ариец, но мы остались бы без гроша. Ведь сумму, полученную за него, как раз и требовалось уплатить в качестве возмещения.

Зигфриду все было ясно; он был сам не свой, заперся в кабинете и ломал себе голову в поисках выхода. Но не находил. Он был у Натана Герца, но тот лишь пожал плечами. Ему самому надо было внести двести двадцать тысяч марок. И он внес. На свете все еще есть богатые люди. Все еще. Но Зигфриду он, конечно, не дал этих жалких восьми тысяч, Зигфрид был и у Якоба Эпштейна, как мне потом рассказала его жена Леа. И оттуда тоже ушел с пустыми руками. За эти дни лицо его стало землистым, а глаза смотрели еще более затравленным, еще более испуганным взглядом. Он бродил по комнатам в войлочных туфлях, беззвучно говорил сам с собой, вздрагивал при каждом шорохе.

Он никогда не был богобоязненным. Религию он считал суеверием. Вопреки воле своей семьи, строго соблюдавшей каноны веры, он женился на христианке. За тридцать лет нашей совместной жизни он ни разу не был в синагоге. Он был атеист, хотя и не презирал верующих. В те ноябрьские дни прошлого года в душе его произошел перелом. Этого нельзя было не заметить. Бродя по комнатам, он шептал молитвы.

Так повлияло на него все это. Однажды он сказал: «Матильда, созови детей. Нужно посоветоваться». Вечером мы все собрались. Чтобы не нарушать старую семейную традицию, я испекла яблочный пирог. Мы поужинали все вместе, как часто бывало в прежние времена, когда собирались на семейный совет. Однако на этот раз все сидели молча и мрачно ковыряли вилкой в тарелке.

На коленях у Зигфрида сидел его любимец, наш маленький Эдуард. Глаза у Лизбет были заплаканы, — ее жених, ариец по фамилии Тиле, в последнее время держался отчужденно, хотя на то не было причин: ведь Лизбет только наполовину еврейка.

— Вы знаете, в каком мы положении, — начал Зигфрид и попытался улыбнуться. — Выскажите свое мнение. Я был у Герца и у Блюменфельда, у Зелигмана и у Лео Лева. Сейчас ни у кого нет наличных денег, каждый должен внести возмещение. Но через три дня и мы должны уплатить восемь тысяч марок.

— А если мы заплатим, — воскликнул Курт, — кто гарантирует, что через неделю не придется опять вносить так называемое возмещение?

Зигфрид горько усмехнулся:

— Никто не гарантирует, Курт! Мы бесправны.

По лицу Лизбет видно было, что она вот-вот разразится слезами. Спокойнее всех был малыш, который, несмотря на все, что ему ежедневно приходилось переносить в школе, не понимал грустного смысла разговора. Он сидел, прижавшись к отцу и обхватив его шею своими худенькими ручонками.

И все же я едва решаюсь написать это и пишу лишь для того, чтобы вы получили верное представление о вещах; так вот, когда мы все сидели рядышком за столом, я вдруг отчетливо ощутила трещину, расколовшую нашу семью. Зигфрид и маленький Эдуард остались на той стороне, Курт, Бернхард и Лизбет — оказались на этой, а я, я — между ними. Они не смотрели друг другу в глаза открыто и прямо, как раньше. Не могу не сказать об этом: мне показалось, что их глаза выдают недобрые мысли. Страшно подумать, — эту враждебность они испытывали к Зигфриду!

Курт сказал ядовито:

— Вот они, твои еврейские друзья! Куда же девалась хваленая еврейская взаимопомощь?

Зигфрид удивленно взглянул на него. Несомненно, он воспринял слова Курта так же, как и я. Но промолчал.

— Нам давно надо было уехать за границу, — раздраженно бросил Бернхард и злобно взглянул на отца. При этом именно он в тридцать третьем не хотел уезжать из Берлина, не хотел покидать Германию.

Зигфрид и на него лишь молча взглянул.

Лизбет заплакала.

Жутким холодом повеяло между нами. Нам бы броситься на шею друг

другу, выплакаться и дать слово держаться вместе, что бы ни случилось. Но нет, одни упреки, озлобление и вражда. Зигфрид воспитывал детей не в еврейских, а в христианских обычаях. И вот теперь они не разделяли его чувств. Во всяком случае, мне кажется, что в этот момент они отнеслись к нему, как к чужому. А он сидел, понурясь, словно чувствовал это. Я переводила глаза с одного на другого, и страх все сильнее охватывал меня. Как мало их связывает! И сама уличила себя в том, что почти критически, как бы со стороны, разглядываю Зигфрида, моего бедного супруга, его массивную фигуру, темные, лишь слегка поседевшие волосы, его широкое тяжелое лицо с темными глазами и мясистым тупым носом. Все наши взгляды в те дни были отравлены ядом. Только маленький Эдуард, так похожий на Зигфрида, в своей чистой детской привязанности оставался на его стороне, несмотря на все поношения в адрес отца, которые ему приходилось выслушивать в школе. Именно он всегда охотно слушал отцовские рассказы о еврейском народе, о его истории и его обычаях; остальные наши дети никогда не проявляли к этому интереса.

Мучительно долго тянулось молчание: каждый сидел, уставясь в одну точку. И Зигфрид тоже. Что происходило в его душе? Он был так одинок: ведь и я заколебалась. Заколебалась между ним и детьми. Он сидел среди нас, прикрыв печальные глаза и опустив голову так низко, что его бритый подбородок, из-за густоты волос всегда казавшийся чуть голубоватым, упирался в грудь. Мне бы подойти к нему, обнять его умную, добрую голову и сказать слова утешения. Не знаю почему, но я этого не сделала.

— Значит, все кончено, — пробормотал он. — У нас нет ни имущества, ни родины... Боже мой! Боже мой!

Мы молчали.

Эдуард еще крепче прижался к отцу и в простоте душевной воскликнул:

— Не печалься, папа, ведь у тебя есть мы. Смотри, я с тобой! Я всегда буду с тобой!

— Знаю, милый. Знаю, малыш.

И Зигфрид обнял и поцеловал сына.

Бернхард взорвался:

— Эти собаки нацисты... Проклятое время!

— Нас хотят истребить, — сказал Курт.

— А правда, папа, — вдруг вмешался малыш, — что нас бы никто не тронул, если бы ты умер?

Мы замерли от ужаса. Мне показалось, что сердце у меня перестало

биться. Я посмотрела и испуганные глаза детей. Я посмотрела на Зигфрида. Одному ему этот вопрос, очевидно, не показался диким. Он мягко улыбнулся и спросил мальчика:

— Кто это говорит?

Эдуард спокойно ответил:

— Бринкман, сапожник с нашей улицы.

Я видела, что Зигфрид вздохнул с облегчением. Бог ты мой, значит, он боялся услышать что-то другое? Он прижал лицо мальчика к своей щеке и сказал:

— Он прав, этот сапожник... Они не стали бы так неистовствовать, если бы меня уже не было. Может, вам тогда удалось бы даже изменить фамилию. Вам стало бы легче жить...

— Замолчи! — вскрикнула я. — Что ты такое говоришь?

— А почему бы мне не говорить, Матильда? — ответил он. — Ведь это верно.

— Я не выношу таких разговоров.

Он погладил меня по плечу.

— Стоит ли в моем возрасте все начинать с начала? — Он помолчал. — Стоит ли все пустить по ветру только потому, что я негоден государству? Ради кого я всю жизнь работал? И ты также, хорошая моя? Ради этих разбойников, готовых нас ограбить? Или ради вас, чтобы вам всем легче жилось? Все-таки только ради вас. Только ради вас...

Курт поднялся и вышел из комнаты.

Бернхард поспешил вслед за ним. На ходу он пробормотал что-то насчет «посмотрим» и насчет того, что «должен же найтись какой-то выход».

Зигфрид прислушивался к каждому звуку, следил за каждым движением, он сидел, не двигаясь, уставившись в одну точку. Этот его взгляд испугал меня. Этот взгляд говорил больше, чем все слова. И я упала на колени перед ним и закричала, пусть он не сомневается, мы все любим его по-прежнему. Он погладил меня по голове, но не сказал ни слова.

На следующий день я помчалась к его и своей родне. Я была у Софи и у Йозефа Зиттенфельда, у Макса Терхофа в Новавесе за городом, а также и у Арно Згольцхаймера и везде получила отказ. Я разослала телеграммы за границу: «Немедленно вышлите пять тысяч марок». Никто не откликнулся. Вы тоже. Собери мы все, что имели, получилось бы без малого три тысячи

марок. У Зигфрида было тысяча шестьсот, у Курта и Бернхарда вместе около тысячи. Несколько сот марок было у Лизбет. Ее жених Отто Тиле мог бы, конечно, добавить порядочную сумму, однако не захотел. Не потому, что ему жалко было денег; он боялся навлечь на себя неприятности, если поможет нам.

Этот злосчастный день был самым тяжелым за всю мою жизнь. Измученная и больная вернулась я домой. Страх перед неизбежным терзал меня. Я застала Зигфрида сидящим в большом кресле перед портретом его отца. Годами он не обращал внимания на этот старомодный портрет Натана Альцуфрома, еще носившего кафтан и длинную бороду. И то, что он теперь вдруг вспомнил о нем, усилило мой страх.

Когда я вошла, он взглянул на меня, но ничего не спросил о результатах моих хлопот. Я опустилась на пол возле его кресла и смогла лишь выдать:

— Не отчаивайся, Зигфрид, все еще как-нибудь обойдется.

— Да, конечно, — спокойно и мягко отозвался он. Но потом вдруг нервно спросил: — Ты что-нибудь понимаешь во всем этом?

Видимо, этот вопрос все время занимал и мучил его.

Комната была погружена в тихий, спокойный полумрак. Мы с ним были одни в доме. Мальчика мы отослали к тете Леони в Котбус.

— В чем же я виновен, в чем все мы виновны? — продолжал Зигфрид. И вновь умолк.

Я тоже молчала. Так мы сидели долго.

Он обнял меня.

— Матильда, разве мы с тобой не прожили вместе прекрасную, незабываемо прекрасную жизнь?

Что мне было возразить? Я не могла представить себе супруга и отца более любящего, более заботливого и трудолюбивого.

Его мысли обратились к прошлому.

— Лето двадцать девятого года в горах Силезии, солнечные дни в Круммхюболе... Мирное тогда было время... Мирное... А октябрь в Шварцвальде... Когда это было? В тридцатом или в тридцать первом? А дни на берегу Балтийского моря в Травемюнде и в Хашшгенхафене... Ах, Германия, Германия! Что мы тебе сделали? Что?.. Я был под Верденом. Вернулся домой с двумя тяжелыми ранениями и тремя наградами... За что же меня казнят? За свою жизнь я заключил не больше сомнительных

сделок, чем любой другой, и ни разу, ни разу не имел дела с полицией или судом. Так за что же все это? Ты понимаешь, меня это мучает... Бессмысленность... Вот чего я не понимаю... Я старый человек, чего мне бояться? Я ничего не боюсь. Но я хочу получить ответ... Им не угодны евреи... Ну ладно, но почему же ты, почему же дети должны страдать? Да и я — разве я не такой же человек, как все, разве я как гражданин не лучше многих немцев? Не понимаю я всего этого. Видит бог, изо всех сил стараюсь, но понять все-таки не могу... Я навел справки, сапожник Бринкман на самом деле прав: если бы меня не было, вы бы не подвергались преследованиям в такой мере. Ведь ты арийка, дети лишь наполовину евреи. Наверняка вы могли бы без труда поменять ненавистную им фамилию Альцуфром на более безобидную...

— Не говори так! — воскликнула я. — Или тебе тоже хочется нас помучить?

— Матильда, — нежно возразил он, — милая моя, любимая! Тем, кто любит так, как мы, нет нужды скрывать друг от друга свои мысли. Я подошел к концу жизни, которая мне много дала, которую мы с тобой прожили счастливо. Но она уже прошла. А у детей еще все впереди. В особенности у малыша... Разве так трудно понять мое желание облегчить и скрасить вашу жизнь, добровольно уйдя из нее? Мир забудет некоего Зигфрида Альцуфрома... Ты унаследуешь дело, дашь детям свое имя...

Не могла я этого вынести; я заплакала и пригрозила, что, если он не выбросит эту мысль из головы, я тоже наложу на себя руки.

— Но тогда все пойдет прахом, Матильда, — запротестовал он. — Что станет с детьми, с малышом? Только ты можешь их спасти, ты, арийка с безукоризненной фамилией... Я основательно все продумал, уж поверь мне. Это единственный выход: имя Альцуфром и я, его носящий, должны исчезнуть. Я счастлив, что у меня есть ты. Как было бы ужасно, если бы не было даже и этого выхода.

— Давай бросим все — дело, квартиру и друзей — и уедем с детьми за границу, все равно куда. Как-нибудь проживем. Нам помогут.

— Мне шестьдесят два года, в таком возрасте не начинают все с начала. Тут уже пора готовиться к концу. С тобой дело обстоит иначе, ты не только на десять лет моложе, но ты, именно ты, нужна теперь детям. Я же, наоборот... я для них опасен... Так уж получилось и, конечно, не по нашей с тобой вине... Но так уж получилось...

Ни к чему пересказывать все наши мучительные разговоры. Он был тверд в своем решении, я чувствовала, что его не переубедить. Страшные это были дни! Он был человек необыкновенный, достойный всяческого

уважения. Сколько любви, сколько внутренней силы было в нем, какая большая, какая благородная душа! Я люблю его теперь больше, чем когда-либо, да, я преклоняюсь перед ним.

Мы должны были внести возмещение в пятницу, к двенадцати часам дня. Вместо денег мы послали письмо, в котором сообщалось, что Зигфрид Альцуфром умер и его магазин готового платья на улице Германа Геринга перешел к арийскому владельцу. В это время Зигфрид еще был жив; он решил уйти из жизни в ночь с субботы на воскресенье.

Это я, я сама достала яд. Когда я принесла его, Зигфрид покрыл мои руки поцелуями. Он пожелал еще раз увидеть мальчика; Лизбет поехала за ним. Она восприняла решение отца равнодушнее всех, что очень меня удивило. Курт и Бернхард пришли в ужас и пытались его отговорить. Но переубедить отца было невозможно: он уже покончил счеты с жизнью.

Оставаясь до самого конца добросовестным коммерсантом, каким он был всю жизнь, Зигфрид привел в порядок все текущие дела, ответил на письма, оформил документы, оплатил счета. И к субботе, которая постепенно приближалась и которую я, как вы легко поймете, ожидала с тоской и ужасом, он тоже подготовился, причем я сама ему в этом помогала. Нашу большую двуспальную кровать мы перенесли в гостиную и поставили прямо перед портретом старого Натана Альцуфрома.

Я пообещала не плакать и не усложнять ему исполнение его воли. И я ни разу не заплакала. Кровавых слез, которые душили меня, не видел никто.

Гнетущая тишина царила в комнатах, как бывает, когда в доме лежит тяжелобольной. Шепотом разговаривали мы друг с другом и, чувствуя укоры совести, украдкой поглядывали на дверь, за которой был Зигфрид. В ту субботу он долгие часы провел в одиночестве. Один раз на меня напал такой страх, что я подошла к двери, прислушалась и попыталась что-нибудь разглядеть через замочную скважину. Я ничего не услышала и не увидела: занавеси на окнах были опущены.

И вдруг я не выдержала, побежала к Курту и стала умолять его помешать отцу выполнить его намерение. Курт был бледен, видно было, что ночь он провел без сна.

— Курт, нельзя допустить, чтобы совершилось непоправимое.

— Ты полагаешь, что кто-нибудь сможет его удержать?

— Это необходимо, Курт.

— А как? — спросил он. — Скажи мне — как?

— Если нельзя иначе, то силой, против его воли! — закричала я.

— Значит, позвать полицию? — возразил Курт.

— Но ведь мы не можем, не можем этого допустить, сынок. Нельзя, чтобы отец на наших глазах покончил с собой! Мы все... мы все будем несчастными, Нельзя этого допустить... Нельзя...

— Полиция посадит его за решетку. Это ясно. И он умрет там. — Курт помолчал немного, стараясь не глядеть мне в глаза. — Но ты права, мама. Необходимо это предотвратить. Нужно поговорить с ним.

С этими словами он вышел и направился в комнату к Зигфриду.

Я поплелась в кухню. Жизнь мне опротивела. Я совершенно обессилела от ужаса, отчаяния и горького сознания, что мне все равно не удастся отвести нависшую над нами угрозу; разум, чувства, все мое тело как будто оцепенела. Я сидела на табурете, уставясь невидящими глазами в пространство, без единой ясной мысли в голове...

Через несколько минут вошел Курт, печально глядя себе под ноги. Я только молча кивнула ему. Ничего другого я и не ожидала. Но Курт не остался со мной, не стал меня утешать, как я надеялась, а скрылся в своей комнате. Тут я поняла, что, когда Зигфрида не станет, я окажусь в полном одиночестве.

Поздно вечером приехала Лизбет с Эдуардом. Мальчик ничего не знал обо всех этих ужасных событиях. С шумом и смехом, как всякий здоровый ребенок, он влетел в дом, бросился мне на шею и расцеловал. Я расспрашивала его о тете Леони, о поездке и тому подобном, пока в кухню не вошел Бернхард со словами: «Отец хочет видеть Эдуарда».

— Что с папой? — встревожился мальчик, испуганный мрачным тоном, каким это было сказано.

И я солгала ребенку, чтобы подготовить его к близкому горю:

— Папа очень болен, Эдуард. Поди к нему. И будь с ним понежнее.

Помедлив, мальчик ушел.

Зигфрид позвал к себе всех детей по очереди. Я сидела в соседней комнате, видела, как они входили и выходили. Они шли к несчастному, уходили от умирающего. Курт и Бернхард держались мужественно. На них обоих лица не было, они помрачнели и замкнулись в себе. Лизбет, выходя из комнаты отца, держалась очень прямо и ступала твердо, но слезы безудержно катились по ее лицу. Что сказал им Зигфрид в свой последний час и что они ему ответили, я так и не знаю: он ни словом не обмолвился, и они никогда об этом не вспоминают.

Наконец он позвал меня. На нем был шелковый халат. В комнате горели все лампы. На улице было еще светло, но он опустил шторы. Я остановилась в дверях в полном смятении, без мыслей, без сил, опасаясь, что могу тут же лишиться чувств; он подошел ко мне, обнял и подвел к своему креслу. Потом склонился надо мной и стал целовать мои волосы, лицо и глаза, повторяя шепотом: «Благодарю тебя!.. Благодарю тебя!.. Благодарю!..»

Когда я теперь вспоминаю эту сцену, эти последние минуты с Зигфридом, в памяти всплывает нечто, чего не выразить словами. Сколько раз я спрашивала себя, отвечаю ли я на его любовь с той же силой, не любит ли он меня сильнее и беззаветнее, чем я его. Мы оба состарились; ему стукнуло шестьдесят два, мне за пятьдесят, тридцать лет прожили мы вместе. Но никогда наша любовь, наши чувства друг к другу не были такими горячими, как в те последние минуты. Эти ласки сквозь слезы, эти слова любви перед смертью, этот последний, самый последний час я сохранию, навеки сохранию в своем сердце, как самый чистый, самый прекрасный, самый великий чае нашей с ним жизни. Я проклинаяю это время, так жестоко разлучившее нас, проклинаяю людей, проклинаяю этих потерявших человеческий облик нацистов, обрекших на гибель его и меня, всех нас, проклинаяю тех, кто допустил это и не пришел нам на помощь.

Когда он позвал меня в комнату, яд уже был выпит; внезапно все лицо его покрылось крупными каплями пота. Его начало трясти. Но у него еще хватило сил, опираясь на мою руку, добраться до кровати. Он лег так, чтобы видеть мое лицо. Я припала к нему. Он положил мне на голову свою горячую, влажную руку. Если бы в эту минуту у меня был яд, я бы выпила его, вопреки всем клятвам, которые мне пришлось ему дать.

Его тяжелое, прерывистое дыхание перешло в хрип. Пена выступила на губах. Его глаза, неотрывно глядевшие на меня, страшно расширились и как бы остекленели. Я стала кричать, звать детей: «Курт! Бернхард! Курт!» Рука Зигфрида задергалась, он попытался приподняться, наверно, чтобы меня удержать, однако силы уже оставили его; рука, тяжелая и вздрагивающая, так и осталась на одеяле.

Курт влетел в комнату, за ним Бернхард. Малыш тоже прибежал. В ужасе глядели они на умирающего отца. Я притянула мальчика к себе, прижалась к нему лицом и сквозь слезы увидела слезы и в глазах Зигфрида. Лизбет не вошла в комнату; она стояла в дверях, прислонясь к косяку, и тихо плакала.

Никто не произнес ни слова. Молча смотрели мы, как борется со смертью наш любимый отец. Мы думали, он уже скончался, как вдруг он

обернулся к портрету. И так, глядя на своего отца, старого Натана Альцуфрома, допустил он свой последний вздох.

Глаза его остались открытыми. Курт хотел закрыть их, но я отвела его руку. Это надлежало сделать мне. Это было последнее, чем я могла отплатить ему за его любовь.

В понедельник мы его похоронили. Так как газеты не опубликовали извещения о смерти, никто не пришел на кладбище; одни мы стояли у его могилы.

С тех пор прошло два месяца. Штраф с нас хоть и не сняли совсем, но сумму его уменьшили. Жених Лизбет дал нам денег, чтобы мы могли продержаться первое время. Фамилию мы поменяли без особых затруднений. Вывеску на магазине и табличку на входной двери также заменили.

Что касается мальчика, то в школе его зовут Эдуард Клингер. Но он возражает и заявляет всем и каждому, что его настоящая фамилия Альцуфром.

Все идет своим чередом, но все изменилось. Семья распалась, Бернхард собирается переехать в Гамбург, он утверждает, что там у него будет больше перспектив; на самом же деле он просто не желает нас видеть. Лизбет выходит замуж за своего арийца. Курт ведет дела, и мне кажется, что это ему день ото дня все больше в тягость. Мальчик начал прихварывать. Любовь умерла. Все избегают друг друга. Когда дети разъедутся и малыш подрастет, я последую за Зигфридом.

Прошу вас, подумайте, не поспешили ли вы с выводами. И вините в его смерти не только меня, не только детей, но и наше время, и людей, и весь этот мир. И пусть в вас будет больше сочувствия и жалости к гонимым и больше беспощадности к гонителям.

Пишите, только не забудьте, что наша фамилия теперь не Альцуфром, а Клингер.

Домой на побывку

Летом 1943 года после схватки с советскими самолетами «юнкерс-88» разбился при вынужденной посадке в расположении немецких войск. Трое членов экипажа погибли, а четвертый — стрелок, ефрейтор Карл Каммбергер из Кельна, отделался двойным переломом руки. Четыре недели рука была в гипсе, и за это время ефрейтор настолько окреп, что уже мог встать с койки. Однако, по мнению главного врача, для окончательного

выздоровления требовалось еще четыре недели. Стрелок Каммбергер получил отпуск на родину, о котором мечтал больше года.

Он запасся двумя солдатскими пайками и, потратив много красивых слов и немного ассигнаций, раздобыл у шеф-повара госпиталя несколько банок мясных консервов, а у одного из раненых купил четыре плитки шоколада, оставшиеся еще от последней военной добычи. Со всем этим богатством да еще с трофейным русским револьвером армейского образца в походной сумке и с сердцем, переполненным радостью в предвкушении отпуска, проехал ефрейтор в провиантском фургоне через всю Белоруссию до ближайшей польской железнодорожной станции. Ему повезло: прождав всего каких-нибудь два дня, он пристроился в санитарном эшелоне, отправлявшемся в Германию.

В пассажирском поезде Берлин — Кельн Каммбергер попытался завязать разговор с попутчиками. Но все было как-то странно скупы на слова. Искося поглядывая на ефрейтора, они односложно отвечали на его вопросы. Да и не только с ним были они так неразговорчивы, но и между собой хранили молчание — редко-редко кто слово вымолвит. Неожиданно какой-то пожилой господин спросил:

— Вы с Восточного фронта?

Но и он, выслушав ответ Каммбергера и пропустив мимо ушей его вопрос, лишь неопределенно пробормотал:

— Так, так... Гм... Подумать только!

Тут какая-то дама пожелала узнать:

— А как у вас на фронте с продовольствием?

Каммбергер отвечал, что ничего, жить можно, хотя время от времени бывают перебои в подвозе, да в такой трудной обстановке оно и понятно, а в общем-то, жаловаться не приходится. Дама кивнула, повернулась и ушла в соседнее купе. «Что это они все такие кислые, — думал Каммбергер. — Неужели у них так уж туго с продуктами? Хорошо, что я прихватил с собой кое-что из съестного, Фридль, верно, обрадуется».

Карлу Каммбергеру не исполнилось еще и тридцати лет, а жена у него была на шесть лет моложе. Года не прошло со дня их свадьбы, как грянула война и Карла призвали в армию. До войны он был механиком по точным приборам, и, соблюдая строгую экономию, им с женой удалось приобрести небольшой домик на окраине города. А теперь они уже больше года как не виделись. Карл пытался представить себе жену: верно, она здорово переменилась, из девчонки стала женщиной. Да и сам он за эти годы стал другим. Год на фронте за два считается, а в нынешней войне так стоит и

всех трех. Довелось ему и во Франции побывать и на Балканах, а уж где особенно жарко пришлось, так это на Крите: не один их самолет был там сбит и не один товарищ Карла утонул в море. Но то, что им пришлось испытать на Восточном фронте, не шло в сравнение ни с чем. Красных недооценили, и прежде всего — их летчиков. В воздухе это были сущие черти. Более искусного и бесстрашного противника он, побывавший почти на всех фронтах, не встречал. А тут еще случилось такое, чего никогда раньше не было: самолет их эскадрильи добровольно перелетел на сторону противника. Карл знал этих ребят — все они были отнюдь не из самых плохих летчиков. И — как уже не раз за последние недели — невольно родилась мысль: чем вся эта заваруха на Востоке может кончиться? И вообще что будет с Германией? Четыре года длится война, а ей и конца не видно...

Но поезд уже пересекал Рейн, вдали показались башни собора, и мрачные мысли Карла развеялись. Еще немного, и он обнимет жену, и потекут чудесные, спокойные дни в садике позади дома: там он не услышит ни приказов, ни стрельбы, ни стонов раненых, не увидит убитых: у него отпуск, смерть и страх не властны сейчас над ним, он может снова стать человеком.

Карл Каммбергер втиснулся в переполненный вагон трамвая; он приветствовал этот трамвай как старого знакомого. Целый год, счастливый мирный год изо дня в день ездил он этим маршрутом — утром на работу, вечером — к себе, в свой маленький домик. Пассажиры поглядывали на его забинтованную руку, на Железный крест на мундире. Пожилая женщина, стоявшая позади него, тихо спросила:

— Из России?

Он утвердительно кивнул, и она прошептала:

— У меня два сына там. Может, встречали их где? Три недели нет от них вестей. Пауль и Эрнст Хакбарт. Они в танковых частях.

Каммбергер посмотрел на ее изборожденное морщинами, удрученное горем лицо; два больших глаза испытующе вглядывались в него. Он с улыбкой покачал головой:

— Нет, дорогая фрау, я их не встречал. Я ведь летчик.

Тихий вздох.

Ефрейтору стало немного не по себе; он почувствовал облегчение, когда пришло время выйти из трамвая. Задыхаясь от радости, опрометью бежал он по своей улице. Вон уже виден маленький, утонувший в зелени домик, о котором он так часто думал. Что сейчас скажет Фридль? Он отправил ей

телеграмму из Варшавы, и она знает, что он уже в пути. Карл тихонько отворил решетчатую калитку, которую сам когда-то смастерил. В дверях дома, безмолвная, вся в слезах, стояла его мать.

— Мама!

Они обнялись, и мать разрыдалась. Карл спросил:

— А где Фридль? На работе?

— Мой дорогой мальчик! — Мать погладила его по щеке.

— Мама, где же Фридль?

— Пойдем в дом, сынок.

Потом он сидел на маленькой веранде и, тяжело дыша, слушал, как мать, крепко сжав его руки, говорила:

— Мужайся, мой мальчик. Это какая-то ошибка. Скоро все разъяснится.

Три дня назад Эльфриду Каммбергер арестовало гестапо. Пока матери удалось выяснить только одно: поводом для ареста послужило какое-то письмо, адресованное Карлу. Что было в этом письме, мать не знала.

— А где она сейчас? — нашел он наконец в себе силы спросить.

— Сначала была в следственной тюрьме, а теперь, должно быть, за городом, в концлагере, так сказал мне один чиновник.

Карл встал.

— Куда ты?

— В гестапо!

— Так, — сказала мать. — Но, может, сначала отдохнешь немножко или хоть поешь чего-нибудь?

— Нет.

Ефрейтор Каммбергер снова сидел в вагоне трамвая и ехал обратно в город. Все случившееся просто не укладывалось у него в голове. Он на фронте, а его жена в концлагере. Да это бред какой-то! Это... это подлость неслыханная! Ефрейтора бросало то в жар, то в холод. Уж я добьюсь от них толку! Им придется дать мне отчет в своих действиях!

— Вы с Восточного фронта, приятель?

Каммбергер неподвижно глядел в одну точку.

— Вы из России? — снова спросил сидевший рядом господин.

— Отвяжитесь от меня! — рявкнул Каммбергер.

Пассажиры смотрели на него во все глаза, но он не замечал их

изумленных, недоумевающих взглядов; он видел свою жену в арестантской одежде в холодной тюремной камере. Ему вспомнилось, что рассказывали в тот период, когда коммунистов бросали в концлагеря. Их заковывали в кандалы. Их держали в темных камерах, Их избивали. И сейчас происходит то же самое? Да, и сейчас. На то и гестапо. Они бросают в лагеря даже тех, кого сами называют «настоящими немцами». И даже жен фронтовиков.

В гестапо с ефрейтором обошлись предупредительно. Тщательно отутюженный молодой гестаповец, ведающий заключенными в концлагерях, попросил его присесть и заверил, что в его деле незамедлительно разберутся. Каммбергер не сводил глаз с гестаповца, пока тот звонил по телефону и запрашивал дело Эльфриды Каммбергер.

— Как там на Востоке, камрад? — спросил гестаповец. — Дело сейчас поступит. Вы были тяжело ранены? Когда мы покончим с большевиками?

«Мы! — подумал Каммбергер. — Вот такие молодчики нам нужны были там, на фронте. А они засели тут, в канцеляриях».

— Вы долго были на фронте, камрад? — не получив ответа, продолжал свои вопросы гестаповец. — В летных частях?

— Я летал бомбить Англию. И Крит. А теперь с первого дня в России.

— Всего отведали! — воскликнул гестаповец. — А Железный крест за что получили?

— За Крит.

— Превосходно!

В комнату вошел пожилой служащий и вручил гестаповцу папку.

— Так! Ну, теперь посмотрим, как тут обстоят дела... Хорошо, вы можете идти.

Служащий ушел. Гестаповец принялся перелистывать страницы. Читал, быстро вскидывал глаза на Каммбергера, что-то мычал, читал дальше, наконец, захлопнул папку.

— Гм... Скверно... Ваша жена совершила непостижимую глупость, камрад.

— Какую же?

— Она проявила себя как враг нации.

— Этого не может быть! — воскликнул Каммбергер. — Как это так? Что она сделала?

— Она написала вам письмо и в нем...

Что в нем?..

— Да вот прочтите сами!

Каммбергер схватил письмо. Да, это был почерк его жены. «Дорогой мой муженек, уже больше года мы в разлуке...» Пробежав глазами несколько строк, Каммбергер увидел фразы, подчеркнутые красным карандашом. «Последние бомбежки были ужасны. Когда я думаю о том, что и ты уже второй год творишь где-то такое же, я могу только проклинать эту войну и тех, кто ее затеял...» И еще одно место было подчеркнуто красным: «Я часто спрашиваю себя: что нам в этой безумной войне? Почему нужно убивать столько ни в чем не повинных людей? Карл, милый, надо быстрее положить конец этой войне, и это должны сделать вы, вы это можете...»

Каммбергер почувствовал тупую боль в висках. Он поднял глаза на гестаповца, ни на секунду не спускавшего с него испытующего взгляда. Гестаповец спросил:

— Ну, что вы скажете?

— Я... Я не понимаю своей жены...

— Верю вам, но теперь вы понимаете, что мы должны были взять вашу жену под стражу?

— Что? Нет, этого я тоже не понимаю, — сказал Каммбергер. — Я... Как вам известно, я сейчас в отпуске и хотел бы поговорить с женой. Я мог бы...

— К сожалению, это невозможно, камрад! — прервал его гестаповец. — Послушайте, что пишет ваша жена: «Я говорила со многими людьми, которых ты хорошо знаешь, и все они того же мнения». Однако ваша жена отказывается назвать нам этих людей.

— Вы хотите, чтобы она вам их выдала?

— Ну разумеется! Мы должны знать, кто является врагом государства!

— Но она же не может этого сделать! — возмутился Каммбергер. — Это было бы гнусно!

— Позвольте, камрад, теперь уж я вас не понимаю. Вы...

— Сделайте одолжение, не называйте меня камрадом! — вскипел Каммбергер. — Никакой я вам не камрад!

— В такое время, как сейчас, мы все камрады, земляк, и если...

— Вы — нет! — загремел Каммбергер. — Вы — нет! Ступайте на фронт, вот тогда станете моим камрадом, а пока вы здесь, в тылу, штаны протираете, никакой вы мне не камрад!

— Потише! Что вы себе позволяете!

— Освободите мою жену! Немедленно!

— Вы отдаете себе отчет в том, что вы от меня требуете?

— Я требую, чтобы вы освободили мою жену.

— Слушайте, вы! Вы здесь вообще ничего требовать не можете. И потрудитесь держаться в рамках. Этого требую я.

— Вы? — Каммбергер вскочил, — Вы? — повторил он. — Вы, тыловой вояка?

— Если вы не образумитесь, я прикажу и вас арестовать! Понятно?

Каммбергер ринулся вон из комнаты, пронесся мимо каких-то людей по длинным коридорам гестапо и выбежал на улицу. Ну и сволочь! Окопался в тылу! Женщин арестовывает!.. Камрад!.. «Когда я думаю о том, что и ты... Я могу только проклинать эту войну... Никогда не рассказывай мне, как ты тоже...» А этот хлыщ, подлец этот, засел в своем кабинете да еще говорит: «камрад», «мы»...

Внезапно Каммбергер застыл на месте перед развалинами какого-то дома. По дороге в гестапо он видел из окна трамвая немало разрушенных домов. Но этот дом... расколотый надвое... Комнаты, жилые комнаты, висели в воздухе, держась на уцелевшем брандмауэре, похожие на театральные кулисы... Совершенно другими глазами увидел вдруг ефрейтор этот дом. Быть может... быть может, именно о нем упоминала Эльфрида? Карл стоял перед этими руинами и смотрел на них так, словно никогда не видел разбомбленных домов. Здесь у людей был когда-то домашний очаг... А может статься, и те, кто жил тут, погибли, убиты... «Когда я думаю о том, что и ты...» Ах, подлец! «Мы, камрады...»

Вскоре он снова вошел в кабинет гестаповца. Увидав его, гестаповец спросил холодно, высокомерно:

— Что вам угодно?

— Вы отлично знаете!

— Ваша жена останется в заключении. Отправляйтесь обратно на фронт.

— Куда отправляться?

— Возвращайтесь на фронт, — повторил гестаповец.

— Это говорите мне вы?

— Еще слово, и я вас арестую!

— Никого вы больше не арестуете. Только не вы!.. Один за другим прогремели три выстрела. Гестаповец вскочил и тут же повалился ничком на письменный стол.

В дверях Каммбергер столкнулся с двумя прибежавшими на выстрелы гестаповцами. Он безотчетно направил на них револьвер и дважды спустил курок. В коридоре он всадил последнюю пулю в какого-то эсэсовца, бросил револьвер и дал себя арестовать.

Весенняя поездка

На третий год войны, в один пасмурный апрельский день у государственного советника д-ра Оскара Бимзена окончательно разладились нервы. По этому случаю ему был предоставлен четырехнедельный отпуск для поправления здоровья, и его коллеги стали изощряться, придумывая, как бы ему получше этот отпуск провести. У каждого был наготове добрый совет.

— Я бы, доктор, поехал в Австрийские Альпы.

— Да нет же! На Рейн! Кайзерштуль, Фрейбург, а там...

— Упаси вас бог, коллега! Весной на Рейн не ездят. К тому же — англичане! Не забывайте!

— Оскар, — наставлял его юрисконсульт Фишбек, который был с Бимзеном на «ты», — надеюсь, ты поедешь без своей дражайшей половины, а? Завязать знакомство случай всегда подвернется. Этак ты лучше рассеешься.

В ответ на все эти благие советы д-р Бимзен только улыбался и снисходительно кивал. Он уже решил, что поедет в Швабскую Юру, где рассчитывал вдоволь насладиться прелестью весны вдали от всей этой военной суматохи. Разумеется, он поедет один: ведь ему же надо отдохнуть! Засиживаться он нигде не станет: денек здесь, другой там — как приведется. Так он заодно немножко ознакомится с новыми местами и с тамошним населением, узнает, чем люди дышат, что у кого на уме, — словом, заглянет в душу простого человека. Из бюро ведь носу не высунешь, этак можно и вовсе оторваться от народа.

«Да, этому Бимзену пальца в рот не клади! Тонкая бестия!» — заключили коллеги.

Министерство щедро пошло навстречу. Государственному советнику разрешено было ехать на своем «мерседесе», он получил ордер на заправку бензином, а чтобы избавить доктора от всяких хлопот по части продовольствия, его снабдили хлебом, вином и разной отборной снедью — так, словно отправляли в сверхответственную командировку.

В субботний день отбыл д-р Бимзен на юг в предвкушении четырех солнечных майских недель. Первую остановку он сделал в Донауверте: с этого пункта начиналась как бы уже собственно поездка. Он снял номер в гостинице «У дунайского моста», подкрепился кое-чем из своих запасов и пошел прогуляться по старинному городку. Проходя по рыночной площади, он услышал какой-то жидкий заунывный звон. Д-р Бимзен с удивлением прислушался к этим противным звукам. Он поглядел на колокольню угрюмой церквушки. Там висели мощные колокола; они молчали. А этот пронзительный, колючий звон продолжал раздирать слух, болезненно отзываясь в голове и во всех внутренностях. Экая мерзость!

Доктор Бимзен обратился к прохожему: по какому случаю звонят? Тот сердито ответил:

— А вы что, не знаете? Это же погребальный колокол.

— Ах, вот оно что! Стало быть, кто-то умер?

— Да нынче много помирают.

— Почему же здесь так много помирают?

— Вы что, с неба свалились? Война же!

— Ну да, конечно! Значит, ваш город лишился одного из своих сыновей?

— Одного!.. Сегодня по пятерым звонят.

— Ах, как прискорбно! Уже пять храбрых молодых людей погибло!

— Какой там! Всех-то уже шестьдесят четыре, господин хороший! За один этот год — сорок, и все в России. Да, худо, что и говорить...

Несколько подавленный, д-р Бимзен задумчиво зашагал дальше. Странное дело, старинные дома на рыночной площади с их готическими островерхими кровлями под красной черепицей внезапно утратили для него всякую привлекательность; он остался равнодушен к монастырской церкви в стиле барокко. Этот надоедливый, раздражающий звон беспокоил его, портил ему все впечатление от города. Понятно, идет война, и на войне люди умирают. Все это так. Но вот эта организованная трепка нервов казалась ему совершенно излишней. Поповские выдумки! Бесово семя эти черные рясы!..

Не понравилось д-ру Бимзену в Донауверте; не заночевав в этом городке, вопреки первоначальному намерению, он еще засветло покати́л отсюда прочь.

Вскоре он добрался до маленького городка Тапфгейм. Завернул в скромную двухэтажную гостиницу, выпил за ужином бутылку белого столового вина и лег спать. Дивная тишина: ни грохота трамвая, ни

автомобильных гудков, даже телефон не звонит. Д-р Бимзен слушал шум ветра в кронах старых лип за окном, слушал отдаленный лай собак. Полная луна заглядывала в его низенькую каморку. Государственный советник заснул в самом приятном расположении духа.

Проснулся он от крика петуха. Это ему понравилось — совсем как в деревне! Он подошел к окну. Прекрасное утро, прекрасное и тихое, прекрасные луга, проселки, одетые лесом холмы. И жаворонки заливаются. Ну конечно, он слышит жаворонков! Мимо окна тяжелой поступью прошагали два мужика. Чудесно! Все именно так, как должно быть. Дом стал наполняться шумом. Понятное дело, здесь поднимаются рано. Государственный советник, однако, вновь прилег: немного подремать, немного помечтать — ведь утро только нарождалось...

Внезапно он подскочил на постели. Опять этот гнусный звон?.. Ну да, все тот же визгливый скулеж! Однако не из Донауверта же это доносится. Ну, прости-прощай приятная дремота. Д-р Бимзен покинул свое ложе.

Внизу в буфете хозяйка гостиницы удивилась:

— Бог ты мой! Господин, как видно, привык вставать спозаранок?

— Что это за звон? — спросил д-р Бимзен.

— Да, да, вы подумайте только! Фриц Вурцельхубер пал в бою. Вчера вечером старикам пришло извещение. Малому еще и двадцати не исполнилось.

— В России?

— Ну да! И это уже седьмой. Все наши парни ушли на фронт. А как знать, кто из них вернется. Иной раз думается, может, и никто. Как, бывало, говаривал мои муженек: «Хорошо, что у нас с тобой их нет».

— У вас нет сыновей?

— Нет, бог миловал. Только две дочки.

Настроение было испорчено, и д-р Бимзен пил кофе без всякого удовольствия. Он принес было из номера бутерброды с печеночным паштетом, но аппетит и тут не пробудился. От назойливого звона у доктора разболелась голова. Пенье петухов, лай собак, скрип телег — вот приятная музыка. А это нудное вызванивание просто невыносимо.

— Как долго будет это продолжаться? — спросил он хозяйку, хлопотавшую за невысокой буфетной стойкой.

— Да бог даст, скоро кончится. Такая война ничего, кроме бед не приносит.

— Я спрашиваю, долго ли будут звонить?

— Не долго, нет. Хотя на прошлой неделе целый час звонили. Тогда трое погибло. В один день. И между прочим, Карл, сын наших соседей Пригелей. Какой это ужас, когда на тебя такое обрушится!

Уже до крайности раздосадованный, д-р Бимзен направил свою машину через город Диллинген, мимо старого замка, мимо некогда знаменитого университета. С опасливым недоверием поглядывал он вверх на каждую церковную колокольню. Но нет, погребальные колокола молчали. И все же государственный советник не доверял этому молчанию. Каждую секунду он ждал, что в воздухе опять разольется погребальный звон. И лишь после того, как город остался позади и машина выехала на шоссе, д-р Бимзен вздохнул свободно. Не звонят. «Боже милостивый, — думал советник, — со мной что-то творится, прямо как с тем ребенком из баллады... Я, кажется, боюсь, что этот колокол погонится за мной». Нет, он не должен больше думать об этом звоне. У него отпуск, ему надо отдохнуть. Для него сейчас войн не существует. В ближайшем живописном местечке он отдохнет всласть. И д-р Бимзен закурил одну из побереженных для отпуска сигар, которые даже для него стали бы недоступной роскошью, не имей он тайного поставщика в Гамбурге.

Медленно ехал государственный советник вдоль берега Дуная, который здесь хотя уже и не мчался бешено, но все же струился довольно молодо и резво. Дивный майский день. Синее-синее небо. На нем кое-где прозрачные перистые облачка. И солнце сияет. И зеленеет молодая листва. Жизнь может быть прекрасна, и он проведет восхитительный отпуск. Каждая крестьянская телега, каждый поселанин, каждая поселанка — все представляло интерес. Экий дурень он был! Давно бы ему надо предпринять такую поездку.

Сняв номер в гостинице «У Альбертуса Магнуса» в очаровательном городке Лауинген, государственный советник решил пробыть здесь два дня; ему захотелось осмотреть эту средневековую резиденцию баварских герцогов и вдоволь побродить по берегу Дуная. Он попросил хозяйку гостиницы приготовить припасенную им в дорогу курицу и откупорить бутылку рюдесгеймера. За столом он заигрывал со служанкой Мирци, проворной бойкой девушкой, которая в ответ на его поддразнивания за словом в карман не лезла.

В буфет заглянули два лауингенских бюргера. Как видно, это были завсегдатаи, ибо хозяйка налила им украдкой белого вина. Д-р Бимзен пригласил их присесть за его столик и отведать рюдесгеймера. Они представились: один оказался портным — хозяином мастерской, другой владельцем писчебумажной лавки. Портной крикнул хозяйке:

— Как печально, фрау Карлбах! Это у Бюреров... Их сын Отто, студент... Вы же его знали...

— Что вы говорите! — воскликнула хозяйка. — Ай-ай-ай! И этот тоже? Бедный мальчик!

Доктор Бимзен почуял недоброе и сказал, чтобы переменить тему:

— Я предполагаю пробыть здесь два дня. Что тут следует поглядеть?

Портной ответил:

— Прежде всего, сударь, нашу замковую башню. Наша башня да еще Пизанская — это две самые достопримечательные башни на свете.

— Да-да, как же, — подхватил владелец писчебумажной лавки. — А еще сходите в замок и в нашу приходскую церковь. Те, кто жил в замке, лежат теперь в церкви, в роскошной княжеской усыпальнице. В нашем Лауингене есть-что посмотреть.

У д-ра Бимзена потеплело на сердце от беседы с этими достойными мужчинами. Он усердно подливал им вина. Уже давно пошла в ход вторая бутылка, извлеченная из запасов. Вот как славно беседует он, окунувшись в гущу народа! Тут портной прервал словоохотливого торговца:

— Постой... Слышишь?

— Что?

— Погребальный колокол.

— Как?! — воскликнул д-р Бимзен.

— Так ведь у нас опять пришло четыре похоронных извещения. Вот и Отто Бюрер тоже. А какой парень был! Бедные старики... Такое горе!..

Теперь уже и д-р Бимзен услышал эти жидкие дребезжащие звуки. Повальный психоз какой-то этот погребальный трезвон! Почему его до сих пор не запретили?! Неужели всех надо оповещать о том, что кто-то погиб на войне? Так можно отбить у человека всякий вкус к жизни...

— А вы тоже хотите послушать, сударь?

— Да, конечно, прошу прощения...

— Я тут рассказывал о госпоже Мурнат, у которой виноградник на Боденском озере. Она поклялась руки на себя наложить, если муж ее будет убит. И что вы думаете? На прошлой неделе в среду пришло извещение, что лейтенант Мурнат погиб. Так вот вообразите: в три часа дня получила она это извещение... а в четверть четвертого повесилась.

— Что говорить, много трагедий несет с собой эта война, — вставил владелец писчебумажного магазина. — Кузнец из Метцингена потерял уже

троих сыновей!

Да хватит наконец, заладили все об одном и том же! — вскричал вдруг д-р Бимзен. — Не желаю я больше про это слушать!

— Оно, конечно... — в некотором замешательстве проговорил торговец. — Это не для чувствительных ушей.

А портной заметил:

— Ваша правда! Я и сам бы рад вовек про это больше не слышать.

Затем оба умолкли. А погребальный колокол продолжал звонить.

Государственный советник влил себе в глотку полный стакан рюдесгеймера. Не помогло: зловредный трезвон проник в него вместе с вином, разлился по жилам и отравил настроение. Государственный советник вдруг замахал руками и взвизгнул:

— Прекратить! Прекратить!

Портной и торговец молча поглядели друг на друга и обменялись кивком. Это не укрылось от д-ра Бимзена; он сделал над собой усилие и взял себя в руки. Черт возьми, что подумают о нем эти люди! Он сказал:

— Говорите, что хотите, а только этот погребальный трезвон — гнусный обычай!

Портной и торговец снова переглянулись.

— Да, да! — вскипел д-р Бимзен. — И я позабочусь, чтобы с этим безобразием было покончено! Пусть черные рясы не воображают, что им позволено делать все, что вздумается!

Еще раз безмолвно обменявшись взглядом, портной и торговец почти одновременно встали и покинули буфет. Портной что-то пробормотал себе под нос. Звучало это примерно так: «Слышал ты, что сказала эта поганая прусская свинья?»

Час был поздний, не то д-р Бимзен тут же собрался бы и покинул этот город. Он выпил еще стакан вина и тупо уставился в одну точку. Слава тебе господи, трезвон кончился! Ясно, однако, что спасенья от этого нет нигде. Каждую минуту может снова начаться. Как в Донауверте, как в Тапфгейме — лишь бы кладбище было! Д-р Бимзен твердо решил, что больше он этого терпеть не намерен. Он проведет остаток отпуска в нейтральной Швейцарии. Визу министерство, конечно, добудет ему без труда. Он тут же набросал телеграмму: «Здесь невыносимо тчк оформите визу Швейцарию тчк доктор Бимзен», вручил ее хозяйке гостиницы и попросил незамедлительно отнести на почту. После чего вышел из буфета и направился к себе в номер.

Ах да, тут эта смазливая девчонка!

— Ну-с, фрейлейн Мирци, — приступил государственный советник, — нравится вам в Лауингене?

Мирци поглядела на него и ответила:

— Нет.

Славная девчонка, девчонка что надо, подумал д-р Бимзен. Так ведь напрямик и сказала: «Нет!» Смотри-ка!

— А почему же нет?

— Да скука-то здесь теперь какая. Всех парней забрали на фронт. А моего-то в первый же день!

Доктор Бимзен опять вышел из равновесия и разнервничался. Ну, с кем ни заговори, о чем ни заговори — все одно и то же.

А Мирци, не замечая взвинченного состояния господина доктора, продолжала:

— Тут давеча ужас что было!

Государственный советник насторожился:

— Что же именно?

— Представляете: сын Мерзернов откусил себе палец.

— Откусил палец?

— Да, ну что вы скажете?

— Кто он такой, этот Мерзерн?

— Ах да, вы же не знаете... Горемыка он. Воевал во Франции и что-то там с ним стряслось. С головой у него теперь неладно.

— И он палец себе откусил? — снова спросил д-р Бимзен.

— Да, понимаете, как только зазвонит погребальный колокол, он места себе не находит. Раз как-то начал крушить направо и налево и все как есть переломал. А теперь вот палец откусил. Какой — в точности не знаю, но только думаю...

— Вон! Вон отсюда!.. Убирайся прочь!..

Девушка взвизгнула и выскочила из комнаты.

Доктор Бимзен запер дверь и забегал из угла в угол.

Сон его был беспокоен. Колокол трезвонил, не умолкая. Доктор очутился в городе, где в каждом доме был погребальный колокол, И все они звонили. Доктор увидел знакомого, и тот заговорил с ним, но вместо слов

раздался пронзительный трезвон. К его постели подошла жена, и заунывный погребальный звон полился из ее уст. Д-р Бимзен вскрикнул. Вбежала Мирци. «Только молчи! — взмолился доктор. — Бога ради, не раскрывай рта!» Мирци покачала головой. Голова качалась с тоскливым звоном погребального колокола...

Доктора Бимзена выволокли из кровати. Уже лежа на полу, он все еще думал: «Какой дикий сон!» Но это уже был не сон, а суровая действительность.

— Он самый! — услышал доктор голос портного. — «Безобразие», говорит... «Черные рясы», говорит.

А торговец добавил:

— «Гнусный обычай», говорит... Ну, прусская свинья, погоди, мы тебе покажем!

Да, это была уже вполне ощутимая реальность. Д-р Бимзен мог в этом больше не сомневаться: удары так и сыпались на него.

— А меня-то он как напугал! И ведь только со зла! — вскричала Мирци и съездила его веником по лицу. Д-р Бимзен завопил, призывая на помощь полицию. В ответ он опять получил по физиономии — раз, другой, третий... Он вскочил, зашатался и снова растянулся на полу. Кто-то крикнул с угрозой:

— Вон из моей гостиницы, прусская свинья, сволочь!

Сильно ныло в боку; опухшее, изукрашенное синяками лицо горело и саднило; д-р Бимзен, весь в жару, пылая гневом, ехал глухой ночью на своей машине по шоссе в Ульм. Планы мщения проносились у него в мозгу. Всю эту банду надо проучить! В концлагерь их! И Мирци, эту дрянь, туда же...

На рассвете государственный советник добрался до Ульма. Боль в левом боку стала нестерпимой. «Скажу, что попал в аварию», — думал советник. А душа требовала — донеси на них! Государственный советник подъехал к больнице. С трудом вылез из машины. Но у подъезда силы его покинули.

У д-ра Бимзена обнаружили перелом трех ребер, и вдобавок он лишился своего последнего здорового коренного зуба.

Спустя несколько дней государственному советнику принесли почту. Его супруга уже находилась на пути к нему. Коллеги выражали соболезнование и желали скорейшего выздоровления. К письму была приложена газетная вырезка, и д-р Бимзен прочел нижеследующее:

«Тяжелая авария. Самоотверженный, неутомимый член нашей партии, государственный советник д-р Бимзен во время служебной поездки стал жертвой несчастного случая. По сообщению городской больницы в Ульме, жизнь пострадавшего, к счастью, вне опасности».

«Вот ведь как они все это изобразили, — думал растроганный д-р Бимзен, — Самоотверженный, неутомимый член партии... Ну да, собственно говоря, если правильно рассудить, то это и был несчастный случай, а я... я жертва...»

Он понял, что при сложившихся обстоятельствах донос был бы политической ошибкой. Кое-кто из его злоязычных коллег начнет, пожалуй, упражняться в остроумии по поводу его «весенней поездки». Но от какого бы то ни было общения с народом надо будет впредь воздержаться, решил он.

Молчащая деревня

На первой же лекции Андреас Маркус, студент факультета общественных наук Ростокского университета, привлек к себе внимание д-ра Бернера: живое, одухотворенное лицо студента было обращено к лектору, как настежь распахнутое окно. Именно этот студент однажды, после лекции, выступил против изложенных профессором основных принципов диалектики. Не раз бывало, что за одобрением, высказанным вслух тем или иным слушателем, чувствовалось внутреннее несогласие; в возражениях же Андреаса Маркуса звучала нотка какого-то радостного изумления перед раскрывающимися его духовному взору новыми горизонтами.

Студент и профессор шли по аллеям парка и говорили о мудрости древних греков и ограниченности многих своих современников. Еще не совсем стемнело и не все скамейки были заняты влюбленными парочками, так что они уселись под гостеприимной сенью старого раскидистого каштана, окутавшего их уютным сумраком.

Доктор Бернер спросил своего нового знакомого, откуда он родом и как ему удалось уцелеть во время войны. Его интерес к молодому человеку возрос, когда он узнал, что тот родился и жил в Гамбурге, всего лишь год назад вернулся из Канады, где был в английском плену, и теперь хочет стать архитектором.

— Архитектором? — удивился д-р Бернер.

— Да. И вы, конечно, в недоумении, почему я решил сначала пойти на

факультет общественных наук? — сказал студент. — Сейчас объясню. Раньше чем строить для людей дома или мосты, я хочу узнать, как построено всё общество. Меня давно интересует история архитектуры, орнаментика и главным образом архитектоника. Однако я хотел бы изучить историю архитектуры в более широком объеме, чем это делается обычно. Что толку от того, что я буду знать зодчество восточных народов, древних греков или христианскую архитектуру раннего средневековья, не имея представления о социальной структуре тех эпох, на почве которых они выросли? И что меня больше всего увлекает, — продолжал он с ясной улыбкой, словно уже видел свое будущее, — так это идея обновления современного зодчества силой духа обновленного общества.

— Большая и прекрасная задача, — согласился профессор. — На мой взгляд, как ни странно это может показаться ученым специалистам, ваш подход к изучению архитектуры вполне логичен. Но как вы пришли к такой идее? Кто-либо из великих зодчих рекомендовал подобный метод?

— Не знаю, — задумчиво ответил Андреас. — Мне кажется, что старые мастера не нуждались в нем, они жили в самом тесном единении со своим веком. В наше время это не так. В наши дни архитектура стала ремеслом, и большинство изучающих ее приобретают чисто ремесленные знания. Потому у нас так много архитекторов и так мало истинных зодчих.

Этот студент, обладавший всеми качествами, которые можно требовать от здоровой молодости — свежестью, прямодушием, общительностью, тягой к знаниям, был д-ру Бернару очень симпатичен. Сочетание таких качеств особенно удивило и обрадовало его, когда он узнал, что жизненный опыт Андреаса не раз был омрачен тяжелыми разочарованиями в людях, с которыми он сталкивался в канадском лагере для военнопленных, да и у себя на родине. Его вера в пресловутое товарищество потерпела в лагере полный крах. Эгоизм, подлость, раболепие, ложь процветали там вовсю; ради какой-нибудь ничтожной привилегии сосед предавал соседа, напарник — напарника.

— А на родине?.. Но это особая статья... Трагедия, скажу я вам. Не знаю даже, следует ли об этом распространяться.

— Вы имеете в виду разрушенную Германию? Разбомбленный Гамбург? Могу себе представить, как потрясло вас все увиденное...

— Нет... Нет... Это было еще не самое страшное. Я видел, нечто гораздо более ужасное, видел, если угодно, разрушенных людей. Но и это не точное слово — я видел людей, отягченных бременем собственной вины, людей, которые из трусости, из страха не отваживались признать эту свою чудовищную вину и потому стали послушными орудиями позорного

преступления. Это, да, это было самое страшное. С подобным кошмаром я столкнулся в маленькой деревушке, расположенной между Людвигслустом и Шверином. Судьба Долльхагена — так называется эта деревня — у нас на родине не исключение, но поведение ее жителей, по крайней, мере я надеюсь, не характерно для всего нашего народа, иначе... и представить себе не могу, что было бы иначе.

— Расскажите же, Андреас, что там произошло, в этом Долльхагене? — настойчиво попросил профессор. — Как вы вообще туда попали?

— Там жила Эрика, моя невеста. Ее родители — крестьяне. У них там свой дом, свое хозяйство... Долльхаген? Мне очень хотелось бы рассказать вам о нем, но это длинная история, а ведь у вас на счету каждая минута.

— Вы и до войны там бывали?

— До войны нет, но до того, как я попал в плен. Мы с Эрикой познакомились во время войны, в Любеке. А потом... Да, я часто бывал в Долльхагене, хорошо знал тамошних жителей.

— А что же вас так разочаровало, когда вы вернулись?

— Ну, как вам сказать? Там все было по-другому. Люди изменились до неузнаваемости. Раньше это были крестьяне как крестьяне, да еще мекленбургские: неразговорчивые, чудаковатые, корыстолюбивые, но не лишённые добродушия, сердечности, склонные к юмору, в общем, что называется, люди порядочные. А в сорок седьмом, когда я вернулся, я не узнал долльхагенцев. Странная перемена произошла с ними, они стали какими-то резкими, злыми, замкнутыми. Деревня замкнулась в молчании. Затерянная среди дремучих бескрайних лесов, в стороне от больших дорог, она всегда казалась тихой и сонной, но теперь это была молчащая деревня. Люди ходили с мертвыми лицами, не глядя друг на друга. Даже милое лицо Эрики трудно было узнать... И ее крик, когда она меня увидела... Только позднее мне все стало понятно. Вот видите, незаметно я уже начал рассказывать...

— Рассказывайте, Андреас, рассказывайте! Мне уж не терпится услышать, что за история произошла в этой молчащей деревне.

— Если вам не жаль вашего времени: как я уже сказал, история длинная и отнюдь не веселая, — медленно произнес Андреас, видимо все еще колеблясь.

Некоторое время оба сидели молча, старший и младший, учитель и ученик. Над ними в листве каштана шумел поднявшийся вечерний ветерок. Со стороны реки, вдоль берега которой тянулся парк, без усталости куковала кукушка. Через Кределинские ворота прогромыхал трамвай.

— Я уже сказал, что, увидев меня, Эрика издала отчаянный крик. — повторил Андреас. — Одно это могло бы натолкнуть меня на мысль, что тут что-то неладно. Но я истолковал ее крик, ее искаженное испугом лицо совсем по-другому. Иной раз девушки ведут себя странно, они могут рыдать от радости и смеяться, когда бы следовало плакать.

Эрика работала с отцом на свекольном поле; я увидел их уже издали. Три года я пробыл в плену, срок немалый, особенно если эти годы прожиты тобою в Канаде и если при этом не было часа, когда бы ты не думал о Германии, не мечтал о ней. Первая мучительно-радостная встреча с родиной произошла в Бремене, куда нас привезли на английском транспортном судне. Поверьте, не у меня одного по лицу катились слезы, слезы, которые все мы хотели бы скрыть, но которые выступали, как капли крови из незажившей раны. Однако радостные возгласы застряли в горле, когда на нас глянули страшные руины да остатки некогда гордых башен. Скрюченные и расплющенные, лежали громадные железные конструкции верфей, точно скелеты давно вымерших гигантов. Разгромленные, опустошенные стояли машинные залы. А перед входом в гавань лежало потопленное торговое судно; из воды торчали только мачты и кусок трубы. Такой была наша первая встреча с родиной...

Выправив документы, я поехал в Гамбург. Та же жуткая картина разрушенного войной города, повсюду обломки, осколки и горы, целые горы щебня. И все же это был Гамбург, город, где я родился. Я смотрел на него любящими глазами и сквозь его изувеченные черты видел знакомые, с детских лет милые сердцу картины. Меня не столько поражали руины, сколько лихорадочная жизнь среди них, суетливое копошение, караваны грузовиков, грохочущих по безликим улицам, товарные поезда, ползущие над развалинами по высоким виадукам к мосту через Эльбу и дальше, в глубь страны, дымящиеся кое-где фабричные трубы, как будто бы под развалинами все еще тлел огонь. Гамбург жил какой-то призрачной жизнью и этом мире обломков. Мне казалось даже, что среди них бурлит жизнь более деятельная, чем раньше, когда все гало по разумной, привычной колее. Точно так же, с такою же лихорадочной деловитостью бегают взад и вперед уцелевшие муравьи в разворошенном муравейнике.

В Гамбурге я навестил сестру. Ее муж, владелец угольного склада, пройдоха парень, который при Гитлере был нацистом, а с приходом англичан стал демократом, сколотил себе изрядное состояние. Но это неинтересно и к моему рассказу отношения не имеет.

Мне, стало быть, хотелось поскорее увидеть мою невесту. Почти год, как прервалась наша переписка, и я хотел убедиться, что все между нами осталось по-старому: ведь за год может многое произойти, даже в таком

богом заброшенном углу, как деревня Долльхаген.

Как вор, пробирался я с запада на восток Германии, как бродяга, шел по дорогам от деревни к деревне.

Но позвольте раньше сказать несколько слов о Долльхагене. Где-то я прочитал, что скучные страницы летописи — верное свидетельство того, что жизнь в описываемые времена была счастливой. Если это так, то крестьяне Долльхагена на протяжении трех столетий, с тех пор, как шведские рыцари в Тридцатилетнюю войну разрушили Долльхаген, жили на редкость счастливо. Долльхаген не упоминается в летописях. Немногие у нас в стране знают о его существовании. В учебниках по истории об этой деревне не говорится, ибо поблизости от нее никогда никаких сражений не происходило. Ни один долльхагенский землевладелец никогда и ничем не прославился хотя бы уже потому, что здешняя земля никого не привлекала — настолько она скудна. Из века в век поколения там сменяли поколения, но одно из них мало отличалось от другого. За смертью следовали рождения точно так же, как осень следует за весной и жатва за посевом. Но вот опустошительная война наших дней в свои самые последние часы прошла кровавыми шагами и через Долльхаген, и я уже предвижу, что в будущих учебниках по истории и исторических книгах появится имя этой деревни. Однако, увы, в связи с далеко не славными событиями.

Деревня Долльхаген, окруженная дремучими лесами, строилась на лесных землях. Только в начале века мимо нее проложили железную дорогу, боковую ветку, ведущую в глубь этого края. В Долльхагене, как во всех мекленбургских деревнях, есть памятник жертвам войны, церковь, пожарное депо на околице. Долльхагенцы — это так называемые свободные крестьяне: деревней никогда не владел ни один помещик; тамошняя земля, как я уже сказал, не привлекала крупных землевладельцев. Однако местные крестьяне очень разнились по своим земельным наделам. Правда, лишь одному из них принадлежало чуть ли не целое поместье с обширным скотным двором и многочисленной дворней. Большинство же долльхагенцев, в том числе и коренные жители, были малоземельными крестьянами, в лучшем случае, что называется, середняками, в поте лица трудившимися на своих песчаных участках, чтобы добыть себе и своей семье скудное пропитание. Были там и просто бедняки с такими ничтожными наделами, что мужчинам приходилось работать на железной дороге или уходить на лесопильню в соседнюю деревню Вике, так что их жены и дети поневоле сами управлялись со всем хозяйством.

Вот что такое Долльхаген, представший передо мной среди густых хвойных лесов. В далекие времена на месте окруженных лесами пахотных земель была, вероятно, пустошь, ибо там и сям на краю дороги попадаются

густые заросли вереска. На размежеванных участках кое-где цветет картофель, золотится чахлый ячмень, а между ними расположены аккуратно очерченные посевы свеклы, рапса, репы и какой-то целебной травы, особенно хорошо растущей на этой песчаной почве.

Перед входом в деревню, точно гигантские стражи, стоят три старых-престарых дуба. Как уж они затесались сюда, среди сосен и елей, никому не ведомо. Рассказывают, будто в незапамятные времена под их кронами здешние жители, подобно древним германцам, держали совет и вершили суд прямо под открытым небом. Под средним дубом всегда стояла скамья. Возвращаясь с поля, долльхагенцы любили присесть здесь на несколько минут передохнуть и полюбоваться окрестностями.

Я вам говорил, что издали увидел Эрику, работавшую на свекольном поле. Она же меня не заметила. И мне захотелось посидеть немного на скамейке, под дубом, чтобы внутренне подготовиться к нашей встрече. На мое удивление, знакомой скамьи здесь не оказалось. Странно, подумал я, ведь долльхагенцы так любили это местечко. Каждая прогулка по деревне завершались под тремя дубами. Шутили даже, что большинство долльхагенцев были зачаты под шатром их густой листвы. Я привалился к стволу одного из дубов и смотрел на Эрику. Издали она показалась мне пополневшей. Она и раньше была крепкой деревенской девушкой, а сейчас в ней появилось уже что-то от взрослой женщины, что-то более зрелое. Как она встретит меня? Что скажет? Не забыла ли? Всего каких-нибудь три дня, как я вернулся, на родину, но уже успел наслышаться самых невероятных историй. Рассказывали, что мужья, возвратившись из плена, нередко заставляли своих жен замужем за другим, с целой оравой чужих ребятишек. Помню трагический случай, который произошел в Канаде. Был там в лагере один солдат из старой партии пленных, которого взяли еще в тридцать девятом. Четыре года спустя он подружился со своим земляком, только что доставленным и лагерь. Как-то раз этот новый пленный стал жаловаться на свою беду: он, мол, всего год назад как женился и даже не успел по-настоящему вкусить семейного счастья, а теперь, вероятно, увидит свою молодую жену не раньше, чем у нее на верхней губе усы вырастут. В разговоре выяснилось, что жену того и другого зовут Орла — имя, встречающееся довольно редко. Первый пленный побледнел и дрожащей рукой вынул из нагрудного кармана потрепанную фотографию.

— Это... это моя жена!

— Правда?! — откликнулся его земляк. — А я до сих пор думал, что моя.

Здесь, под тремя дубами, пришла мне на ум эта история. Быть может, и у

Эрики уже кто-нибудь есть...

Что вам сказать? В первую минуту нашей встречи я был уверен, что это именно так.

— Андреас! — вскрикнула она в ужасе и вся побелела.

Я медленно шел ей навстречу и видел, как она дрожит. Все кончено. Одна эта мысль владела мной. Но последовавший затем ее возглас: «Пойдем отсюда! Пойдем отсюда!» — удивил меня. Нет, сказал я себе, здесь кроется что-то другое.

— А куда, Эрика? Куда? — спросил я и притянул ее к себе.

— Идем! Идем!

И она быстро увела меня прочь от трех дубов. Я машинально пошел следом за ней. Я и сам был в таком смятении, что в голове у меня все смешалось. Теперь мне кажется странным, что поведение Эрики не насторожило меня.

Эрика плакала. Всклипывала и плакала. Но, будто ища во мне опору, она положила голову мне на плечо. И мы, не обменявшись больше ни словом, направились в деревню.

За несколько дней до моего приезда между Эрикой и ее родителями произошел разговор. По поводу меня. Разумеется, узнал я об этом много позже. Эрика спросила: «А что, если Андреас скоро приедет?» На что отец ее, старик Пенцлингер, вообще-то человек неплохой, как вы потом увидите, пристально взглянув на нее, предостерегающе, чуть ли не с угрозой ответил: «Тогда... тогда помни мой наказ: молчи. Ни слова, даже ему!» В комнате наступила гнетущая тишина. И Пенцлингер добавил:

— Если не хочешь навлечь беду на себя, на нас, на всю деревню, тогда молчи. Как это делают все.

И мать тоже прогудела в поддержку отца:

— Да-да, молчи, ради бога.

— Ладно уж, буду молчать, — ответила Эрика. — Но вы так говорите, словно было бы несчастьем, если б он приехал.

И вот я действительно приехал. Старики Пенцлингеры встретили меня дружелюбно, ничего плохого не могу о них сказать, но держались они крайне сдержанно, замкнуто, настороженно.

И не они одни. Вся деревня смотрела на меня неприязненно, при встрече со мной люди опускали глаза. Мне так и не удалось завести с кем-нибудь разговор. Да бог ты мой, особой словоохотливостью долльхагенцы и прежде не отличались, но когда на все, что бы я ни сказал, они отвечали

стеклянным взглядом рыбьих глаз и поджимали губы, словно они у них были склеены, мне становилось жутко, эти люди казались мне не в своем уме.

Однажды я проходил мимо усадьбы зажиточного крестьянина Уле Брунса. От Эрики я уже знал, что Брунс сохранил свое хозяйство, хотя при Гитлере он был ортсgruppenführером в Долльхагене. Он нагло отрицал это, и никто из односельчан не отважился вывести его на чистую воду. Мне этот Брунс никогда не был симпатичен. Переселенец из Голштинии, он принадлежал к тому типу холодных и беспринципных деревенских богатеев, которые думают только о своей выгоде, умеют приспособиться к любой ситуации и из любой ситуации извлекают для себя наибольшую пользу. Как мне рассказывали, в конце тридцать девятого года он прибрал к рукам мельницу старого Бокельмана. Бокельман умер от кровоизлияния в мозг; его дочь Герта, единственная наследница, была замужем за адвокатом-евреем, занимавшимся частной практикой в главном городе земли Мекленбург Шверине.

Кровавой гитлеровской весной тридцать третьего года, спасаясь от преследований, супруги ринулись в Берлин, надеясь затеряться в большом городе. Герте Бокельман, теперь Зильберштейн, предложили развестись с мужем; только при этом условии ей, выходцу из старинного крестьянского рода, обещали простить ее «ошибку». Герта отвергла это наглое предложение, и мельницу в Долльхагене конфисковали в пользу чистокровного арийца. Как стало известно позднее, супруги Зильберштейн с тремя маленькими детьми были отправлены в концлагерь Аушвиц. Мельница же досталась Уле Брунсу, которому крейслейтер формально продал ее за смехотворно низкую цену. Она и поныне принадлежит Брунсу, он отдал ее в аренду некоему Цимсу.

Подумать только: Уле Брунса никто пальцем не тронул! Демократы поистине не жалеют своих голосовых связок, произнося пламенные речи, но на деле проявляют непостижимую терпимость в отношении наших врагов, а те, дай им только волю, задушили бы в газовых камерах, сожгли бы в печах еще не одну сотню тысяч человек. Проходя мимо, я как бы невзначай взглянул на палисадник Брунса и просто испугался, увидав на пороге дома самого хозяина. Он стоял, широко расставив ноги. Я колебался. Подойти и поздороваться за руку? Нет, черт возьми, с него довольно будет, если я поклонюсь ему издали.

— Здрасьте, господин Брунс! — Не услышав ответного приветствия, я только из смущения прибавил: — Вот я и дома!.. Вернулся!

Уле Брунс молчал по-прежнему. Но самое жуткое было то, что он в упор,

не мигая, смотрел на меня и при этом не проронил ни звука, не кивнул мне, не помахал рукой: молча и неподвижно стоял он на пороге своего дома. Он провожал меня взглядом до тех пор, пока я не исчез, из виду. Старый дурак, думал я, дождешься ты у меня, чтобы я еще когда-нибудь с тобой поздоровался. Отныне ты для меня пустое место!

Несколькими домами дальше, возле лавчонки Мартенса, где я, приезжая Долльхаген, покупал, бывало, для Эрики каких-нибудь сладостей, дорогу перебежал мальчуган лет десяти и остановился, с любопытством уставившись на меня.

— Здравствуй, парнишка! Ты чей будешь?

— Разве не узнаешь? Я — Аксель, купца Мартенса сын.

— Ну конечно же. Аксель, конечно!

«А-а-ксель!» Дверь лавчонки с шумом отворилась, и я увидел толстого угрюмого Оттомара Мартенса. Своими злыми глазами он смотрел на меня так, словно никогда сроду не видывал.

— А-а-ксель!

— Беги, мальчуган, отец зовет тебя!

Я смотрел вслед бегущему по деревенской улице мальчику. Я видел, как он влетел в открытую дверь, которая мгновенно, словно по волшебству, захлопнулась за ним.

Все это было непонятно. Не узнают меня долльхагенцы, что ли? Ведь не так уж я изменился за эти несколько лет.

Железнодорожный рабочий Бёле — на краю деревни, на самой опушке леса у него был маленький участок земли — неожиданно появился передо мной. Бёле, давнишний социал-демократ, теперь, надо думать, стал человеком влиятельным, решил я. Он взглянул на меня, всмотрелся более пристально, потом повернулся спиной, перешел железнодорожный путь и исчез так же неожиданно, как и появился.

Весь Долльхаген был словно заколдован, и Эрика в том числе. Но несмотря на это, не будь она уже моей невестой, я бы тут же, с первой минуты нашей встречи, влюбился в нее. В ней, хотя и довольно полной, ядреной, как у нас говорят, не было ничего крестьянски грубого. Но в лице, раньше таком спокойном, ясном, мелькало выражение затаенного страха. Я как-то поймал на себе ее странный испуганный взгляд. Густые каштановые волосы Эрики отливали темной медью. Как перламутр, блестели светлые глаза. Она была еще прекраснее, чем та, воображаемая Эрика, что посещала меня долгими одинокими ночами в канадском лагере. Мы забывали о ее родителях. Для нас никто не существовал. Мы видели только друг друга и

все время открывали друг в друге что-то новое. Взявшись за руки, мы глядела друг другу в глаза, болтали, смеялись. Оба мы были во власти любви, и, вероятно, со стороны наше поведение казалось довольно глупым. И все же Эрика что-то таила от меня. Какое-то беспокойство, какой-то страх не покидали ее.

Однажды Пенцлингер отвел меня в сторону и спросил:

— Ты к нам надолго? Надумал остаться здесь?

— И да и нет, — ответил я, смеясь, — Поживу, пока Эрика не поедет со мной.

— Как тебя понять?

— Мы поженимся.

— А где жить будете?

— В Гамбурге. Возможно, в Любеке, где-нибудь уж осядем.

— Значит, в Западной?

— Ты-то согласен, папаша Пенцлингер?

— Я бы не прочь даже, чтобы это произошло поскорее.

Это была прямо-таки обезоруживающая откровенность.

На меня смотрели как на помеху, как на чужака. Собственной дочерью и то жертвовали — лишь бы от меня избавиться. Между тем я не был крестьянином и напрямик заявил, что никогда им не стану, хотя я знал, что для папаша Пенцлингера это было тяжким разочарованием: Эрика у стариков единственная дочь, и умрут они, хозяйство попадет в чужие руки.

— Ладно! Значит, на Запад подадитесь, — повторял Пенцлингер. — Это хорошо: если война начнется, они тебя не сразу возьмут.

— Война?! — воскликнул я в изумлении, словно не расслышал, как следует. — Бог ты мой, кто сейчас думает о войне? О последней-то еще не успели забыть!..

— Без войны не обойтись, — раздраженно пробурчал старик. — Так ведь все оставаться не может.

— Папаша Пенцлингер, — воскликнул я, — этого мы не должны допустить! И не допустим!

— Нас с тобой не спросят, — не без иронии сказал Пенцлингер и назвал меня наивным младенцем, несмотря на все передраги, через которые мне пришлось пройти.

Но больше всего меня смутило предупреждение, что оставлять меня у

себя в доме он больше не может — люди, мол, косятся. Мне, дескать, следует позаботиться о комнате в деревенской гостинице. Заметив разочарование на моем лице, Эрика улыбнулась и подмигнула мне, желая приободрить.

— Девчонка наша, считай, отрезанный ломоть, — сказал жене вечером Пенцлингер.

Посмотрев на мужа остановившимися глазами, она пробормотала:

— Все-таки я еще надеюсь... — и не договорила, на что именно она надеется.

— А я нет, — ответил муж, с трудом стаскивая с себя куртку, — Видать же, она вся горит!

Позднее, когда Пенцлингер уже лежал в постели, жена услышала, как он разговаривал сам с собой:

— В конце-то концов он неплохой парень, ничего худого о нем не скажешь, вся беда, что не крестьянин... И беда немалая...

— А если уедет, будет она молчать?

Пенцлингер потянулся и прогудел:

— Ну, пусть не будет, нам-то чего бояться?

Жена вскрикнула и рывком привстала на постели.

— Чего ты городишь? Бояться нечего! — И тут вдруг оказалось, что язык у нее отлично подвешен. — Ты должен ей еще и еще раз как следует вдолбить, пусть молчит. Не то всех нас предадут проклятью! От срама глаза некуда будет девать! А ты — нечего бояться! Никто разбираться не станет, кто прав, кто виноват. А у кого из нас, скажи, совесть чиста?

— Замолчи, старая, — проворчал Пенцлингер и повернулся на другой бок. Когда она попыталась продолжить, он взревел, как бык: — Замолчи, говорю!

Больше ни слова не было произнесено. Вскоре послышался богатырский храп Пенцлингера, будто совесть у него и впрямь была чище, чем у его жены.

— Об этом разговоре узнал я, разумеется, уже потом, — пояснил Андреас. — Вернее, я живо представил себе эту сцену по всему тому, что мне рассказали.

— Наутро, — продолжал свое повествование Андреас, — я отправился со стариком Пенцлингером и с Эрикой в поле. Когда мы проходили мимо трех дубов — старик шел впереди, а мы с Эрикой немного отстали, — я

спросил у нее, почему отсюда убрали скамью. Она взглянула на меня большими испуганными глазами и отвернулась. Я заметил, что Пенцлингер сбавил шаг и прислушивается к нашему разговору.

— Чудесное местечко, папаша Пенцлингер! Почему, говорю, скамью убрали отсюда?

— Наверно, в печке кто-нибудь сжег; зима была холодная.

— Неужто вам дров не хватало?

— Ясное дело, не хватало.

— Почему же не поставить новую скамью?

— Уж это меня не касается!

— Ладно! Я сам сколочу ее! Красивую скамью сделаю, долльхагенцы будут довольны.

Пенцлингер остановился и медленно поднял глаза.

— Советую тебе, — сказал он тусклым голосом, — не суйся ты не в свое дело! Что тебе до этой скамьи? Не желаем мы здесь никакой скамьи, и баста!

— Вот я и спрашиваю вас, — обратился Андреас к своему учителю, — можно было тут что-либо понять? Ясно было одно — какая-то тайна связана с этим местом. Конечно же, сельчане уничтожили скамью отнюдь не из-за нехватки топлива. У меня уже мелькнула мысль: очевидно, под этими деревьями что-то произошло, о чем все умалчивают. Непременно дознаюсь, в чем тут дело, — сказал я себе.

Молча прошли мы мимо трех дубов. Я искоса поглядел на Эрику. Отвернувшись от деревьев, она неподвижно уставилась куда-то в пространство.

Ну, а теперь должен рассказать вам о бургомистре Риделе и об Иване Ивановиче, коменданте окружного центра. К Риделю я зашел в обеденный перерыв. Был он раньше перекупщиком скота и пользовался славой человека, который своим торгашеским краснобайством мог заговорить самого неподатливого мекленбургского крестьянина. Огромный, чуть не в двести килограммов весом, он неизменно улыбался, что было ему очень к лицу. Мне он тоже дружески протянул свою огромную лапищу и пригласил сесть. Я сидел против него, только письменный стол разделял нас. Я говорил, он меня не прерывал. Маленькими мрачно-серыми глазками, утонувшими в набухших веках, он оценивал, изучал меня. Его отталкивающая физиономия была усеяна красными прыщами. Когда я кончил, Ридель откинулся на спинку своего деревянного кресла, упер

тройной подбородок в бычью шею и задумался.

— Сами донимаете, — качал он, — как бургомистр я должен неукоснительно придерживаться предписаний; поскольку мы сейчас оккупированная страна. Следовательно, я обязан доложить в окружной центр, что вы незаконным путем перешли зональную границу. Даже в том случае, если вы намерены оставаться здесь короткое время. Полиция, разумеется, сообщит об этом советскому коменданту, от которого, полагаю, будет зависеть окончательное решение. А у них там раз на раз не приходится, как уж сочтут: вас могут упечь за решетку до скончания века, могут и пальцем не тронуть. Наперед сказать с уверенностью никогда нельзя. Полагаю, что мы предоставим события их естественному ходу.

— А что, если я решу остаться надолго? — спросил я, отнюдь не имея на сей счет серьезного намерения.

— Это... это может обернуться для вас еще неприятней... До тридцать девятого года вы здесь постоянно не жили и, значит, будете считаться вновь прибывшим. Ну, а вновь прибывшим селиться здесь запрещено.

— Так много в деревне беженцев? — спросил я удивленно, ибо ни одного беженца до сих пор там не встретил.

— Хватает, — ответил бургомистр. — Вдобавок наша деревня беднее других. Мы сами-то голодаем, а уж пришельцев наверняка ждет голодная смерть.

Тут я не выдержал и улыбнулся: в устах этого толстяка слово «голод» звучало очень смешно. Я поднялся.

— Знаете что, бургомистр, я сам поеду в окружной центр и выясню свои дела и в полиции, и в советской комендатуре. Тогда сразу буду знать, на каком я свете.

Жирная физиономия Риделя сложилась в озадаченную усмешку.

— Ну, молодой человек, дерзости у вас хоть отбавляй. Вы, очевидно, еще многого не знаете. С русскими, должен вам сказать, шутки плохи. От них всего можно ждать.

— Русских мне бояться нечего, — возразил я, не представляя себе, какую бомбу подбрасываю этой вскользь оброненной фразой. Прыщи на лице Риделя словно бы слегка побледнели, а маленькие угрюмые мышинные глазки готовы были прямо-таки выскочить из орбит. Он заерзал в своем кресле так, будто кресло под ним вдруг раскалилось. Теперь-то я знаю, за кого он меня принял, но тогда, естественно, это не могло прийти мне в голову. Он встал из-за стола и, не глядя на меня, отрезал:

— Как вам угодно! Как вам будет угодно!

Следующим ударом по голове оказался для Риделя вопрос, который я задал без всякого умысла, стоя уже на пороге: я спросил, почему все-таки убрали скамью под тремя дубами.

Как сверкнули его тусклые круглые глазки! Но он стоял, не шевелясь, тяжело дыша, и молчал. Видимо, и у этого краснобая иной раз язык прилипал к гортани.

Я сказал, что с удовольствием сколочу новую скамью, и она будет как бы моим подарком Долльхагену: в этот уголок скамья, мол, так и просится.

— Не беспокойтесь, — сухо ответил Ридель. — Скамья там для нас нежелательна.

— Да почему же?

Прыщи на его лице налились скарлатинозной багровостью. Ледяным голосом он коротко отчеканил:

— Мы не желаем ставить там скамью, и точка.

Я откланялся.

Не успел еще я дойти до Пенцлингеров, как за моей спиной началось нечто, о чем я узнал намного позднее.

Я предупредил вас, господин доктор... Вы видите, это длинная история...

Профессор ничего не ответил, и Андреас продолжал.

— Только я вышел из общинного управления, бургомистр тотчас послал за Брунсом и кузнецом Бельцем. Вскоре оба уже сидели у него. Без всяких предисловий он начал:

— У меня был Маркус, пришел доложить о своем прибытии. Это парень опасный. У него, по его же словам, хорошие отношения с русскими. Но вот что гораздо хуже: прикидываясь, будто он ни о чем ведать не ведает, он спросил, почему убрали скамью под дубами... Надо как можно скорее от него избавиться. Но каким образом?

— Какие такие могут быть у него хорошие отношения с русскими? Ведь он вернулся из английского плена?.

— Он заявил, что сам поедет в город и поговорит с советским комендантом. Хотя пробрался сюда нелегальным путем и вовсе не скрывает этого.

— Ну и что? Решил рискнуть, только и всего, — сказал кузнец.

Ридель неодобрительно покачал тяжелой головой.

— Да пойми же да! Он сказал буквально: «Мне русских бояться нечего».

Да еще с, таким ударением на этом «мне». Уверяю вас, это была прямая угроза. А потом насчет скамьи опять же... Нет-нет, говорю вам, он уже что-то пронюхал. Самое меньшее — подозревает... И сейчас будет повсюду выспрашивать, выведывать...

Все трое сидели, уставившись друг на друга, и молчали. Брунс разглядывал свою правую руку, то растопыривал пальцы, выпуская их, как когти, то сжимал в кулак.

— Пошли за Пенцлингером, — приказал он.

Ридель послал служителя.

— Башку ему расколю, если он только чего ляпнул, — прошипел Брунс.

— Пенцлингер не осмелится, — охладил его ныл Бельц. — Как бы он ни вертелся, и у него рыльце в пушку.

— Верно, уж как-нибудь да намекнул, — сказал Ридель.

Тут вошел Пенцлингер.

Увидев эту троицу, он сразу понял, что речь пойдет о женихе его дочери. Он молча сел и взглянул на бургомистра.

— Пенцлингер, у тебя живет Андреас Маркус?

— Нет, он живет в гостинице.

— Пусть, но он твой гость. Будущий муж твоей дочери, если мне правильно сказали?

— Это верно! Мне хотелось другого зятя, но нынешняя молодежь... Да что говорить, вы и сами знаете!

— Не о том речь, — вступил в разговор Брунс. — Нас интересует, не рассказал ли ты этому Маркусу насчет... насчет тогдашних дел.

— Я?! — испуганно вскричал Пенцлингер. — Ни словечка! Что тебе взбрело в голову?..

— И не намекал?

— Конечно, нет!

— И дочка молчала?

— Само собой! Могу присягнуть!

— Как же ты объяснишь, Пенцлингер, — опять начал бургомистр, — что этот Маркус открыто угрожал мне насчет того...

Пенцлингер растерялся, подумал, уж не сболтнула ли дочка что-нибудь, я неуверенно спросил:

— Чем же он тебе угрожал? Что говорил?

Ридель передал разговор.

— Ах, та-ак! Нет-нет, все это ерунда! — Пенцлингер облегченно вздохнул. — Ему жаль той скамьи, и он пообещал, что сколотит новую... А я сказал, не беспокойся, мол, о том, что тебя не касается.

— Почему же он тогда заявил, что русских ему бояться нечего?

— Почему я знаю? А чего ему их бояться?

— Он же все-таки нелегально пробрался сюда.

— Это не преступление.

— Ты как-то по-особенному сказал «это». — Брунс подался головой к Пенцлингеру. — Так ты говоришь, «это» не преступление?.. Запомни, Пенцлингер, кто бы ни заикнулся о том деле, все равно кто, тому советую сперва прочитать «Отче наш». Если придется погибать, мы всех с собой прихватим, всех, уж будь покоен!

— Таков был этот разговор, как мне потом передал мой тесть. Раньше, чем перейти к встрече с советским комендантом, я хотел бы коротко рассказать об Уле Брунсе. — Андреас взглянул на д-ра Бернера, неподвижно глядевшего куда-то вдаль. — Впрочем, может, это и не так важно! Это уже детали...

— Нет, нет! — живо воскликнул доктор. — Рассказывайте все по порядку, ничего не упускайте. Очень вас прошу.

— Так вот. Брунс — это зажиточный крестьянин, образованный, с обходительными манерами, внешне — душа-человек. В действительности же — форменный хищник, бессердечный, алчный, ради собственной выгоды способный на любую подлость. Но тогда я его еще не раскусил.

Каждую неделю по субботам — это тоже мне стало известно только позднее, — Уле Брунс ездил в город к некой вдове Циппель, у которой была овощная лавка. Брунс на своем фургоне возил ей картофель и овощи, не подлежащие сдаче государству.

В ту субботу на дороге, ведущей в город, куда я направился пешком, появился фургон. Я прыгнул в придорожную канаву. Фургон приближался. На козлах сидел Уле Брунс. Когда повозка поравнялась со мной, я поднялся на дорогу и неожиданно для Брунса, который еще не заметил меня, крикнул: «Алло!»

Брунс испуганно вздрогнул и остановил лошадей.

— Добрый день, Брунс! Вы в город?

— А то куда же?

— Замечательно! — воскликнул я. И, не дожидаясь приглашения, взобрался на козлы и сел рядом с Брунсом. — Мне непременно надо в город, выправить документы, — сказал я. — Ездить нынче дело сложное, повсюду границы и вдоль и поперек. Мы снова стали страной пограничных будок и шлагбаумов.

Уле Брунс молчал. Меня это уже не удивляло, и мне показалось, что он был бы мне признателен, если бы и я замолчал. Я это сделал.

Мы медленно ехали по разбитой дороге. Брунс смотрел влево на поля, я — вправо. Поднялся ветер, нагнал тучи; собиралась, видимо, гроза. Картофельные поля стояли в пышном цветении, да и свекла была неплоха. Но с фруктовыми садами дело обстояло хуже: зима была суровой и весна запоздала. Там, где кончались засеянные поля, видно было, что почва здесь — сплошной песок; местами попадались лишь заросли дрока и вереска, а лиственные деревья, разбросанные в одиночку тут и там, согнулись чуть что не в дугу. Здешняя почва была не только тощей от природы: ее уже много лет не удобряли — не хватало искусственных удобрений.

Обо всем этом мы могли бы потолковать, но мы молчали. Сидели рядом на козлах и молчали, занятые каждый своими мыслями. По лицу Брунса можно было видеть, что встреча со мной его не слишком обрадовала. Я пытался себе представить, что творится в его башке. Но тогда я даже отдаленно не догадывался об этом. Нынче, когда я знаю, что могло угнетать его, что было поставлено для него на карту, я понимаю, какой смертельной опасности я подвергался. Он, должно быть, подумывал, что хорошо бы меня укокошить. Позднее, возможно, он и пожалел, что не прикончил меня. Риск был не столь уж велик: пустил бы слух, что я сбежал, ну, хотя бы в Западную Германию. Либо — и это многим показалось бы еще правдоподобнее, — что русские арестовали меня и куда-то упрятали. А официальные власти пальцем бы не пошевелили: ведь я нигде не был прописан.

И вот... Впрочем, должен вам еще рассказать о моей первой встрече с русскими. После того что мне пришлось о них слышать, я ждал всего и в первые часы, сидя в советской комендатуре, готов был всему слышанному верить безоговорочно. Было от чего прийти в отчаяние: всюду я получал стереотипный ответ: «Я этим не ведаю». Меня отсылали из комнаты в комнату. Битых три часа я дожидался одного лейтенанта, а когда он наконец пришел, то заявил, что мое дело не входит в его компетенцию и вообще решить его может только сам комендант. А коменданта не было. Сегодня день учебных занятий, сказали мне, и комендант занят.

С двух часов дня и до вечера я прождал в коридоре, на сквозняке. Уле Брунс давно уже, вероятно, катил на своем фургоне домой. Я же покорно сидел здесь, решив, чего бы это мне ни стоило, — день ли, два ли проторчу в городе, — но дела свои непременно уладить.

Пробило десять, на дворе стемнело, и я стал думать, где бы переночевать. В эту минуту по лестнице поднялась группа офицеров. Может, и комендант среди них? Я встал. На мое счастье, из какой-то комнаты вышел сержант, искоса взглянул на меня и доложил одному из вернувшихся офицеров. Я понял, что речь идет обо мне и что офицер мной заинтересовался. Он жестом подозвал меня и сказал по-немецки: «Следуйте за мной!» Не оглядываясь, он пошел вперед, а я за ним, вместе с остальными офицерами.

Прошло еще добрых полчаса, прежде чем я оказался в кабинете коменданта и, сидя против него, через переводчика изложил свое дело. Передо мною за спиной коменданта висел портрет Сталина. Противоположная стена была увешана картами земли Мекленбург, Советской зоны и Советского Союза. Я рассказал о себе, рассказал откровенно, ничего не утаивая; не умолчал и о том, что хочу вернуться в Западную зону. Свои английские увольнительные документы я положил на стол перед комендантом.

Комендант сидел, подперев голову руками, и не столько слушал переводчика, сколько сосредоточенно смотрел на меня.

— И ты просишься обратно, в другую зону? — спросил он на ломаном немецком языке.

— Да, — ответил я, — со своей невестой.

— Почему хочешь ехать назад?

Что мне было ответить? Я попытался объяснить, что в Английской зоне мне легче: будет получить работу по специальности.

Но комендант, словно не услышав моего объяснения, повторил:

— Почему хочешь ехать назад?...

Тут уж я замолчал и только пожал плечами. А он настойчиво, повторял: «Почему? Почему?»

И тогда между нами произошел такой разговор:

— Ты архитектор?

— Да! Но я еще не закончил образования.

— Работать можешь?

— Да!

— От-лично!.. Работать хочешь?

— Да!

— От-лично! Послушай, у нас много работы. Следуй за мной!

Комендант встал, большими шагами пересек комнату и вышел в коридор. Мы с переводчиком пошли вслед, не зная и даже не догадываясь, куда мы идем.

В доме, где кое-как разместились комендатура, находился когда-то филиал банка. Сейчас все это помещение было в плачевном состоянии. Полы растрескались, кое-где зияли дыры. Окна, выходящие во двор, были заколочены досками. Двери повсюду стояли настежь — нигде не было дверных замков. Стены коридоров были сплошь исцарапаны какими-то рисунками и надписями, отовсюду свисали обрывки плакатов.

Комендант повернулся к нам и сказал:

— Видишь, как тут нехорошо! Много, много для тебя работы.

Он вышел во двор, заваленный штабелями досок и всяким мусором. Три помятых автомобиля дополняли картину. Что-то поясняя мне, комендант рукой описал в воздухе большую дугу. Говорил он по-немецки вперемежку с множеством русских слов. Мало-помалу я понял, что он хотел бы на этом обширном дворе построить еще одно здание, для клуба. В заключение он спросил, не хочу ли я взяться за эту стройку.

Я был буквально ошарашен. У меня были совершенно другие планы на ближайшее будущее, и я сказал ему о них. Я хотел учиться, работать и учиться, а это, мол, возможно только в крупных городах, где имеются строительные институты.

— От-лично! — сказал комендант. — Будешь учиться! Много и хорошо будешь учиться! Но вперед все здесь построишь!

Я колебался, все это так внезапно, так неожиданно на меня свалилось. Я искал какой-нибудь убедительный предлог отказаться, сказал, что мне здесь негде жить.

— Пустяки! — отмахнулся комендант. — Негде жить! Вот тебе целый дом, и живи, пожалуйста!

Я невольно улыбнулся. Он буквально обхаживал меня, а мою улыбку истолковал как знак согласия и протянул мне руку.

— Идет, значит?

Что мне оставалось? Я сказал «да».

— Вот и отлично! — обрадованно воскликнул комендант. — Ты, значит, будешь теперь начальник! Постройшь дом. Не сомневаюсь, ты отличный строитель!

Из ящика письменного стола он достал рюмки, бутылку вина, налил всем, и мы выпили.

— За начальника! — провозгласил комендант.

Он и переводчик чокнулись со мной и выпили за мое здоровье. О моих документах и речи не было.

Ну, скажу вам, что творилось в Долльхагене, когда назавтра стало известно, что я остаюсь в городе и буду работать при русской комендатуре! Теперь мне понятно, почему эта новость вызвала там настоящую панику. Эрика потом мне рассказывала, что люди ходили по деревне как в воду опущенные, а если уже двое-трое и останавливались поговорить, так только шепотом и с таким видом, словно заклинали в чем-то друг друга. Брунс, Бёле и Бельц до глубокой ночи просиживали в трактире у Хиннерка. Железнодорожник Бёле заметно похудел, его лихорадило, как чахоточного, с работы он торопился в свою лачугу и даже на огород не выходил. Пенцлингер тоже был потрясен и все допытывался у дочери, что могло меня побудить пойти работать к русским. А откуда ей, бедняжке, было знать? Она не меньше других была удивлена и потрясена этой новостью. С того дня Пенцлингеров все сторонились, как прокаженных. Соседи от них отворачивались; Пенцлингер ловил на себе угрюмые, злобные взгляды; подружки Эрики порвали с нею. Все, с кем ей случалось иной раз столкнуться лицом к лицу, смотрели куда-то в сторону, и она прекрасно понимала, почему долльхагенцы ее боятся, чего они опасаются. Она знала также, что совершенно бесполезно уверять этих людей в том, что она и дальше будет молчать, о чем она вновь и вновь давала себе слово. А я? Я был солдатом. Мне не раз случалось попадать во вражескую деревню, где каждый крестьянин готов был передуть всех нас собственными руками. Однако с такой враждебностью, какая окружала меня в тогдашнем Долльхагене, мне не приходилось сталкиваться. Когда я приезжал в субботу к Пенцлингерам, ни один человек в деревне не здоровался со мной, на мои вопросы следовали односложные ответы, а лица выражали молчаливую, но неприкрытую ненависть.

В одно из воскресений я отвел в сторону старика Пенцлингера и спросил, что, собственно, здесь происходит, почему все недоверчиво сторонятся друг друга и словно готовы друг другу горло перегрызть.

Пенцлингер обстоятельно разжег свою длинную трубку и, окутывая себя облаками табачного дыма, бросил:

— По твоей милости, Андреас! Ты работаешь на русских. В этом все дело.

— Просто смешно слушать! — возмутился я. — Что значит, я работаю на русских? Строю в комендатуре помещение для клуба? Ну и что с того? Может, надо было спросить у долльхагенцев разрешения?

Пенцлингер курил и молчал. Уж что-что, а молчать долльхагенцы умели, в этом искусстве они были непревзойденными мастерами.

— Кстати, у русских мне очень нравится, — умышленно сказал я, желая вывести моего собеседника из терпения, заставить его заговорить. — Они, правда, не так пунктуальны, как мы, зато и далеко не так мелочны и своекорыстны, как наши милые соотечественники. А главное — они несравненно искреннее и честнее.

Пенцлингер поднял голову.

— Да, — повторил я, — гораздо честнее. Они не держат камень за пазухой... И вообще вся эта болтовня насчёт русских — только от глупости и злобы.

— Тебе, видать, они уже основательно задурили голову, — ответил Пенцлингер и встал: наступил час его послеобеденного сна. Из этого упрямого крестьянина не удалось выжать больше ни слова.

В тот день мы с Эрикой решили прогуляться по лесу. Надевая свою широкополую шляпу, она попросила меня взять узловатую палку отца. Я никогда не ходил с палкой, но так как Эрике этого хотелось, достал её из-за шкафа.

— Что, что это? — Эрика уставилась на входную дверь. Во всю ширину ее мелом было выведено: «Шпион!».

Я посмотрел на дверь, потом на побелевшую как полотно Эрику. Кто это намарал? Разумеется, надпись относилась ко мне. Значит, в глазах долльхагенцев я был шпионом. Дурачье!

— Что за ребяческие выходки! — воскликнул я и рукавом стер надпись.

Но надпись эта черной тенью легла нам на душу. Эрика взяла себя в руки и твердо шагала рядом со мной. Мы пересекли деревню и прошли под дубами, ни словом не обменявшись друг с другом. Она шла, опустив голову, но не плакала, как могло показаться. Теперь и я убедился, что странное поведение долльхагенцев принимает опасный оборот. Если они всерьез видят во мне шпиона, то как-нибудь ночью проломить мне в темноте череп им ничего не стоит. Эти люди, видно, и впрямь были круглыми идиотами! Я решил в этот день поскорее убраться из Долльхагена и вообще как можно реже показываться там. Пока я буду

работать в городе, Эрика сможет приезжать ко мне; молчащая, а теперь еще и не безопасная для меня деревня Долльхаген внушала мне неприязнь.

— Эрика, кто тут самый большой мерзавец? — спросил я.

К моему изумлению — я вовсе не рассчитывал на точный ответ, — она, не задумываясь, сказала:

— Уле Брунс!

И тут же густо залилась краской. Лицо ее отразило сильное замешательство: уж не сказала ли он лишнего?

— Почему? — допытывался я.

— Такой это человек! — уклончиво ответила Эрика. — Гадина! Бессердечная тварь!

— А почему эта бессердечная тварь до сих пор пользуется такой властью в деревне? Ведь он был нацистом, ортсgruppenführером! Почему ему оставили его хозяйство, самое большое в Долльхагене, да еще и мельницу в придачу, которую он грабительски прибрал к рукам при нацистах?

— Никто не отваживается выступить против него!

— Но почему все-таки?

— «Почему, почему». Все только «почему», — не выдержала она. — Я этого тоже не знаю. Просто никто не посмел рта раскрыть.

Я вырвал дикий колосок из земли и зажал его в зубах.

Некоторое время мы опять шли молча. У меня, однако, было ощущение, что я набрел на след какой-то тайны, о которой говорило молчание деревни. Мне казалось, что наступил момент идти на все, и я сказал:

— Я чувствую иногда, даже ты от меня что-то утаиваешь... Может, я и не прав. Мне очень хотелось бы на это надеяться. Но что-то все-таки есть! Что-то, о чем все молчат.

Она опустила голову еще ниже, но больше ни единого слова я от нее не услышал. В молчании пересекли мы поле. Стоял ясный и теплый, но не жаркий летний день. Деревня осталась позади, а перед нами, до самой опушки леса, расстилались созревающие поля с их крепкими запахами. Легкий ветер шевелил зеленые квадраты картофеля, свекольной ботвы, волнами пробегал по уже начинавшей желтеть не очень высокой и не очень густой ржи. На пруду, примыкавшем к участку Хиннерта, с раннего предвечерья квакали лягушки, и жаворонки, заливаясь трелями, взмывали к небу.

Я взял Эрику под руку. По узкой полевой тропе так идти было неудобно,

и мы взялись за руки, как дети. Однако но-воскресному легко и радостно не было ни ей, ни мне...

В этот раз я приехал в Долльхаген с намерением переночевать там и только наутро в понедельник вернуться в город. Однако, чтобы не навлечь на старика Пенцлингера, да и на Эрику неприятностей, решил уехать вечером. Но сначала мне хотелось проводить Эрику домой.

И все-таки, несмотря ни на что, воскресный день получился у нас чудесный. Мы предавались мечтам о нашем будущем, решили, что осенью поженимся без всяких пышных празднеств, а потом поселимся в Любеке, где у меня был добрый знакомый, городской архитектор. Я рассчитывал, что с его помощью получу работу и одновременно смогу учиться в тамошнем университете. Да, мы решили поселиться в Любеке, надеялись, что для такой неприхотливой молодой четы даже в этом перенаселенном городе уж найдется какая-нибудь комнатка.

Рука об руку шли мы по шоссе назад к деревне. Перед нами, над Долльхагеном, спелым персиком сияла луна, и, на радость нам, в безоблачном небе летнего вечера мерцали бесчисленные звезды. Все вокруг спало, даже ветер и тот улегся. А в отдалении, там, где находился Долльхаген, сквозь листву деревьев слабо светились огоньки.

Я остановился, притянул Эрику к себе. Так прекрасен был вечер и так отраднo было сознавать, что рядом с тобою человек, которому ты можешь не только довериться, но и раскрыться до конца, любовь которого вселяет в тебя чувство полноты и красоты жизни! Мы присели у большого старого дуба. Эрика противилась этому, но я попросил:

— Посидим немного! Здесь так хорошо, что не хочется домой.

Вдруг она, без всякой видимой причины, пронзительно вскрикнула и, смертельно побледнев, с широко раскрытыми испуганными глазами вырвалась из моих рук и убежала.

Совершенно онемев, я смотрел ей вслед. Потом вскочил и побежал за ней. Недалеко от железнодорожных путей я ее нагнал. Закрыв лицо руками, она сотрясалась от рыданий. Что все это значило? Я обнял ее, прижал к груди ее мокрое от слез лицо, гладил ее волосы. Оглянувшись, я увидел темные силуэты трех дубов, под которыми мы сидели.

Что произошло на следующий день в доме у Пенцлингеров, я узнал потом от Эрики. За завтраком она разрыдалась, кричала, что не вынесет этого более, что все, решительно все мне расскажет, что она не желает калечить свою жизнь и пусть уж лучше правосудие произнесет свое слово.

Пенцлингер был вне себя. А тут еще и жена присоединилась к дочери и,

плача, тоже кричала, что так ведь жизни никакой нет, будь что будет, но так больше нельзя, что раньше или позже наступит день, когда все раскроется. И Пенцлингер понял — ничто не предотвратит прихода великого Судного дня. Ни слова не говоря, он вышел из дому, оставив плачущих женщин одних...

— Вот он где! Вот он! — слышались возгласы.

Группа молодых людей приблизилась к скамье, где сидели профессор и студент.

— Андреас! — позвал девичий голос.

Андреас и д-р Бернер встали. Их тут же окружили юноши и девушки. Только теперь д-р Бернер заметил, что час уже поздний. Кто-то посветил карманным фонариком. Бернер услышал фразу: «Мы тебя повсюду искали!» Все это были студенты и студентки. Андреас разговаривал с какой-то девушкой. «Эрика? — подумал доктор. — Разве и она учится в университете? Жаль, в темноте и лица ее не увидишь! Рассказ, к сожалению, прерван, и как раз в тот момент, когда тайна деревни Долльхаген, казалось, вот-вот раскроется...»

Андреас повернулся к своему учителю, держа за руку очень стройную, по-городскому одетую девушку.

— Это Эрика, — сказал он. — Моя жена.

— Жена? — удивился д-р Бернер и протянул девушке руку.

— Да, жена, — улыбнулся Андреас. — Я ведь не закончил свое повествование.

— Жаль, — ответил д-р Бернер.

— Хотите, встретимся завтра здесь же, и я продолжу свой рассказ?

— С удовольствием. А в какое время?

— Вечером, около девяти. Удобно вам?

— Мне удобно в любое время.

— Можно привести Эрику?

— Разумеется!

И, распрощавшись, молодежь под смех и шутки покинула профессора. Он остался один на скамье под каштанами, и на душе у него было легко и радостно, отчего — он и сам не мог бы себе объяснить. Удручающее впечатление, вызванное рассказом о Долльхагене, словно рукой сняло. И это сделала юность, с ее свежестью, ее весельем, духом товарищества.

Юность, молодость — это всегда начало. И нынешняя молодежь Германии — это тоже начало, и, надо надеяться, начало чего-то совершенно нового. Такой молодой человек, как Андреас, не пойдет бездумно по стезе, проторенной его предками.

Какие светлые лица! Как звонок смех этих юношей и девушек! Как легок и вместе с тем полон, сдержанной силы их уверенный шаг! Пусть сегодняшней день еще сер, но юность видит будущее солнечным и ясным; если бы это было не так, она не была бы юностью. Нет потерянных поколений; есть единицы, вообразившие себя потерянными, но это те, кто не нашел пути и утратил ориентиры. Здоровая молодость всегда: мечтает о будущем. Да, не позволяйте никому лишать вас права на эту мечту, но не оставайтесь только мечтателями: будьте строителями, каждый на своем участке.

Андреас, бесспорно, будет хорошим строителем. А какой же он, черт возьми, превосходный рассказчик! Ну, просто мастер! Д-р Бернер еще не знал, что за преступление бросило свою зловещую тень на деревню Долльхаген. Но, несомненно, это большое, страшное преступление, и, видно, вся деревня каким-то загадочным образом была втянута в него.

В эту ночь д-р Бернер долго не мог уснуть. Перед глазами стояли три дуба у въезда в Долльхаген, окутанные непроницаемой тайной. Он представлял себе эту деревню, расположенную на отлете, среди бесконечных лесов, и ее жителей, живущих под гнетом совершенного преступления, отравленных взаимным недоверием, при встрече воровски отворачивающихся друг от друга, никогда открытым взглядом не глядящих друг другу в лицо, в смертельном страхе, что завтрашний день неизбежно все раскроет. И в таком страхе они жили не одну сотню дней и ночей.

Земельная реформа, по-видимому, попросту прошла мимо Долльхагена, нисколько не изменив существовавшего там ранее порядка землевладения. Однако жители этой деревни не только приняли участие в первых послевоенных выборах, но и как бы высказались за новый строй. Долльхагенцы начисто отвергли идею создания различных партий и заявили, что в своей общине они едины. В Шверине такие заявления приветствовали. Государственные поставки Долльхаген выполнил, по некоторым культурам даже перевыполнил. Ни в коем случае не привлекать к себе внимания — на этом сходились здесь все. И молчать. Как молчат могилы.

На следующий день, когда после многочасовой прогулки по парку д-р Бернер подошел к скамье под каштаном, молодая чета уже ждала его там.

Нет, такую д-р Бернер никак не представлял себе деревенскую девушку Эрику. Перед ним сидело стройное юное существо, с задорным взглядом голубых глаз и искусной прической. Ничего от крестьянской грубоватости не было в ее лице, нежном, с тонкими, совсем еще девичьими чертами.

Андреас, по-видимому, чувствовал себя неловко: глядя на Эрику, он пробормотал, что она тоже учится. Да, они чета студентов, причем Эрика на медицинском, где срок обучения, увы, очень большой.

Доктор Бернер спросил молодую женщину, нравится ли ей избранная специальность, на что Эрика несколько раз утвердительно кивнула.

По выражению лица Бернера видно было, что ему не терпится узнать, как же разрешилась загадка Долльхагена; однако, почувствовав, что спросить об этом сразу не совсем удобно, он заговорил сперва об университете. Оба студента жаловались на отсталость некоторых профессоров, на их оторванность от жизни, от всех тех перемен, которые в ней произошли и происходят. Так, к примеру, в лекциях о древних германцах или об императоре Константине слово в слово повторяется то же самое, что говорилось об этом и в кайзеровской Германии, и в Веймарской республике, и в тысячелетнем рейхе. Достаточно взять в руки конспекты этих лекций — истрепанные, пожелтевшие, будто средневековые манускрипты. Как весело смеялись молодые люди над подобными профессорами, над их ограниченностью, буквоедством!

— Когда я думаю о том, — сказал Андреас, — что советский комендант тоже преподаватель, да к тому же еще преподаватель математики, этой, как принято думать, наиболее отвлеченной из наук, я только диву даюсь: ведь он стоит в самой гуще жизни, крепко держит эту жизнь в руках и лепит из нее то, что диктуют потребности сегодняшнего дня.

— Вот именно на этом коменданте мы вчера и остановились, — тотчас ухватился д-р Бернер за предлог перебросить мостик к тому, что его более всего интересовало.

— Нет, — возразил Андреас, — мы уже продвинулись гораздо дальше. Разве я не рассказал, как Эрика убежала от меня, когда мы подошли к тем трем дубам? Помнится, рассказал я и о том, как она пригрозила родителям, что откроет мне все, ибо это вынужденное молчание в конце концов ее задушит.

— Верно! И вот она сидит тут с нами, эта славная девушка. А что же было дальше? Расскажите же, Андреас, чем все это кончилось.

— Кончилось? О, до конца было еще далеко! А что все раскрылось, заслуга не моя и не Эрики. Вы только послушайте. Проходила неделя за

неделей. И милая моя Эрика, негодница этакая, тоже упорно молчала...

— А скажи, пожалуйста, что я могла сделать?! — возмущенно воскликнула молодая женщина. — Они бы меня убили. Подождли бы наш дом. Брунс наверняка сделал бы это.

— Ну ладно, ладно! — Андреас ласково положил ей руку на колени. — В один прекрасный день русские арестовали Брунса, — спокойно продолжал он. — Брунс много месяцев тайно снабжал вдову Циппель маслом и яйцами, и вот эта разветвленная торговля из-под полы лопнула. Были пойманы два берлинских перекупщика, те указали на Циппель, как на свою поставщицу, а она, в свою очередь, указала на Уле Брунса.

Комендант вспомнил, что я связан с Долльхагеном, и вызвал меня к себе. Я сообщил все, что знал. Между прочим, и то, что Брунс при нацистах был ортсгруппенфюрером и что по сей день он это скрывает. Зато меня назвал русским прихвостнем. Рассказал я и про то, как однажды в воскресенье мы с Эрикой обнаружили на дверях ее дома мелом выведенное слово «Шпион».

Все это было занесено в протокол, и я под ним расписался. Тем дело и обошлось. Для меня, но не для Долльхагена: арест Брунса вызвал в деревне настоящую панику. Никто не верил, что причиной его ареста были всего лишь противозаконные торговые махинации. По молчащей деревне поползли слухи. Крестьяне заперлись у себя в домах. Полевые работы были заброшены. До поздней ночи, когда в окнах уже гасли все огни, Ридель, Бёле, Хиннерк и Мартенс сидели в задней комнатке трактира и совещались. Моя Эрика мучилась отчаянно...

— Потому что думала, что арест Брунса произошел не без твоего участия, — живо вставила Эрика. — Ведь я столько всего тебе о нем рассказывала...

— Но не будем останавливаться на подробностях, — продолжал Андреас, — а подойдем к главному, или, как вы выразились, к тому, чем все это кончилось. Железнодорожник Бёле однажды вдруг исчез. В мгновение ока эта новость облетела всю деревню. Ридель и Хиннерк...

Впрочем, сначала нужно рассказать еще вот о чем. Да, это очень важно. Как-то приехал в комендатуру уполномоченный местной администрации — инструктор, контролер или референт, точно не знаю. Его интересовало, как в округе выполняются поставки. Позднее я узнал, что комендант посоветовал ему прежде всего направиться в Долльхаген, где за решетку посажен спекулянт, орудовавший на черном рынке. И уполномоченный, — фамилия его Хагештейн, — полный лысый мужчина высокого роста, в пенсне и с весьма уверенной осанкой, поехал в Долльхаген.

Хозяин гостиницы «Долльхаген» Иоганн Купфаль собственной персоной выскочил на порог встретить важного гостя: «Лучшая комната, уж это само собой... Для машины, разумеется, есть гараж... Да, шофер будет — тоже хорошо устроен — и это само собой разумеется!.. Господину стоит только приказать!.. Господин желает пробыть здесь несколько дней — милости просим! На ваше полное усмотрение — само собой разумеется!..»

Правительственный уполномоченный Хагештейн был приятно удивлен такой предупредительностью; далеко не всюду его принимали столь роскошно. Он благосклонно кивнул хозяину. Нет, он еще не обедал, соврал он, хотя приехал после обильной трапезы у коменданта. Сверхлюбезный хозяин тут же пообещал немедленно сделать соответствующие распоряжения.

Хорошо, что я послушался совета коменданта, подумал Хагештейн и расположился поудобнее; сам он вовсе не собирался в первую очередь посетить именно Долльхаген.

Хозяин принес пиво и водку.

— Прошу! На здоровьице!

— Благодарствую! — Хагештейн опрокинул рюмку водки и запил основательным глотком пива.

— Если не ошибаюсь, господин приехал к нам по поручению правительства... — осторожно спросил Купфаль.

— Совершенно верно, любезный!

— Значит, так оно и есть! — задумчиво произнес хозяин, сложив руки на животе. — Так и есть, значит! — повторил он. И вдруг, словно стараясь исправить свою оплошность, живо воскликнул: — Само собой разумеется! Само собой!..

Тем временем старый общинный служитель Ярсен, сильно размахивая руками, в большом волнении ковылял напрямик через вспаханное поле, чтобы позвать бургомистра. Тот давно уже был осведомлен о приезде. В последнее время бургомистр Ридель стал фаталистом. Он успокаивал взволнованного старика:

— Ладно!.. Ладно!.. Скажи Хиннерку, пусть зайдет ко мне... Позови еще Мартенса, Дирксена и Бельца... Пусть немедленно явятся; прежде чем идти к уполномоченному, мне надо с ними переговорить. Ну, чего стоишь, рот разинув?

Стало быть, пришел час. Спасти теперь может только одно: правда. Он бургомистр и потому должен первым все рассказать, все — как на духу. Он знает Брунса, он не сомневается, что тот, припертый к стене, свалит вину на

других, в том числе и на него, Риделя... Своя-то рубашка ближе к телу.

Таковы, вероятно, были размышления Риделя, когда он, в состоянии угрюмой решимости, шагал по полям вслед за старым Ярсеном, ковылявшим впереди, как подстреленная птица.

Под вечер Ридель отправился с визитом к правительственному уполномоченному. Но тот после обеда прилег отдохнуть и велел не будить его. Бургомистр строго наказал хозяину гостиницы немедленно послать за ним, как только господин правительственный уполномоченный встанет.

Купфаль пообещал.

Когда Ридель выходил из гостиницы, на него прямо-таки наскочил маленький Аксель, сын лавочника Мартенса. В руках у мальчика было письмо.

— Ты куда, пострел?

— А вот сюда.

— А что тебе здесь нужно?

— Отдать письмо от папы!

— Покажи-ка!

Ребенок простодушно протянул бургомистру письмо. Тот; прочел: «Господину правительственному уполномоченному». Так-так!.. Гм... Заторопились... Да, сейчас все они со своими письмами примчатся сюда, один за другим... Вот что значит действовать без промедления...

— Ладно, парень, я передам!

Аксель убежал. Ридель сунул конверт в карман и вышел на улицу.

А господин уполномоченный Хагештейн? Его послеобеденный отдых затянулся; после двух обильных трапез он спал больше положенного. Когда он проснулся, уже смеркалось. Приступать к делам было поздно, и он решил никуда сегодня не выходить. Его мучила отчаянная жажда — выпить бы пивка! Он вылез из кровати и позвал служанку.

Прибежал сам Купфаль... Конечно, конечно, ужин господину уполномоченному принесут в номер — само собой разумеется! Нет-нет, сюда никого не пустят. Господин уполномоченный сегодня никого не примет, само собой разумеется! Но вот только одна просьба к господину уполномоченному — прочесть это письмо...

— От кого оно?

— От меня, разумеется!

— Но с этим можно бы и повременить, — холодно заметил

уполномоченный. Он полагал, что хозяин уже представляет ему счет, — Гм... Впрочем, ладно, ладно. Так распорядитесь насчет ужина. И пива, пожалуйста!

— К вашим услугам! — Угодливо кланяясь, хозяин на цыпочках выскользнул из комнаты.

— Ненормальный какой-то! — прогудел сквозь зубы Хагештейн. — Бойтесь — удеру, не заплатив! — Он вскрыл конверт и начал читать. С каждой строчкой удивление его росло.

«Глубокоуважаемый господин правительственный уполномоченный! — читал он. — От всего сердца приветствую ваш милостивый приезд. Это преступление настолько вопиюще, что порядочный человек, если он к тому еще и отец семейства, вспоминает о нем с содроганием и потому, естественно, предпочитает молчать. Но вот настала минута, когда надо заговорить. Вы прибыли к нам в деревню, как требующий раскаянья судья, как мститель...»

— Ну, и так далее, — прервал свой рассказ Андреас. — Привожу это письмо по памяти. Напыщенное и подобострастное, оно пестрело грамматическими и орфографическими ошибками. Теперь оно приобщено к документам «Долльхагенского дела». О чем думал Хагештейн, читая это письмо, ни в каких документах не значится. Представляю себе, как он швырнул его на стол и проворчал: «И впрямь, не все дома!» А потом, вероятно, подошел к умывальнику и ополоснулся, чтобы окончательно стряхнуть с себя сонливость. Слушайте дальше.

В дверь постучали... Несколько раз, но так робко, что уполномоченный, вытиравший свою лысину, не слышал стука. Тогда чья-то дрожащая рука приоткрыла дверь, и через щелку спросили, можно ли войти.

— Да входите же! — гаркнул Хагештейн и продолжал звучно, со вкусом полоскать рот. — Эй, послушайте! — позвал он по-кошачьи ускользнувшую служанку. — Вы давно здесь служите?

— Да!.. Да!.. — пробормотала испуганная девушка.

— А хозяин ваш немножко того? На чердачке у него не все в порядке?

— Да!.. Да!..

— Верно?.. Тогда передайте ему, пусть еще раз зайдет ко мне!

Все еще растираясь и вытираясь, Хагештейн подошел к столу и окинул взглядом ужин. «Гм. Неплохо! Жареный картофель с глазуньей и шпиготом, масло, сыр, салат из огурчиков... Придется поднатужиться». И Хагештейн решил поговорить с беднягой хозяином как можно мягче.

Через минуту Купфаль был уже наверху с большой кружкой пенистого пива в руках.

— Господину уполномоченному угодно было меня позвать?..

— Как обстоят дела в деревне? — прервал его Хагештейн.

— Плохо... Само собой разумеется!

— Плохо? — сердито переспросил Хагештейн. — В таком случае пусть долльхагенцы не надеются, что это легко сойдет им с рук. Самая маленькая деревушка и та в наше время чувствует свою ответственность перед всей страной.

— Правильно! Само собой разумеется!

— А с чем обстоит особенно плохо? Почему молчите? Говорите прямо! От меня все равно ничего не укроется!

— С мертвецами! — прошептал хозяин и закатил глаза.

— С какими еще мертвецами?

Хагештейн ничего не понимал.

— Которые там, за околицей лежат.

Теперь уже Хагештейн не сомневался, что перед ним душевнобольной. Он подошел к хозяину и сказал, словно маленькому ребенку:

— Но вам-то эти мертвецы спать не мешают, не правда ли?

— Мне? О нет, мне не мешают. Само собой разумеется.

— Ну и прекрасно! Тогда ступайте и ложитесь! Спокойной вам ночи!

— Спокойной ночи!

Довольный и счастливый, Купфаль выскочил из комнаты. Наверняка он спал спокойно, быть может, единственный в Долльхагене. Через три дома от его гостиницы на чердаке своей кузницы в эту ночь повесился кузнец Фридрих Бельц.

— Он был уже вторым. Пауль Бёле, железнодорожник, бежал, бросив в своей лачуге весь свой скарб и скрылся, вероятно, на Западе. Ему, холостяку, да еще безземельному, бежать было легко: ничто не привязывало его к месту. А кузнец повесился. Тень смерти и страх, поистине смертельный страх, сковал всю деревню. Настроение было, надо думать, как в канун Страшного суда. Я-то в эти дни оставался в городе, но ты, — Андреас взглянул на Эрику, — ты видела все своими глазами и могла бы лучше рассказать о той ночи.

— А отказаться нельзя? — спросила Эрика, подняв голову.

— Ну конечно же, можно, — вмешался д-р Бернер, по глазам девушки видя, как это было бы ей тяжело. — Пусть Андреас продолжает.

Улыбнувшись, Андреас сказал, что ему часто приходилось об этом рассказывать и он уже немного привык.

— Ну что ж, пошли дальше. На другое утро, около восьми часов, бургомистр Ридель примчался в гостиницу, чтобы первым говорить с уполномоченным. К его величайшей досаде, там было уже полно женщин, и едва только он переступил порог, они сгрудились и начали трещать. Жён Мартенса, Хиннерка и Дирксена он узнал сразу же, потом разглядел и толстую Брунсиху. Только их тут и не хватало, мелькнуло в голове у Риделя, в том, что они наплетут, сам черт ногу сломит. Видимо, именно так он подумал и вновь решил, что лучше всего дать правдивые и подробные показания и попытаться спасти для себя хотя бы то, что можно спасти.

«Но что случилось с Купфалем?» — удивился Ридель, Он держит себя спокойно, невозмутимо, даже весело и разговаривает с ним, с бургомистром, чуть ли не свысока, словно он, Ридель, уже ничего не значит.

— Господин уполномоченный просил раньше девяти его не беспокоить, сами понимаете...

— Он что, еще спит?

— Господин уполномоченный просил раньше девяти... он работает, само собой разумеется.

— Доложи обо мне, у меня к нему разговор.

— В девять — само собой разумеется!

— Нет, сию минуту!

— Невозможно, сами понимаете!!

Испепелив хозяина яростным взглядом, Ридель крикнул:

— Ладно же! Ровно в девять я вернусь!

Хагештейн действительно лежал еще в постели. Он крепко спал всю ночь, а когда проснулся, комната была залита солнцем, на деревьях Щebetали птицы, и, точно соревнуясь, по всей деревне кукарекали петухи. Хагештейн почувствовал себя прямо-таки на даче. Он решил, что торопиться не станет и займется проверкой хлебопоставок со всей основательностью. Высунувшись в настежь распахнутое окно, он, зевая, глядел на соломенные крыши крестьянских домов. Какая тишина, какой благодатный мир царил в деревне! В таком безмятежном покое, в такой отрешенности от всяческой суеты чувствуешь себя воистину человеком.

Настоящий бальзам для издерганных нервов горожанина!

Постояв у окна, уполномоченный, так и не умывшись, вышел в коридор и стал внимательно вглядываться во все двери. Найдя то, что ему было нужно, он с лестничной площадки крикнул служанку и заказал себе завтрак в номер.

Вслед за служанкой в комнату влетел хозяин и, рассыпаясь в любезностях, пожелал гостю «чудесного доброго утра и приятнейшего аппетита».

Хагештейн усмехнулся и облизал губы... Яйца всмятку, вареная колбаса, копченый шпиг. Завершал это великолепиие целый кофейник с горячим кофе и стакан молока. Хагештейн в восторге воскликнул:

— Королевский завтрак, любезнейший! Чудесно!

Хозяин сиял и без устали кланялся. Потом он сказал:

— Прошу прощения, господин, уполномоченный, но внизу, в зале, ждет делегация от женщин. Они хотели бы поговорить с господином уполномоченным...

— Делегация от женщин? — удивился Хагештейн. — А это зачем? Им-то что нужно?

— Наверное, по поводу тех злополучных дел, господин уполномоченный, само собой разумеется...

— Каких таких дел?

— Ну... тех... Господину уполномоченному, конечно, известно... само собой разумеется... И... и кузнец Бельц этой ночью повесился, само собой разумеется...

Хозяин замолчал. Молчал и Хагештейн, онемев от изумления.

— Бургомистр тоже уже приходил... Хотел нанести визит господину уполномоченному, само собой разумеется...

— А женщины чего от меня хотят? — спросил Хагештейн.

— Полагаю, господин, уполномоченный, молить о снисхождении к их мужьям, само собой разумеется! Волнуются, прямо-таки вне себя!..

— Немедленно пришлите ко мне бургомистра! Немедленно! А... а женщины пусть ждут, понятно?

— Будет исполнено, само собой разумеется!

Хагештейн задумался. Возможно, арестованный русскими местный крестьянин, занимавшийся незаконной торговлей и спекуляцией, не единичный случай? Возможно, здесь были крупные злоупотребления? Но

тогда тут хлопот не оберешься, а он-то рассчитывал, что ему удастся несколько деньков передохнуть.

Однако портить себе аппетит подобными размышлениями правительственный уполномоченный не желал.

Он еще вкушал свой отменнейший завтрак, когда в дверь постучали и на его «войдите» порог переступил на редкость громоздкий мужчина. Его мясистое лицо обросло щетиной, под глазами, будто спрятанными в темных глазницах, чернели круги. Человек остановился посреди комнаты, неловко кланяясь.

— Бургомистр? — резко спросил Хагештейн. — Входите, входите!.. Садитесь, пожалуйста... С добрым утром! — Хагештейн через стол протянул бургомистру руку, и тот схватил ее своей огромной лапищей. — Да что же вы стоите? Если не возражаете, я закончу свой завтрак. — Хагештейн приготовил себе бутерброд с колбасой. — А теперь рассказывайте, что творится в деревне... Но только правду... чистую правду!

— Конечно, конечно! — Бургомистр приготовился. — Рассказывать с самого начала, как все это получилось?..

— Упаси бог! — воскликнул Хагештейн. — Ничего лишнего. Только самую суть!

Ридель ерзал на своем стуле, прикидывал так и этак, то смотрел на уполномоченного, то переводил взгляд куда-то в пространство и, наконец, начал:

— Уле Брунс, сказать правду, из всех был самый вредный.

— Это тот, которого русские арестовали? — спросил Хагештейн, жуя свой бутерброд.

— Он самый! И будь его воля, все две тысячи были бы перебиты.

Хагештейн вытаращил глаза и едва не подавился куском. Проглотив его, он спросил:

— Какие две тысячи?

— Ну, женщины, которых доставили сюда!

Так! — произнес Хагештейн и уставился на бургомистра. — Так-так!.. А скольких убили?

— Семьдесят!

— Сколько? — крикнул Хагештейн.

— А может, и немного больше, — прошептал бургомистр и виновато

опустил голову. Но, — продолжал он несколько живее, — большинство из них были уже заморены голодом, буквально заморены. И тех, что еще дышали, мы тоже, при всем желании, не могли бы спасти. Ведь нам самим нечего было есть... или почти нечего. Они вывели из наших домов все подчистую. Что мы могли сделать?

— Ужас! Ужас! — стонал Хагештейн.

— Еще какой ужас, господин уполномоченный! Непередаваемый! Женщины кричали и выли, как животные... А дети... Много дней спустя мы все еще находили трупы на железной дороге. Наверное, их выбрасывали из поезда на ходу. Форменные скелеты... Да, да, это было ужасно! Когда поезд остановился, многие из этих несчастных бежали и пытались спрятаться в наших домах, в амбарах... Всех их погнали назад, к поезду... Что нам было делать? Видели бы вы этих мучениц с лицами тифознобольных!

Бургомистр умолк.

Хагештейн тяжело дышал, не в силах вымолвить слово. Он подумал о письме, полученном вчера. Хозяин, значит, вовсе не сумасшедший. И о женщинах подумал, которые ждали его внизу.

Ридель, рассчитывавший, что посыплется вопросы, обвинения, упреки, настороженно следил за выражением лица правительственного уполномоченного, который молча уставился в одну точку. Это молчание было для него тягостнее любой вспышки гнева. В страхе он опять заерзал на своем стуле. И в конце концов не выдержал и заговорил вновь:

Но самое... самое страшное — это дети... Там были совсем еще малютки... Были уже и бездыханные, с голоду умерли. И когда... когда Уле Брунс во рву добивал умиравших лопатой... хотя надо отдать ему справедливость, он, должно быть, делал это из жалости...

Хагештейн медленно поднял голову; близорукими глазами, горевшими на пепельно-сером лице, он пристально смотрел на бургомистра.

— Бог свидетель, да-да, — уверял Ридель. — Ведь многих засыпали живьем... Я и сам... Ох, какое несчастье принес нам, всей нашей деревне, этот поезд... Никогда здесь не случилось ничего подобного... ну... никаких преступлений... Правду говорю, сущую правду... Но это, это всю нашу деревню загубило!

— Когда же это произошло? — спросил Хагештейн, словно очнувшись от тяжкого кошмара.

— Ну, тогда, два года назад, перед самым крахом!

— Два года? — с изумлением повторил Хагештейн. — И все это время...

Почему же вы, бургомистр, так долго молчали?

— Все молчали... Боялись... Думали, забудется... Мы... мы сами хотели забыть.

— Ужасно! — стонал Хагештейн. — Невероятно! И вы могли молчать?

— Была война! Еще шла война! И...

— Кто были эти несчастные женщины?

— большей частью, пожалуй, еврейки. Потом говорили, вроде бы они из Польши и с Украины.

— Еврейки! заключенные, значит?

— Конечно, заключенные! Это же был эшелон с заключенными!

Ридель замолчал и пристально взглянул на уполномоченного. У него мелькнуло подозрение: неужели этот человек не знал о том, что здесь произошло? Бургомистр побледнел. Конечно же, не знал, не имел ни малейшего представления. Так какого же дьявола он сюда приехал? И Ридель спросил, что привело господина правительственного уполномоченного в Долльхаген.

— Я насчет поставок! — ответил Хагештейн.

Он встал и нервно зашагал по комнате. Что делать, спрашивал он себя. Надо прежде всего сообщить начальству. Пусть присылают человека для расследования этого страшного преступления, в его, Хагештейна, компетенцию такие дела не входят. Здесь, черт возьми, далеко не так приятно, как ему показалось сперва, нет, он здесь не задержится, в этой проклятой деревне!

Бургомистр Ридель сидел поникший, с опущенной головой, решив, что сам он больше ни слова не скажет. А вот если спросят, трудно будет отвертеться и промолчать.

Хагештейн спросил, почему повесился кузнец.

— Он там тоже руку приложил, — сквозь зубы процедил Ридель.

— Где это там?

— Возле амбара, возле Хефдерова амбара он убил одну из бежавших женщин...

Хагештейн вплотную подошел к бургомистру.

— Кто еще из долльхагенцев был там?

— Кто?.. — Ридель презрительно опустил углы рта и нагло посмотрел на Хагештейна.

— Да, кто, я спрашиваю.

— Я обязан ответить?

— Если вы станете уклоняться, я это отмечу в своем докладе правительству.

Ридель помолчал. Потом перечислил:

— Брунс, Бёле, Хиннерк, Мартенс, Дирксен...

— И вы тоже?

— И я.

— Так-так!.. А женщины, что ждут внизу, это, наверно, их жены?

Ридель кивнул.

— Гм! Так-так! Ну вот, а теперь послушайте. Я пошлю в адрес правительства донесение, чтобы сюда была направлена следственная комиссия для выяснения всех обстоятельств дела. Это первое. Второе: позаботьтесь о том, чтобы сидящие внизу женщины убрались вон, и — немедленно! И третье: сейчас же представьте мне отчет о выполненных на сегодняшний день зернопоставках. Надеюсь, в Долльхагене они перевыполнены. Вот так. Пока все.

Ридель тяжело поднялся.

— Я могу идти?

— Идите.

И уполномоченный Хагештейн поступил так, как сказал. Он направил подробнейший доклад не только министру-президенту правительства земли Мекленбург, но и советскому окружному коменданту.

— А комендант, — продолжал свой рассказ Андреас, — вызвал меня к себе и спросил:

— У тебя тесть в Долльхагене?

Я ответил утвердительно.

— Отлично! Слушай же!

И он пересказал мне донесение Хагештейна. Это были только отрывочные фразы, такие, как «страшное преступление...», «более семидесяти женщин и детей убиты..», «замученные Голодом женщины похоронены заживо...», «кузнец Бельц прошлой ночью повесился...», «бургомистр во всем признался...».

Комендант, ошеломленный не меньше, чем я, спросил, знал ли я *обо* всем этом.

— Их зарыли под тремя дубами, — сказал я.

— Значит, ты знал? — повторил он изумленно.

Я ничего не знал, хотя и чувствовал, что какая-то зловещая тайна сковывает всю деревню. Чужалось мне, что здесь кроется какое-то преступление. Но ничего подобного я просто не мог бы себе представить. Сами понимаете, я тотчас же собрался в Долльхаген. Пенцлингер, мой теперешний тесть, сидел в большой комнате у окна. Он словно ждал меня и поднялся мне навстречу со словами:

— Ну вот все и выплыло на поверхность.

Мне это показалось пустой фразой. Так я ему и сказал.

— Садись, все тебе расскажу.

— Прежде всего, сами-то вы причастны к этому преступлению? — воскликнул я.

— И да и нет, — ответил Пенцлингер. — Да, потому что и я тоже молчал. Нет, потому что руки мои, но только руки, чисты. Но дай я расскажу тебе все по порядку.

История этого жуткого преступления была длинной. Пенцлингер излагал ее во всех подробностях, не всегда, правда, в строгой последовательности. Он возвращался назад, вспоминал упущенное, часто останавливался на мелочах и только окольным путем вновь добирался до сути. Иной раз мне стоило большого напряжения следить за нитью его рассказа. Поэтому я передам лишь самое существенное из того, что тогда услышал...

В последние дни перед разгромом гитлеровского рейха, незадолго до капитуляции, остатки разбитых гитлеровских армий хлынули с востока на запад. В своем стремительном бегстве они наводнили дороги вдоль озер, что окружают Шверин и далее идут через леса западного Мекленбурга, пересекая Долльхаген. В те дни, когда русские брали Берлин, на маленькой железнодорожной станции Долльхаген остановился эшелон с заключенными. Его двадцать вагонов, двадцать наглухо запертых вагонов для перевозки скота, были до отказа набиты женщинами и детьми. Из концлагеря Равенсбрюк, где они находились, их перебрасывали в концлагерь Бельзен. Но в день, когда поезд остановился в Долльхагене, Бельзен был уже занят американскими войсками. Отряд конвоировавших поезд эсэсовцев ждал в Долльхагене дальнейших указаний. Ждал один день и одну ночь. Для Долльхагена это были день и ночь ужасов.

Среди заключенных женщин подавляющее большинство составляли еврейки из всех стран Европы, главным образом из Польши и временно оккупированных районов Советской России. На них страшно было

смотреть. Одежда на этих истощенных существах превратилась в лохмотья. Плач и стенанья доносились из наглухо запертых вагонов. Как только эшелон остановился, из него тут же вытащили восемь трупов и уложили их в ряд на железнодорожной насыпи. Несколько суток женщины, среди которых многие были с детьми, не получали ни пищи, ни воды, их ни на минуту не выпускали из этих клеток на колесах. Обреченные на смерть плакали, кричали, выли в нечеловеческих муках. Эсэсовцы палками и плетью избивали несчастных, которые в отчаянье, воя от голода, протягивали через решетчатые окна свои высохшие руки.

Внезапно из одного вагона выскочили несколько женщин и по шпалам побежали в деревню. Очевидно, это случилось в ту минуту, когда открыли дверь, чтобы вынести трупы. Двух женщин эсэсовцы застрелили тут же, на путях, остальные — четырнадцать человек — все-таки добрались до деревни. Тем временем стало смеркаться, и это затруднило преследование, так что беглянкам удалось укрыться в амбарах и коровниках.

Эсэсовцы вызвали ортсгруппенфюрера — это был Уле Брунс — и поручили ему живыми или мертвыми доставить в эшелон всех бежавших, пригрозив, что иначе к ответу будет привлечена вся деревня. А кроме того, цинично добавили эти молодчики, женщины болеют тифом и могут перезаразить население.

Уле Брунс обзавелся подручными — железнодорожником Бёле, кузнецом Бельцем, лавочником Мартенсом, крестьянами Дирксеном и Хиннерком. Пендлингера дома не застали — он отправился в лес: ему понадобилось несколько бревен починить свой коровник. Это было его счастье.

Вооружившись дубинками, крестьяне принялись выгонять беглянок из их убежищ. Тех, кого находили, палками гнали на станцию, где несчастных ждали эсэсовцы. Все четырнадцать женщин были обнаружены. Одна из них настолько ослабела, что, когда кузнец Бельц ударил ее, она тут же упала мертвой.

Эсэсовцы были очень довольны «работой» крестьян и дали им новое поручение: отобрать в эшелоне наиболее слабых и больных женщин и притащить их на станцию. Говорили, что Уле Брунс вначале будто бы неохотно подчинялся приказам эсэсовцев, но он оказался самым рьяным, самым свирепым палачом. Он подходил к вагонам и кричал: «Кто тут умирает с голоду?» Тех, кто откликнулся, вытаскивал за волосы и волочил на станцию.

Неподалеку от станции стоят, как вы уже знаете, три одиноких дуба. Под этими деревьями эсэсовцы выстрелами в затылок приканчивали свои

жертвы. Крестьянам они приказали вырыть под дубами, яму и побросали туда трупы умерших от голода и застреленных, как удалось до сих пор установить — семьдесят два человека, в том числе малые дети и даже грудные младенцы. Уле Брунс, говорят, добывал лопатой тех, в ком еще теплилась жизнь. До глубокой ночи не смолкали крики, стоны, вой обезумевших жертв. Все затихло только к рассвету, когда эшелон смерти пошел дальше. Но еще в течение многих дней долльхагенцы находили трупы, лежавшие вдоль железнодорожного полотна.

— Вот вкратце то, что поведал мне Пенцлингер. Можете себе представить, — обратился Андреас к д-ру Бернеру, — мое состояние. В этот вечер мы долго сидели с тестем друг против друга и молчали. Я думал об Эрике, моей невесте. Ведь она тоже молчала и тем самым взяла и на себя какую-то долю вины.

Эрика сидела рядом, низко опустив голову. Д-р Бернер видел, как у нее вздрагивают плечи. Не следовало, вероятно, Андреасу приводить ее сюда...

— И все же Эрика была единственной, — продолжал Андреас, — кто в ту ужасную ночь спас человеческую жизнь: она спрятала у себя в комнате маленькую девочку и с тех пор растит ее, как преданнейшая мать.

— В самом деле?.. Расскажите же, как вам это удалось? И долльхагенцы знают об этом?

— Я не в силах, — всхлипывая, выговорила Эрика. — Расскажи ты, Андреас!

— Я уже говорил, что коровник у Пенцлингеров местами прохудился, в полу зияла большая дыра. Туда заползла одна из беглянок. Ее обнаружил Беле и поднял невероятный шум; он не решался один войти в коровник и позвал Брунса. Когда Беле стал обыскивать коровник, освещая его своим фонарем, женщина вышла ему навстречу и сама отдала себя в руки преследователей. Уле Брунс погнал ее к станции. Эрика все это слышала, запершись у себя в комнате. Преодолев смертельный страх, она по какому-то наитию крадучись спустилась вниз и вышла во двор. Несчастной, затравленной женщине уже ничем помочь нельзя было. Но тут Эрика услышала плач ребенка. Пошла на голос и в коровнике на соломе нашла, грудного младенца, девочку, месяцев десяти. Легко себе представить, как Эрика перепугалась. Она схватила девочку на руки и унесла к себе. Ребенок был спасен от рыскавших кругом убийц.

— Ну, и что же стало с этой крошкой?

— Теперь это член нашей семьи, — с гордостью ответил Андреас. — Мы назвали ее Юдифь. У нее черные волосы, большие темные глаза. По всей

вероятности, еврейская девочка. Вот так, хоть мы еще и студенты, но уже женаты и ребенок уже есть.

— А судьба матери?

— Ее убили возле железнодорожной насыпи. Один из эсэсовцев выстрелил ей в спину. Вместе с другими ее бросили в ров под тремя дубами. Одна из семидесяти двух. Пожертвовала собой ради спасения своего ребенка. И спасла его... Вы спросили, где сейчас малютка? Здесь, в Ростоке, у одной из теток Эрики. Добрая, сердечная женщина от девочки без ума. Юдифь и впрямь очаровательное существо.

Но вернусь к Пенцлингеру. Когда он кончил, я ему сказал примерно так:

— Вы надеялись, что этим заговором молчания вам удастся скрыть содеянное? Рассчитывали, что все забудется? Хотели на этом кровавом болоте построить новую жизнь или хотя бы продолжать жить по-старому? Как могли вы целых два года молчать, молчать о таком неслыханном злодеянии? Не понимаю, что вы за люди. Неужели вам не было ясно, что тот, кто знает, но молчит о преступлении, становится его соучастником? Неужели вы не знали, что тот, кто покрывает убийцу, становится соучастником убийства?

А Пенцлингер? Угрюмо, но с сознанием вины он сказал:

— Пусть произнесут свой приговор те, кому надлежит судить нас!

Так это чудовищное преступление было предано гласности. О нем долго писали в газетах. Мекленбургское радио передавало о нем репортажи. Слово «Долльхаген» люди произносили с ужасом и отвращением. В деревню приезжала комиссия за комиссией для тщательного обследования могилы, для допроса жителей, составления подробнейших протоколов. В торжественной обстановке было произведено перезахоронение жертв, при котором присутствовали министр-президент и министры правительства земли Мекленбург. Произнесенные на этой церемонии многочисленные речи дышали гневом и возмущением. Под тремя дубами было решено установить памятник.

На том все и кончилось. Все. Никого не арестовали. Ридель, Мартенс, Дирксен и остальные по-прежнему на свободе. Площадка под тремя дубами и сейчас все такая же, какой была много лет назад. Ни о каком памятнике никто уже и не вспоминает. Негодующие речи мекленбургского министра-президента обошли все газеты, но и только. Дел за ними не последовало. Преступление в Долльхагене уже почти забыто, а его виновники и соучастники свободно ходят по земле, словно все грехи им уже давно отпущены.

— А Брунс? — прервала мужа Эрика. — О нем ты ничего не сказал.

— Да, этот приговорен к двадцати годам принудительных работ. Имущество и земля его конфискованы. Усадьба поделена между семьями переселенцев из Западной Пруссии. Справедливо было бы, однако, привлечь к ответственности и Риделя, и Дирксена, и Мартенса, словом, всех, кто там был и кто угрозами принуждал остальных к молчанию. Наша демократия вновь проявила чрезмерную снисходительность и чрезмерное великодушие.

— А вы, Андреас? Вы, кажется, собирались поступать...

— Да, я собирался учиться, — ответил Андреас раньше, чем д-р Бернер успел договорить. — Это было моим давним желанием. Помог мне советский комендант Иван Иванович, не знаю, удалось ли бы мне осуществить мое желание без него. Мы тогда решили пожениться, и передо мной встал выбор; учеба или женитьба. Когда мы пришли к Ивану Ивановичу со своими сомнениями, он высмеял нас, «Вы неправильно ставите вопрос, — сказал он. — Не учеба или женитьба, а учеба и женитьба! — И добавил: — Отличное сочетание! Отличное!»

— И он оказался прав?

— Абсолютно! — воскликнул Андреас и повернулся к своей молодой подруге. — Или ты не согласна, Эрика?

Она улыбнулась и молча кивнула головой.

— А завтра утром мы едем навестить нашу маленькую Юдифь. Поедемте с нами?

— Охотно! — сказал д-р Бернер и стал прощаться.

В этот вечер он хотел оставить молодых людей вдвоем.

Весенняя соната

Дежурный офицер доложил коменданту, что комендантский патруль задержал капитана Николая Прицкера, Этот советский офицер в нетрезвом виде учинил разгром в квартире одного немецкого профессора и угрожал членам его семьи.

Полковник Перников опустил голову. Прицкер — политработник вверенной ему воинской части. Небольшого роста, болезненный и вечно рассеянный человек. Неужели капитан Прицкер мог позволить себе нечто подобное?.. Какой бес в него вселился? Полковник положил на стол руки, они невольно сжались в кулаки. Люди жизнью рискуют, чтобы оградить

город от бандитов, а этот офицер вдруг так распоясался.

Перников поднял глаза.

— Где он?

— На гауптвахте, товарищ полковник.

Комендант поднялся.

— Идите за мной!

В маленькой комнатухе гауптвахты на голой деревянной скамье, вытянувшись во весь рост, неподвижно, как мертвый, лежал капитан. Полковник подошел к нему.

— Ведро воды! — приказал он дежурному офицеру.

Приподняв пьяного обеими руками за плечи, он сильно его встряхнул. Капитан попытался приоткрыть глаза. Он что-то пробормотал.

— Очнитесь же, черт вас возьми!

Капитан, как бы защищаясь, поднял руку и нечаянно угодил полковнику в глаз. Перников не сдержался — он с силой оттолкнул пьяного, сбил его с ног и выбежал из камеры. Дежурный лейтенант снова уложил Прицкера на скамью. В эту минуту раздался голос часового за дверью:

— Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант! Скорее сюда!

На лестнице, ведущей из подвала, где помещалась гауптвахта, стоял полковник Перников, обхватив обеими руками лестничный столб. Полковник стонал. На лбу у него выступили капельки пота.

— Что с вами, товарищ полковник?

Лейтенант поддержал Перникова. Тот прошептал еле слышно:

— Домой! Отвезите меня домой, лейтенант!

Как только обер-бургомистр Вайс узнал, что произошло на квартире профессора, он тотчас позвонил Коваленко. Но помощник коменданта уехал в район, его ждали только поздно вечером. Жена Вайса, Грета, настаивала, чтобы муж сейчас же поговорил с профессором. Лучше всего, советовала она ему, пригласить профессора вместе с женой к себе.

Профессор Манфред Ринбергер — рослый мужчина с высоким лбом ученого и шевелюрой, тронутой сединой, — немедленно откликнулся на приглашение. Держал он себя сердечно и непринужденно. Жена его, темная блондинка с косами, уложенными на ушах, была, напротив, весьма сдержанна и молчалива.

— Могу себе легко представить, господин обер-бургомистр, зачем вы нас сюда пригласили, — начал профессор. — Какое злополучное завершение ряда очень приятных вечеров!..

— На вас глядя, не скажешь, что вы слишком удручены, хотя ваша квартира и пострадала, — сказала Грета, накрывая на стол.

— Урон не столь уж велик. А вот страху мы натерпелись — это гораздо хуже. Но, пожалуй, стоит рассказать все по порядку. Очень важна предыстория этого случая.

Томас и Грета попросили профессора рассказать все, как было.

— Вы, вероятно, примете нас за безнадежно отсталых людей, если я выдам вам секрет: дома у нас нет ни патефона, ни радиоприемника. Но зато у нас есть рояль, скрипка, альт, виолончель и флейта, а в комнате моей супруги стоит маленький клавесин. Мы очень часто музицируем. Когда-то любовь к музыке сблизила меня с моей теперешней женой: мы познакомились с ней в туристском фереине «Перелетные птицы». Туристские походы и музицирование на всю жизнь остались нашим излюбленным развлечением. Музыка я обязан тем, что не стал ученым сухарем в своей лаборатории, среди пробирок, тиглей и другой химической посуды, и не заkis в парах химикалий. Музыка помогла нам пережить годы тяжелых испытаний, она озаряла своим светом длинную цепь черных дней, она ободряла нас, вселяла в наши сердца веру в жизнь.

Эта печальная история началась в середине прошлого месяца. Я хорошо помню все подробности: мы разучивали один из квартетов Брамса; Рутильде, нашей старшей дочери, скрипачке, никак не удавалась ее сольная партия, и мы без конца повторяли одно и то же место. Вдруг кто-то постучал в дверь. Тихо, я сказал бы даже, нерешительно; мы удивленно переглянулись: час был уже довольно поздний. Жена пошла посмотреть, кто там стучит. В гостиную она вернулась с совершенно растерянным видом. «Что случилось?» — спрашиваю я, встревожившись, и иду ей навстречу, а в дверях уже стоит русский в офицерской форме. Я остановился. Моя жена, дети и я — все мы испуганно уставились на незваного гостя.

О русских рассказывали так много всяких ужасов, что мы ничего хорошего не ждали от этого визита. Вскоре, впрочем, я убедился, что вид у нашего гостя совершенно безобидный. Чуть ли не робко стоял он на пороге и смотрел на нас своими большими темными глазами. Когда он снял фуражку, мы увидели копну черных густых вьющихся волос. Не знаю, сколько времени мы молча смотрели друг на друга. Но вот я шагнул к нему и уже собрался что-то сказать, но он поднял руку и вполголоса, почти

умоляюще, произнес на ломаном немецком языке:

— Пожалуйста, не бойтесь! Я услышал музыку. Я люблю музыку. Пожалуйста, можно мне послушать музыку?

Тут я не мог не улыбнуться. Мы все заулыбались.

— Заходите, — сказал я, — будьте нашим гостем.

Я подал ему руку. Он крепко пожал ее.

— Я только послушаю музыку, пожалуйста, — повторил он и прибавил, показав рукой на стул у окна: — Посижу здесь и послушаю музыку, да?

Офицер опустился на стул. Фуражку положил к себе на колени. Он сидел, прямой как свеча, и темные глаза его блестели. Что нам оставалось делать? Мы продолжали играть. «Ну вот, думал я, теперь-то уж наверняка у нас ничего не будет ладиться, дети очень взволнованы. И жена тоже». Но именно она первая подошла к роялю и с таким видом, будто ничего не случилось, села и ободряюще улыбнулась мне. Я посмотрел на обеих девочек: они настраивали свои инструменты, украдкой поглядывая в сторону офицера. Девочки, особенно Ирмгарт, держали себя непринужденно. А Ганс, наш младший сын (он играет на флейте), стал рядом с матерью, чтобы перелистывать ноты.

Как сейчас помню, играли мы струнный квартет Тартини, и мне кажется, что слушать нас действительно было удовольствие. Каждый инструмент вступал с безупречной точностью; ансамбль звучал отлично. По-видимому, каждого из нас подхлестывало присутствие слушателя, как бы публики. Русский сидел, выпрямившись на своем стуле, притихший, неподвижный. Только темные глаза его время от времени дружелюбно поглядывали на кого-нибудь из нас. Когда мы закончили и сделали вид, будто собираемся отложить наши инструменты, он попросил с радостной улыбкой: «Еще сыграйте, пожалуйста!» Я хотел было отказаться из опасения, что наш гость после каждой пьесы будет повторять свое «еще сыграйте, пожалуйста!». Но жена подмигнула мне и показала на ноты, которые она уже поставила на пюпитр. Я шепотом переговорил с дочками, и мы начали вторую часть анданте из Квартета си минор Моцарта — наш, так сказать, коронный номер, который мы всегда охотно и на редкость чисто исполняем.

Наш гость сидел как изваяние; ни один мускул не дрогнул на его лице, и все же нам казалось, что он сиял от счастья. «Как медный таз», — сказала позднее Ирмгарт, дерзкая она у нас девчонка.

Мы повторили Ночные миниатюры Моцарта. Русский поднялся, поклонился и сказал:

— Благодарю много, много раз, очень!

Он пожал всем по очереди руку — сначала жене, потом мне, затем дочерям и, наконец, Гансу. На пороге он обернулся и, раньше тем выйти на улицу, поклонился еще раз. И все же, чего греха таить, заперев за ним дверь, мы почувствовали облегчение, стали смеяться, шутить, особенно дети.

На следующий вечер мы не музицировали. Жена и девочки были приглашены к моей сестре в Вистов, где у нее маленькое поместье. Хотя Вистов сравнительно недалеко от Росток, попасть туда сейчас, когда нет машины, когда не ходят поезда, — это целое событие. Но мы часто устраиваем туда походы, ибо побывать в Вистове — значит пополнить наши продовольственные запасы.

На третий день мы серьезно призадумались, стоит ли нам вечером играть. Ведь может случиться, что мы тем самым снова привлечем к себе в дом капитана, одержимого страстью к музыке. «Да что там! — решили мы в конце концов. — Больше он не придет!»

Впрочем, я, признаться, заподозрил детей в том, что им хочется, чтобы русский пришел. Так или иначе, но мы решили играть. Едва мы начали, как в дверь постучали...

— Это он! — воскликнули девочки и заулыбались.

И в самом деле, это был он.

— Можно мне? — спросил капитан еще в дверях.

Стул его уже стоял у окна. Поклонившись, русский пожал нам всем руки, подошел к стулу и сел.

Он пришел в начале девятого, а ушел около одиннадцати. Все это время он просидел не шевелясь, точно окаменев, и не проронил ни звука. Мы переигрывали отдельные места, останавливались, если кто-нибудь вступал с запозданием или общее исполнение заставляло желать лучшего, и почти забыли о присутствии русского офицера. Дети, как все дети, смеялись, дразнили друг друга и перебрасывались шутками. А русский все сидел, и в его больших глазах отражались самые различные чувства: радость, удивление, а порою грусть.

На следующий день он принес с собой какой-то сверток и молча положил его на стол.

— Для вас! — сказал он, обращаясь к моей жене. А затем добавил — Для всех!

В пакете оказалась буханка хлеба, банка мясных и банка рыбных консервов. Как мы ни настаивали, чтобы он забрал свой сверток, как ни пытались разъяснить, что обойдемся без этих продуктов, он лишь улыбался

и повторял: «Для всех!» Только после его ухода нам пришло в голову, что он хотел сказать этим своим «для всех». По-видимому, «для всех» означало и для него тоже. Мы очень сожалели, что поздно догадались об этом.

На следующий вечер мы не садились ужинать, пока он не пришел. В этот раз он принес большой кусок масла — диковинка нынче, как вы знаете. И поужинал с нами. Должен сказать, что это был приятный гость. Сначала, признаюсь, я испытывал некоторые опасения. Но наш капитан — фамилия его, кстати, Прицкер, думается мне, что он еврей, — оказался человеком образованным и прекрасно воспитанным. Он был разговорчив, остроумен и находчив, хохотал с девочками до упаду — иногда просто так, беспричинно.

И вот с течением времени капитан Прицкер стал своим человеком в доме, и, если он пропускал один вечер и не приходил, что, правда, случилось всего два или три, он назавтра получал изрядный нагоняй.

Капитан, несомненно, приносил бы продукты каждый вечер, если бы моя жена категорически не воспротивилась этому. Только изредка мы принимали от него кое-какие мелочи. Однажды он принес с собой бутылку водки. Но сам он, по-видимому, был человек непьющий: он едва пригубил несколько раз свою рюмку. Помню, Рутильда спросила капитана, женат ли он. Гость наш вдруг страшно изменился в лице, побледнел, в глазах у него что-то дрогнуло. Он отрицательно покачал головой. Теперь, когда мне многое известно, я понимаю, почему с этой минуты он сделался так странно молчалив. Одна из наших девочек как-то спросила капитана, какое его самое любимое музыкальное произведение. Он ответил тихим, едва ли не дрожащим голосом:

— Весенняя соната Бетховена.

Весенняя соната? Я не сразу сообразил, о какой сонате идет речь. На следующий день девочки перелистали множество книг и нотных тетрадей. Они не успокоились, пока не выяснили, что капитан разумел под Весенней сонатой. Это оказалась соната фа мажор, опус 24. Сестры решили устроить нашему русскому гостю сюрприз, разучив для него его любимое произведение. Они долго приставали ко мне, чтобы я разрешил им заняться сонатой, и я в конце концов согласился.

Соната фа мажор — одно из ранних произведений Бетховена; в ее лейтмотиве есть еще, если можно так выразиться, отголоски моцартовских звучаний, особенно в первой части. Но зато вторая часть, адажио, но своей выразительной силе — уже настоящий Бетховен. Рояль и скрипка превосходно перекликаются и дополняют друг друга. Рутильда сразу же предложила исполнить для капитана адажио. Но меня — я, кажется,

говорил уже — все время останавливало какое-то недоброе предчувствие. Если бы меня спросили, откуда оно взялось, ответить я бы не мог. Боялся ли я сложного скрипичного соло? Тревожило ли меня что-то другое? Неясное предчувствие беды?

Моя жена и Рутильда репетировали днем: ведь они готовили сюрприз для капитана! Рутильда превзошла себя, скрипка в ее руках пела нежно и звучно, она и рыдала, и вопрошала, и в то же время говорила об отрешенности от всего земного.

В тот вечер, когда мы собирались исполнить Весеннюю сонату, мы решили устроить по этому поводу небольшое торжество. Стол был празднично убран. Жена моя — я до сих пор не знаю, как ей это удалось, — раздобыла несколько бутылок пива. На донышке маленького графина, поставленного на стол, было немного водки. Огненно-красные гладиолусы на белой скатерти радовали глаз.

Когда капитан пришел, мы сразу заметили, что он, должно быть, выпил. Он говорил запинаясь, не очень внятно. Рутильду это огорчило и разочаровало. Она шепнула мне:

— Он и капли в рот не взял бы, если бы знал, что его ждет сегодня!

Я кивнул дочери и постарался успокоить ее. Сегодня, пожалуй, я сказал бы ей: если капитан и не знал, то, по-видимому, предчувствовал, какой сюрприз его ожидает, иначе непонятно, отчего именно в этот вечер он выпил; ведь раньше с ним этого ни разу не случалось. Как я уже говорил, он отнюдь не был пьяницей.

Мы попросили нашего гостя занять свой стул у окна. Открывая вечер, Ирмгарт прочитала стихотворение Германа Гессе «Игра на флейте». Вы его знаете? Это одно из лучших стихотворений Гессе. Оно написано в духе народной песни и повествует о чудесном свойстве музыки объединять народы. Я знаю эти стихи наизусть, и если вы ничего не имеете против, то послушайте, как декламирует профессор:

Дом светится в ночи.

Трепещет каждый лист.

И огонек среди деревьев рдеет.

Невидимый играет здесь флейтист

И каждый звук своим дыханьем греет.

Старинной песни сладостный мотив

Вбирает чутко тишина ночная.

И мнится: все окончены пути
И каждая страна — страна родная.
И мнится: все, чем дышит род людской,
В дыханье этом полно отразилось
И увлекает сердце за собой,
И связь времен навеки утвердилась¹¹.

Когда Ирмгарт кончила, моя жена и дочь заиграли адажио из бетховенской сонаты фа-мажор. Я заметил взгляд Рутильды, устремленный на капитана. Она вступала несколько позднее. Едва раздалась первые такты, как наш гость поднял голову, напряженно слушая. Он обвел всех нас взглядом, но не с выражением радости, как мы ожидали, а с удивлением и даже злобой. Заметил я также, что он затрудненно дышит.

Не знаю, знакомо ли вам это адажио, этот маленький, удивительный по своему обаянию шедевр; извините меня за банальность, но эта музыка проникает в самое сердце, когда слушаешь ее, душа трепещет от блаженства. Я следил за Рутильдой, она играла вдохновенно. Но неожиданно я заметил испуг на ее лице: капитан Прицкер нетвердой походкой подошел к столу и налил остаток водки из графина в стакан. Не знаю, почему я не отнял у него стакана. Не понимаю, как могла Рутильда продолжать свою партию. Она плотно сжала веки, будто не хотела видеть того, что видели мы все. Капитан залпом выпил водку. Потом опять уставился на нас. «Кончить! Бога ради, кончить!» — подумал я. Но Рутильда продолжала играть, и как она играла! Но вот зазвучал и рояль. Капитан закрыл лицо руками, словно терзаемый страшной мукой. Что все это значит? Почему они продолжают играть?

И вдруг раздался крик, за ним послышались какие-то непонятные слова... Капитан одним движением руки рванул со стола скатерть со всем, что было на ней. Жена уронила голову на клавиши рояля. Ирмгарт и Ганс выбежали из комнаты, перепуганные до смерти. Капитан всей своей тяжестью навалился на шкаф, где стояли рюмки, чашки и другая посуда, шкаф опрокинулся и упал на стол. Потом он сорвал с окон портьеры и занавеси, ногой отшвырнул стулья. Не переставая выкрикивал он то ли проклятия, то ли угрозы. Рутильда, все еще со скрипкой и смычком в руках, застыла на месте. Вот сейчас он набросится на нее, подумал я и уже приготовился ее защищать. Но капитан неожиданно рухнул в кресло,

¹¹ Перевод И. Зусманович

положил голову на подлокотник и громко зарыдал.

Я уложил жену на диван, затем подошел к дочери и обнял ее за плечи. Стоя так, мы смотрели на несчастного капитана, который, трясая головой, плакал, как ребенок.

Наконец явился комендантский патруль и увел его.

В эту ночь никто из нас не сомкнул глаз. Каких только предположений мы не строили. Внезапное безумие? Бывает же, бог мой, и такое. Кто не слышал об одержимых? В конце концов мы пришли к выводу, что у капитана, видимо, вдруг сдали нервы. Иначе мы не могли объяснить себе его поведение. И если бы мне пришлось рассказывать эту историю несколько часов назад, я, вероятно, закончил бы ее этими смутными догадками и мучительными предположениями. Но теперь мне многое стало понятно.

Сегодня днем меня посетил молодой офицер из комендатуры. От имени капитана Прицкера он попросил извинения и предложил возместить нам убытки. Он же рассказал мне о судьбе капитана. Судьба эта еще трагичнее, чем можно было предполагать. Послушайте только.

До призыва в армию капитан Прицкер преподавал музыку в Киевской консерватории. Он был женат, у него были дочь и сын, оба еще школьники. В 1942 году солдаты гитлеровского вермахта согнали в Киеве, как скот, десятки тысяч евреев — мужчин, женщин и детей, — и расстреляли их в окрестностях города, на краю рва, выкопанного самими жертвами. Среди этих несчастных оказались жена и дети капитана. Вечером, накануне призыва Прицкера в армию, его жена и двенадцатилетний сынишка, одаренный, подающий надежды скрипач, исполняли Весеннюю сонату Бетховена.

Профессор умолк. Жена его сидела, низко опустив голову. Профессор погладил ее по волосам и обнял за плечи.

Грета встала. Казалось, она по находила себе места. Вдруг она спросила профессора:

— Ну и что вы предприняли, господин профессор?

— Я? — удивленно спросил Ринбергор. — А что я мог предпринять, скажите на милость?

— Но, господин профессор, не можете же вы таи оставить это дело!

Вайс, предложил, чтобы Ринбергер написал коменданту письмо, в котором изложил бы все эти обстоятельства и сообщил, что не имеет к капитану никаких претензий.

— Возможно, полковник и не ответит вам, — добавил обер-бургомистр, — но без последствий письмо не останется, уверяю вас.

— Виновны, в сущности, мы, — сказал профессор, — я понимаю, мы, немцы. — Подняв глаза, он продолжал: — Представьте себе: офицер армии-победительницы находится в стране, чьи люди вторглись в пределы его родины и убили его жену и детей. Палачи побеждены, по жители этой страны вовремя не схватили палачей за руку, они предоставили им свободу действий, другими словами, поощряли убийство. Офицер в полном одиночестве бродит по городу побежденных. Он проходит мимо дома, из которого доносится музыка. Он видит: благополучная семья, не понесшая потерь, все здесь вместе — муж, жена, дочери, сын; они играют Шумана, Брамса, Моцарта. А он стоит на улице и слушает. Ему знаком каждый аккорд, ведь он учитель музыки, он знает и любит ее. Музыка сильнее ненависти. Офицер, как проситель, стучится в дверь побежденных, в дверь сообщников тех, кто принес несчастье ему и его родине. Офицеру разрешают войти послушать музыку, и он счастлив, хотя это и немцы, соотечественники палачей, убивших его жену, дочь, сына и бесчисленное множество других женщин и детей у него на родине. Он об этом думает, он не может не возвращаться к этой мысли; постепенно страдание овладевает им, пересиливает все другие чувства. Он старается заглушить свою муку, не желает, чтобы эта немецкая семья что-нибудь заметила. Он пьет, лишь бы забыться. И вот именно та вещь, которую его немецкие знакомые, ничего не подозревая, исполнили для него, желая его порадовать, причинила ему нестерпимую боль. Да, это наша вина, наша. Виноваты мы...

Ринбергер умолк и откинулся на спинку кресла. Жена профессора, которая слушала его, широко раскрыв глаза, не могла сдержать слез.

В комнате долго стояла тишина. Нарушил молчание обер-бургомистр:

— В сущности, господин профессор, ваше письмо коменданту готово. Вам остается только перенести на бумагу то, что вы нам сейчас рассказали.

Полковник Перников стоял у двери, выходящей на веранду, заложив руки за спину, в характерной для него несколько напряженной позе и смотрел в сад. На кустах, высаженных вдоль забора, светились под солнцем золотисто-желтые цветы. И среди живописно разбросанных на искусственном холмике камней переливался всеми красками сказочный мир цветов, созданный руками садовника. Полковник смотрел на все это великолепиие и не видел ничего. Мысли его были заняты письмами, лежавшими на столе. Он несколько раз перечитал их, строчку за строчкой. Письмо Греты, полученное вчера вечером, не особенно тронуло его, скорее,

даже рассердило. Что она позволяет себе? Кто дал ей право бросать ему упреки? Но затем принесли письмо немецкого профессора. Читая его, Перников краснел и бледнел, на этот раз не от гнева. Оказывается, он понятия не имел об обстоятельствах, сообщенных профессором. И вот теперь он задавал себе вопрос: а что ему вообще известно о его подчиненных, о сражавшихся в его части офицерах? Ничего он не знает о них. Даже о семейных делах Коваленко он едва ли знает что-нибудь толком, а ведь это его заместитель. Вроде бы к Коваленко собиралась приехать жена. Вопрос о ее приезде давно был решен положительно. Почему же ее еще нет здесь? Он вспомнил все, что Коваленко рассказывал ему о смерти сына. Жена его никак не могла пересилить себя и приехать в Германию. Да, об этом Павел Иванович рассказывал ему. А он выслушал и... забыл. Нет, ничего он не знал об ударах судьбы, постигших его офицеров и солдат, о их часто нелегкой личной жизни; а ведь они в конечном счете не только его подчиненные, но и его соратники, товарищи... А капитан Прицкер? Сколько лет он уже служит политработником в его части! Вместе они прошли от Краснодара до Ростoka. И пока капитан сражался, немцы убили в Киеве его семью...

Полковник задумался... Вот мы читаем в газетах, слушаем по радио и передаем из уст в уста: в Ворошиловграде убито двенадцать тысяч евреев; в Керчи, на окраине города, расстреляны тысячи жителей; в Киеве — десятки тысяч евреев и коммунистов зверски убиты и брошены в общие могилы... Мы читаем об этом, приходим в ужас, но по-настоящему это не доходит до нашего сознания, разум отказывается воспринять такое нагромождение преступлений... Они настолько чудовищны, что теряют осязаемые черты. А ведь для тысяч, сотен тысяч людей они стали вполне реальной трагедией. Полковник не раз и в самых различных обстоятельствах сталкивался лицом к лицу со смертью. Но ничто так не потрясло его, как смерть единственного сына Никиты, и погиб сын где-то вдали от него. Смерть близкого человека, даже просто друга, трогает нас куда больше, чем гибель многих тысяч незнакомых людей.

Ну а капитан? «Тяжелые испытания достались на долю этого преподавателя музыки, — размышлял полковник. — Была у него, верно, хорошая, счастливая семейная жизнь, и он так же радовался своим подрастающим детям, как я — своему Никите. А теперь он — один-одинешенек, он потерял всех, кто ему дорог, он клянет свою судьбу, жить ему опостылело, и все-таки он привязан к жизни...»

Полковник зашагал из угла в угол. Разве в его собственной судьбе мало общего с судьбой этого капитана? Разве не одни и те же невзгоды обрушились на них обоих? Разве оба они не одиноки, хотя некогда у

каждого из них была семья, жена, дети?..

Полковник опять остановился перед дверью на веранду. Он думал: «И этого человека я так грубо оскорбил! Простить себе не могу! Глупо, да и только!»

Яркие, пестрые цветы радовали глаз своей нетронутой свежестью. Белая кора берез светилась на фоне голубого летнего неба. Воздух был напоен сладостным благоуханием. Пчелы, жужжа, вились вокруг цветов. На деревьях щебетали птицы. Всюду жизнь, всюду радость бытия... Полковник вдруг хлопнул себя по лбу: «А капитан-то ведь все еще на гауптвахте! За бесконечным философствованием и рассуждениями я опять забыл о человеке».

Он прошел в переднюю, взял с вешалки фуражку и крикнул связному Алеше, что скоро вернется.

У входа на гауптвахту ему стало как-то не по себе. Холодно было тут. И плесенью попахивало.

— Сколько у вас людей под арестом? — спросил он у открывшего ему дверь сержанта.

— Восемь человек, товарищ комендант. Шесть солдат и два офицера.

Полковник решил заглянуть в личные дела арестованных. Может быть, можно их отпустить? В такой летний день, должно быть, особенно тяжело сидеть взаперти... «Что-то я сегодня чересчур великодушен», — подумал он, идя по длинному коридору вслед за сержантом.

Великодушие и мягкотелость, конечно, вещи разные. В мягкотелости полковника никак нельзя было заподозрить.

Сержант отпер дверь. Полковник вошел в узкую камеру и пристально посмотрел в лицо капитану. Тот вскочил и вытянулся у самой стены, под окном, схваченным решеткой, через которое просачивался скудный свет. Сначала полковник хотел было услатить сержанта, но раздумал. Нечего делать из этого тайну. Ему нечего скрывать.

— Товарищ капитан, я пришел извиниться перед вами. Я был неправ. Простите меня.

Прицкер во все глаза смотрел на коменданта. Некоторое время оба офицера молча стояли друг против друга. Потом полковник протянул руку капитану:

— Не обижайтесь на меня!

— Товарищ полковник, я виноват. Я нарушил устав.

— Знаю, дорогой, — прервал его полковник. — И за это вы отсидели под

арестом. Но я... я был несправедлив. Я не знал всей подоплеки, понимаете? Значит, мир?

Капитан пожал руку полковнику. По лицу его текли слезы. Полковник не переносил плачущих мужчин, а уж плачущих солдат — и подавно. Но вдруг он почувствовал, что и у него глаза наполняются слезами. И снова мелькнула мысль, что оба они, и капитан и он, страдают от одной и той же душевной раны. Поддавшись внезапному порыву, он привлек к себе капитана и обнял его.

— Пойдемте, Николай Самуилович, свое наказание вы уже отбыли.

Полковник улыбнулся открытой и приветливой улыбкой.

— Сегодня вы мой гость. Пообедаем вместе.

Так кто же марают свое гнездо?

1

Ни на одном уроке в классе не бывало так тихо, как на уроке истории. Мальчики сидели, прямые как свечи, устремив взгляд на учителя. А он расхаживал перед кафедрой и в свободно льющейся речи, как бы беседуя, воскрешал события давно минувших эпох в жизни немецкого народа. Не было ни шушуканья, ни перешептывания, ни нетерпеливого ожидания звонка, возвещающего конец урока. Не раз случалось, что звонок встречался возгласами разочарования. И это было для учителя Мертенса лучшим выражением признательности.

Ему доставляло радость вместе со своими юными друзьями следовать по запутанным, петляющим тропам предков, рассматривать и раскрывать не только их намерения и усилия, не только их заблуждения, ошибочные и неразумные действия, но и благородные начинания и высокопатриотические подвиги, чтобы на историческом опыте учиться понимать задачи современности.

С той минуты, как мальчики поняли, что все, именуемое сегодня историей, было некогда злободневной политикой, а сегодняшняя политика когда-нибудь станет историей, их интерес к предмету, желание узнать возможно больше становились все настойчивее. Наиболее восприимчивые из них не только с большим пониманием следили за событиями дня, но и смотрели на них совсем иными глазами; пусть далеко не все было им ясно,

однако ребята уже начинали задумываться над общественными взаимосвязями.

Мертенс вел свой предмет по разработанной им системе, оставаясь тем не менее в рамках предписанной программы. Всесторонне анализируя историю немецкого народа, он вплотную подводил учеников к проблемам современной германской действительности, которые вообще-то принято было затрагивать лишь поверхностно. Он стремился прежде всего показать ребятам, что представлял собой гитлеровский рейх и вторая мировая война, хотя в учебный план это не входило.

— Если мы рассмотрим историю нашего народа со времен Крестьянской войны, — так начал он однажды урок, — мы увидим, что ошибок и ложных путей у нас было более чем достаточно. В решающие моменты, на скрещении исторических путей, почти всегда над всеобщим благом брали верх эгоистические, корыстные интересы правивших в ту пору династий. Как народ мы не раз на десятки, а после злополучного исхода Крестьянской войны на сотню лет отставали от других народов Европы, обогнавших нас в своем развитии.

Курт Мертенс остановился и, облокотясь на кафедру, молча смотрел в блестящие, пытливые глаза школьников. Он любил эти одушевленные жадной знаний, такие еще невинные мальчишеские лица. Он горячо желал, чтобы тот или другой из его учеников совершил что-либо выдающееся на благо народа. Мечтал, чтобы хоть кто-нибудь из них стал удачливым, не знающим поражений Томасом Мюнцером или Михаилом Гайсмайром, борцом за то, чтобы Германия никогда больше не становилась на пагубный путь.

— Вы только подумайте, — продолжал он. — На ученической скамье жизни мы, немцы, были неплохими математиками, философами, естествоиспытателями, поэтами, музыкантами, но что касается истории, то тут мы не раз оказывались второгодниками.

Звонким смехом откликнулся класс на эти слова. Мертенс от души посмеялся вместе со всеми, а затем серьезно продолжал:

— Все это очень плохо, плохо для нашего народа и для других народов, среди которых мы жили и живем, ибо за каждую ошибку приходится расплачиваться кровью.

Любой неправильный шаг стоит народу крови и слёз. В области истории, а значит, и политики, нам надо во что бы то ни стало, не жалея сил и труда, восполнить упущенное, чтобы не повторить ошибок прошлых поколений.

Раздался звонок.

Досадливое «а-ах!» прокатилось по рядам, Мертенс молча стоял на кафедре. Класс не шевелился. Мальчики смотрели на своего учителя. Он чувствовал, что они ждут от него заключительных слов, слов, пробуждающих мысль, надежду. Мертенс взял книгу, лежавшую на кафедре, раскрыл ее и прочел:

— «Такова задача, которая сегодня стоит перед нами. Выполнить ее — наш долг». Послушайте, к чему призывал народ вот так же, на перекрестке нашей национальной истории, великий немецкий писатель Фридрих Геббель. Я читаю из его дневника: «В жизни отдельного человека, как и в жизни целого народа, приходит час, когда сам он вершит суд над собой. Ему дается возможность искупить прошлое и освободиться от старых грехов. Но по левую руку от него стоит Немезида, и горе тому, кто не ступит на праведный путь. Такой час пришел теперь для Германии». — Мертенс поднял глаза, захлопнул книгу и повторил: — Да, вот и опять именно так обстоит дело с нашим отечеством. Не забудем же об этом. Ни на одну минуту нельзя об этом забывать.

2

В тот день Курт Мертенс дежурил во время перемены на школьном дворе. Девочки и мальчики стояли группками или прохаживались, увлеченные своими разговорами. Двор был безобразный, огороженный высокой кирпичной стеной. Здание школы на Булленхузердамм не отличалось красотой: окна нижнего этажа были заложены кирпичом, подвальные — забраны железной решеткой. Некоторая польза от стены все-таки была — она закрывала вид со школьного двора на развалины, тянувшиеся до самого моста через Эльбу и далее в глубь города, Моорфлит, Ротенбургсорт и Бильвердер-Аусшлаг больше других районов пострадали от бомбежек. Лишь немногие дома уцелели, а все фабрики, все складские здания вдоль каналов были разрушены до основания. Ротенбургсорт называли «мертвой зоной», — там спустя два года после окончания войны все еще оставались незахороненные трупы. Повсюду стояли щиты с предостережением: «Проход закрыт», «Зараженная местность». В этих некогда рабочих кварталах города безраздельно хозяйничали крысы.

Школьное здание на Булленхузердамм каким-то чудом уцелело.

Дети, жившие в Гаммерброоке и Бильброоке, каждое утро, направляясь в школу, шагали по развалинам. Люди вообще, а дети в особенности, быстро привыкают ко всему, привыкают и к виду разрушенных городов. Когда такой вид становится чем-то обыденным, его едва замечают. Возможно, и с

Мертенсом произошло бы то же самое, не будь он постоянно начеку.

Он знал также о тайне, мрачной тенью лежавшей на этой школе. То была страшная тайна, и он долго терзался сомнениями, вправе ли он хранить ее про себя. Он считал, что о ней надо говорить везде, пусть она станет известна всем, чтобы школа эта служила вечным укором и предостережением. Однако большинство педагогического совета настаивало на сохранении тайны, и Мертенсу волей-неволей пришлось подчиниться.

Но в этот день он оказался перед выбором: либо наперекор своей совести молчать, либо сказать правду.

— Ты пойдешь со мной, когда я буду его спрашивать? — Хорст Тэннэ, прищурившись взглянул на своего друга Ганса. — Я спрошу его, слышишь? Но ты должен пойти со мной, вот увидишь — спрошу.

— Слабо.

— Клянусь — спрошу!

— А если и спросишь, он все равно соврет. Как фрейлейн Муцель.

— Он не соврет.

Мертенс увидел мальчиков, нерешительно направлявшихся к нему. Он чувствовал, что их что-то гнетет и они хотят с ним посоветоваться. У него на этот счет был наметанный глаз. Но он сделал вид, что не замечает их, во всяком случае, обращает на них не больше внимания, чем на остальных. У обоих ребят отцы погибли на войне, а о Хорсте Мертенс знал еще, что мать его работает в Бильштедте на вновь отстроенной джутовой фабрике, часто в ночную смену, и тогда мальчик предоставлен самому себе. Поэтому, хотя Хорст был и прилежным парнишкой, педагоги особенно следили за его поведением.

— Господин Мертенс... — Почувствовав на себе взгляд учителя, мальчик запнулся и умолк.

— Ну что, Хорст? О чем ты хотел спросить?

Ганс Хаберланд остановился в нескольких шагах, и Хорст то и дело оглядывался на него. Наконец, кивнув на приятеля, Хорст сказал:

— У нас с Гансом вопрос к вам, господин учитель.

— Пожалуйста, спрашивайте.

— Мы хотели... Верно, господин учитель, что в нашей школе был концлагерь?

Вот он — этот вопрос. Мертенс вглядывается в глаза мальчиков,

застывшие в недоверчивом ожидании. Ганс Хаберланд, опустив голову, смотрит на него исподлобья. Солгать? Ребята, бесспорно, знали то, о чем спрашивали. Ложь подорвет доверие к учителю. Сказать правду — значит восстановить против себя коллег. Но возможно ли надолго скрыть подобное? Вправо ли мы скрывать? Старый, мучительный вопрос. Тот, кто пытается утаить истину, берет на себя часть вины. Он, Мертенс, достаточно долго разделял эту вину, разделять ее более он не желает.

— Да, нацисты превратили эту школу в концлагерь. Здесь творились ужасные дела.

— Это был детский концлагерь, да?

— Да, детский.

— Какая подлость!.. Что это были за дети, господин учитель?

Мертенс обнял мальчика за плечи, и тот почувствовал, что рука учителя дрожит.

— Иди и ты сюда. — Мертенс обнял за плечи и Ганса Хаберланда. — У нас сейчас урок физики. Но все равно. Задайте мне этот вопрос в классе, и я вам все расскажу. Поняли?

— Да, господин учитель!

3

Назавтра Мертенса вызвали к директору. «Уже? — подумал Мертенс. — Вряд ли. Наверное, по другому поводу». Войдя в кабинет директора, он увидел фрау Тэннэ, с которой познакомился как-то на родительском собрании, и сразу все понял. Однако быстро же обернулось дело!

— Учитель Мертенс. Фрау Тэннэ.

— А мы уже знакомы, господин директор. — Мертенс сделал осторожную попытку поздороваться. Женщина отвернулась.

— Господин Мертенс, вы рассказывали вчера в классе, что в нашей школе был когда-то... концлагерь?

— Да, господин директор.

— Зачем? Зачем вы рассказали детям об этих ужасных вещах?

— Они спросили меня, правда ли все это, господин директор.

— Ложь! — бросила фрау Тэннэ. — Господин Мертенс велел моему сыну задать вопрос в классе, на уроке.

— Совершенно верно, фрау Тэннэ. Но до того ваш сын задал мне этот вопрос на школьном дворе.

— Вы же знали, коллега, что не имели права удовлетворить любопытство мальчика.

— Я не имел права лгать, господин директор. Кроме того, мне было ясно, что мальчик потому и спросил, что уже кое-что знает.

— Вы запятнали честь моего мужа, — крикнула фрау Тэннэ, — Он пал за Германию! Вы облили его грязью. Вы... вы ведете в школе большевистскую пропаганду! Да-да! — И она заплакала. Морщась и всхлипывая, женщина продолжала: — Пусть я сейчас всего только фабричная работница, но у меня тоже есть честь. Я не позволю чернить память моего мужа. Я не хочу, чтобы мой сын стал... большевиком. Мы порядочные люди. И всегда были такими. Мой муж сражался и пал за Германию.

Мертенс разглядывал плачущую женщину и слушал ее упреки. Несмотря на волнение, она говорила довольно гладко и обдуманно.

— Я все потеряла. Мужа. Квартиру. Теперь... Теперь у меня хотят отнять сына. Но я этого не позволю. Не позволю, господин директор!

— Уважаемая фрау Тэннэ! Никто не помышляет отнимать у вас сына или восстанавливать его против вас. Но я понимаю ваши опасения и тревоги, и позвольте заверить, что школа вас поддержит. Мы это дело тщательно обсудим и, поверьте, не остановимся перед драконовскими мерами.

— Вот этого, — фрау Тэннэ ткнула пальцем в Мертенса, — надо гнать из школы! Он отравляет наших детей! Мы не допустим этого. Мы не потерпим такого — мы, матери!

Последние слова она опять выкрикнула как бы в величайшем волнении. Но Мертенс видел, что женщина совсем не волнуется, здесь не было истерики, она играла. Играла перед директором и перед ним, а может, и перед самой собой. Мертенс задавал себе вопрос: почему она это делает? Бесспорно, ужасно, что в школе был когда-то концлагерь, да еще детский. Но почему Тэннэ так негодовала против него, Мертенса? А не против тех, кто превратил школу в концлагерь? Он не мог объяснить себе ее поведения.

— Да, заварили вы кашу, — сказал Мертенсу директор, когда женщина ушла. — Вы же знали, что об этом неприятном деле решено молчать.

— Неприятным делом вы называете то, что здесь происходило, господин директор? Я не мог лгать моим ученикам.

— Вопрос о вашем поведении обсудит педагогический совет. А пока

передайте ваш класс коллеге Вальдесбергу.

— Не слишком ли поспешна такая мера, господин директор?

— Предоставьте это решать мне. Можете идти!

4

Медленно, в задумчивости вышел Мертенс из кабинета. Большевистская пропаганда... Отнять сына у матери... Обвинение за обвинением как гром среди ясного неба... Одно бессмысленнее другого. О, боже, в какое время мы, собственно, живем? Он, что ли, отвечает за то, что здесь был концлагерь? Как не умно держал себя директор Штининг! Этому социал-демократу достаточно услышать слово «большевизм», и он уже теряет способность здраво рассуждать.

В чем тут дело? Женщина разыгрывала комедию, это ясно как день. Но ненависть ее неподдельна. Откуда такая ненависть? Она хочет, чтобы он, Мертенс, вылетел из школы. Но что он сделал ей или ее сыну?

Фрейлейн Муцель вела урок географии. Мертенс, поколебавшись, вошел в класс.

— Простите, коллега. Мне нужно поговорить с Хорстом Тэннэ. Вы разрешите?

— Пожалуйста!

Мертенс сделал знак Хорсту.

— Поди сюда!

Мальчик вылез из-за парты и подошел к учителю. Тот пропустил его в коридор и, выйдя вслед за ним, прикрыл дверь.

— Послушай, Хорст!

Мальчуган поднял на него глаза. Мертенсу вдруг почудилось в лице его что-то фальшивое, что-то лисье, хитрое, скрытное... Но он тут же подумал: что за глупости! Это просто предубежденность. Если до сих пор я ничего подобного не замечал, так почему вдруг сейчас увидел?

— Твоя мать была здесь.

— Да, господин учитель.

— Твой отец погиб в России, верно?

— Да, господин учитель.

На лице мальчика выразилось удивление, растерянность. Он, очевидно,

ожидал услышать другой вопрос.

— Какой чин был у отца, Хорст?

— Обер-лейтенант, господин учитель.

— Обер-лейтенант. Так, так. А до войны он был эсэсовцем, верно?

— Нет, господин учитель, штурмовиком. Оберштурмфюрером.

— Гм! А когда отец вступил в штурмовые отряды, тебе известно?

— С самого... С самого начала, господин учитель.

— Что значит с самого начала?

Хорст помолчал, подумал.

— С тех пор, как Адольф Гитлер стал рейхсканцлером?

— Да, господин учитель.

— А кем был отец по профессии?

— Он всегда был солдатом.

— С самого начала?

— Да, господин учитель. Мне мама рассказывала.

— Где же он был солдатом? Он жил дома?

— Нет, господин учитель, не всегда. Он жил в Вестфалии. И долгое время в Баварии.

— В казармах?

— Нет, он был начальником охраны.

— Так. И ты знаешь, где он был начальником охраны?

— Да, господин учитель. — Мальчик опустил голову. — В концлагерях. Он сторожил арестованных.

Теперь все стало на свои места. Мертенс глубоко вздохнул. Но облегчения не почувствовал. У него было ощущение человека, спасшегося от смерти после тяжелой операции, но затем с ужасом обнаружившего, что рана по-прежнему гноится.

— Хорошо, мой мальчик. Ступай в класс.

По поводу внеочередного педагогического совета, созываемого директором, в школе поползли всякие слухи. Не только среди учителей, но

и среди школьников по секрету сообщались «последние новости». Правдоподобные и вздорные. Особенно отличался Ганс Хаберланд; он не жалел красок, описывая детский концлагерь и жуткие дела, творившиеся там. И как всегда бывает, когда о чем-то не говорят открыто, слухи вырастали в нечто чудовищное, уродливое. Вдобавок кто-то придавал им определенное направление. Вскоре уже сообщали как абсолютно достоверный факт, будто Мертенс был одним из мучителей, в том самом детском концлагере. Возможно ли, Мертенс, этот милейший человек? От которого никто плохого слова не слышал? Да-да, фашисты искусно маскируются. Самые гнусные палачи прикидываются теперь кроткими человеколюбцами. Иначе почему бы Мертенсу велели вдруг передать свой класс другому педагогу? Совершенно ясно, он был фашистским эзекутором... А может, и похуже... Вот и верь после этого людям! Каков Мертенс, а? Кто бы мог подумать! Но, верно, это еще только цветочки, ягодки впереди...

Да, в этом никто не сомневался. Учителя, собравшиеся на педагогический совет, обменивались многозначительными взглядами и держались чопорно и официально, словно им предстояло вершить суд над злодеем, затесавшимся в их ряды.

Курта Мертенса поразило, что кое-кто из коллег отворачивался от него, не отвечая на приветствие. Его протянутая рука повисала в воздухе. Так вот, значит, как обстоит дело. Да, он нарушил принятое сообща решение. Однако оправдывает ли это их отношение к нему? Ведь до сих пор все питались слухами и ничего достоверного не было известно; он только сейчас собирается сообщить документально подтвержденные факты о невыразимо тяжком периоде в истории их школы. Пусть все знают, какие преступления творились в этих стенах. Надо покончить со страусовой политикой, покончить раз и навсегда.

Директор Штининг, пожилой, холеный мужчина с темными кустистыми бровями и густой белой шапкой волос, обвел серьезным, почти скорбным взглядом лица сидевших за длинным столом членов педагогического совета и тихим, едва слышным голосом начал:

— Уважаемые коллеги, я пригласил вас на этот внеочередной совет, вынужденный к тому неким весьма неприятным инцидентом.

«О, боже, почему он так вцепился в слово «неприятный?!» — подумал Мертенс, пристально взглянув на директора.

Тот, однако, избегая взгляда Мертенса, смотрел куда-то в пространство.

— Коллега Мертенс рассказал своим ученикам, что наша школа была однажды концлагерем для детей, в котором творились невообразимые

зверства. Разумеется, все мы знаем, что в минувшие времена нацизма нашей школой, к несчастью, злоупотребили пагубные, я бы сказал, демонические силы, причинившие пароду столько горя и страданий. Однако, уважаемые коллеги, мы все сообща обязались не возвращаться более к этой печальной главе, забыть о ней. Хотя бы из чувства элементарной чистоплотности. Мы учительствуем в этой школе, которая служила однажды тюрьмой, и вполне понятно, что каждый порядочный педагог не желает, чтобы гнездо, в котором он волею обстоятельств оказался, было замарано. Коллега Мертенс, по-видимому, другого мнения.

— Вот именно! — воскликнул Мертенс.

— Я сожалею об этом, — с пасторской кротостью продолжал директор. — Сожалею безмерно. Что касается меня, уважаемые коллеги, то, думаю, нет надобности заверять вас, что я всю жизнь был непримиримым противником фашизма. Недаром меня отстранили от педагогической деятельности. Почти тридцать лет я состою в социал-демократической партии и полагаю, что никто не бросит мне упрека в желании завуалировать или, того пуще, извинить бесчеловечность фашизма. Но здесь налицо исключительный случай. В конце концов я полагаю, что все мы нуждаемся в покое, душевном покое, без которого никто из нас не в состоянии выполнять свои обязанности. От нас зависит, уважаемые коллеги, чтобы дела, подобные тем, какие происходили в недавнем прошлом, не повторились.

Мертенс стиснул зубы. Ему хотелось вскочить и крикнуть, что все они, и в первую очередь директор, своими все сглаживающими маневрами опять прокладывают нацистским преступникам путь к власти. Но он понимал, что надо держать себя в руках, сохранять спокойствие, иначе ничего не докажешь, хотя в конце концов он располагает достаточно бесспорным и убедительным материалом, который скажет сам за себя.

— Фрау Тэннэ, — продолжал директор, — мать ученика из класса коллеги Мертенса, явилась ко мне с жалобой на коллегу Мертенса. Она обвинила его в том, что он отравляет ее сына большевистским ядом, рассказывает о всяких ужасах и вносит смуту в его душу. Все это, уважаемые коллеги, тяжкие упреки. И если мы не будем бдительны, их вскоре предъявят всем нам, всей нашей школе. Думается, я поступлю правильно и вы со мной согласитесь, если прежде всего предоставлю слово коллеге Мертенсу, дабы он мог высказаться по поводу предъявленных ему обвинений. Прошу вас, colega.

Мертенс поднялся, но говорить начал не сразу: он обвел глазами поочередно, начиная с директора, всех сидящих за длинным столом,

задерживаясь на каждом в отдельности, и подумал, что среди этих людей он самый молодой, хотя ему уже далеко за тридцать. Он не сомневался, что некоторые из коллег сочувствуют ему, но понимал, что есть тут и враги, — те, кто опасается, как бы из-за него, Мертенса, они не оказались выбиты из привычной колеи.

— Уважаемые коллеги, прежде чем перейти к делу, несколько слов о фрау Тэннэ, ее муже и ее сыне. Хорст Тэннэ — хороший, любознательный ученик, хотя домашние его условия, к сожалению, неблагоприятны: отец погиб на войне, мать работает на фабрике, и вне школы мальчик остается без достаточного надзора. Отец, Франц Тэннэ, был штурмовиком и служил начальником охраны в различных концлагерях.

— Ну и что же? — вставил преподаватель Хольц, худощавый человек лет шестидесяти, «национал-реакционер», как он сам себя называл, член Немецкой партии. Мертенс знал, что этот старый сухарь терпеть его не может.

— Ну и что же?! — откликнулся Мертенс. — А то, уважаемый коллега, что именно этим, вероятно, и объясняется, почему фрау Тэннэ не желает, чтобы ее сын знал правду о концлагерях.

— Ее муж погиб на войне.

— Да, в России. Он был обер-лейтенантом. Но до войны служил в охране концлагерей, причем не рядовым охранником, а оберштурмфюрером.

— Вы говорите, как настоящий коммунист, — заметил преподаватель Вальдесберг. Всем было известно, что Вальдесберг гитлеровской весной тридцать третьего года в качестве так называемой «мартовской фиалки» примкнул к нацистам.

— Мне непонятно, что вы имеете в виду, коллега. До сих пор я излагал только факты.

— Старая песня! — Вальдесберг пренебрежительно отмахнулся.

— Я был бы вам признателен, если бы вы выразились точнее, коллега. Что вы понимаете под коммунизмом?

— Бросьте агитировать! Отвечайте на предъявленные вам обвинения. — Вальдесберг разыграл возмущение, и, как всегда, когда он выходил из себя, очки у него сползли на кончик носа. Энергичным движением он поправил их.

Мертенс спокойно улыбнулся.

— Знаю, что для вас, коллега, все, с чем вы не согласны, — это

коммунизм. С такими принципами люди вашего толка устраиваются в жизни очень удобно.

— Какая наглость! — Вальдесберг завертелся во все стороны, как бы ища защиты и поддержки у присутствующих.

Кое-кто откашлялся, словно собираясь заговорить. А фрейлейн Муцель просветленными глазами посмотрела на Мертенса. Правда, она не совсем понимала, что он хотел сказать, но была от него в восторге.

— Марать собственное гнездо! Безобразие! — крикнул Вальдесберг.

— Замарали нашу Германию, пожалуй, другие. А вы?.. Вы допустили, чтобы ее замарали. Известный прием: виноват не убийца, — убитый.

— К делу, коллеги, к делу! — призывал директор.

Мертенс вглядывался в лица сослуживцев и видел не одну только ненависть: на многих лицах светилось дружелюбие и одобрение. И он спокойно продолжал:

— Поверьте, мне не легко говорить о чудовищных злодеяниях, совершенных в стенах нашей школы в гитлеровские времена.

— А мы этого и не желаем знать! — буркнул «национал-реакционер» Хольц.

— Вы не хотите знать, коллеги, что в апреле сорок пятого, то есть незадолго до поражения, здесь было повешено двадцать детей?

— О, боже! — вырвалось у фрейлейн Муцель.

— Каких детей? — невозмутимо спросил Хольц. — Немецких?

— Нет, коллега, — русских и польских. В возрасте от пяти до двенадцати лет.

— Где вы раскопали эти страшные сказки? — Хольц ехидно ухмыльнулся.

— В судебных протоколах Нойенгаммского процесса от двадцать четвертого апреля тысяча девятьсот сорок шестого года, к вашему сведению. Вот они. Я зачитаю отдельные выдержки. — Мертенс раскрыл папку и взял несколько листков.

— Нам неинтересно слушать вашу декламацию! — Вальдесберг энергично махнул рукой — Оставьте свои откровения при себе, молодой человек!

— Уважаемые коллеги! — вмешался в перепалку учитель Дрессель, несколько «пронафталиненный» мужчина уже в годах. — Так нельзя. Я терпеливо слушал весь этот разговор и считаю, коллега Вальдесберг, что

благородным ваше поведение никак не назовешь.

— Да что вы говорите!

— Вы, может, и меня зачислите в большевики? Пожалуйста, если это вам доставит удовольствие. Но я требую дать коллеге Мертенсу возможность высказаться до конца. И если у него есть подлинные материалы судебного процесса, пусть он их зачитает. Что это вообще за метод спора, коллеги?

— Да-да, пусть коллега Мертенс зачитает эти материалы, — потребовала и фрейлейн Муцель.

Курт Мертенс показал папку с документами.

— Протокол судебного процесса по делу коменданта Нойенгаммского концентрационного лагеря.

— Подлинник? — спросил Хольц.

— Да! За подписью судей.

— Откуда он у вас?

— Это сейчас не имеет значения, — сухо ответил Мертенс. — Лучше послушайте. Я зачитаю ту часть, которая относится к детскому концлагерю, находившемуся в нашей школе:

«Допрос свидетеля оберштурмбаннфюрера доктора Тржебинского.

Председатель суда. Перехожу теперь к опытам профессора Хейсмейера.

Свидетель. Он был всего лишь доктором, а не профессором. Он производил эти опыты, чтобы получить звание приват-доцента, и целью их было не излечение больных. Это были чисто научные эксперименты. Он вводил детям в вену или под кожу туберкулы...»

— О, господи, это же невероятно! — в ужасе воскликнула фрейлейн Муцель.

Курт Мертенс продолжал:

— «Председатель суда. Перехожу к детям. Когда впервые возник разговор о судьбе детей в случае вражеской оккупации?

Свидетель. Это было, кажется, в конце апреля. В тот день, примерно между десятью и одиннадцатью часами, ко мне в отделение пришел Туман; вид у него был мрачный, «Крепись, — сказал он. — Должен сообщить не очень приятную для тебя вещь. Паули (комендант Нойенгаммского концлагеря) велел тебе передать: из Берлина получен приказ, относящийся к воспитателям и детям. Тебе надлежит ликвидировать детей посредством газа и ядов».

— Идиотская злодейская басня! — Тощий Хольц захихикал блеющим смехом.

— Прошу отметить, что господин Хольц назвал судебный протокол злодейской басней, — сказал Мертенс.

Наступила глубокая тишина. Замолчал и разъяренный Хольц.

Мертенс продолжал читать:

— «Детей в школе на Булленхузердамм повели в бомбоубежище. Они несли свои вещи, съестное и самодельные игрушки. В бомбоубежище расселись по скамьям и болтали друг с другом, ничего худого не подозревая. Дети были в возрасте от пяти до двенадцати лет, мальчиков и девочек поровну. Почти все говорили на ломаном немецком языке с польским акцентом. Через некоторое время вошел шарфюрер Фрам и велел детям раздеться. Дети забеспокоились, но им сказали, что сейчас будут делать прививки от тифа».

Мертенс поднял глаза. Все смотрели в сторону, избегая его взгляда. Хольц спичкой чистил ногти. Фрейлейн Муцель прикрыла глаза рукой. Мертенс продолжал:

— Свидетель доктор Тржебинский, то есть бывший оберштурмбаннфюрер, показал далее:

«Я вошел в подвал, где совершалось повешение, и увидел висевшую на вбитом в стену крюке девочку. Рядом за перегородкой лежали три детских трупа. Я не встретил Фрама и пошел дальше по зданию. В петлях, привязанных к отопительной трубе, висели четверо мужчин. Я позвал Фрама, и он открыл следующее помещение. Там лежали остальные дети, и у каждого на шее был след от веревки. Я осмотрел всех для установления факта смерти. Затем вернулся назад, где были повешены мужчины, и тоже их осмотрел...»

— Я протестую! — Хольц встал. — Меня воротит от этого копания в старых судебных делах. Если чтение будет продолжено, я уйду отсюда.

— Ну и уходите поскорей! — бросил ему учитель Шторман. — На мой взгляд, вы только мешаете. Вероятно, вам есть что скрывать.

— Что вы хотите сказать этим? Вы, вы!! Я никому не позволю подозревать меня в чем-нибудь!

— Многоуважа-аемый коллега Хольц! — Учителя Манке все в школе называли «папаша Манке» потому, что он был стар, потому, что очень растягивал слова, да к тому еще носил бороду, что было весьма необычно. — Бо-ог свидетель, вы и в са-амом деле ведете себя стра-анно. Горячитесь, и никто-о не понима-ает, что-о, в сущности, ва-ас волнует. А

вы са-ами-то, по кра-айней мере, по-нима-аете?

Директор Штининг постучал линейкой по столу, как делал это, когда в классе поднимался шум. Долго и энергично стучал он, пока не воцарилась тишина.

На лбу костлявого Хольца вздулись вены, в глазах горела глухая ненависть.

— Господин директор, вы ответственны за то, что нас заставляют здесь выслушивать. Надеюсь, вам это ясно. Я, я возмущен...

— Наконец-то! — послышался голос.

— Это мерзко, гнусно... преподносить нам такие вещи... Если действительно процесс имел место, значит, виновные понесли наказание, дело закончено... Просто скандал, что судебные протоколы используют для большевистской пропаганды... Я спрашиваю вас, почему вы терпите нечто подобное в отношении нашей школы?

Вальдесберг поддержал его:

— Социал-демократы утверждают при каждом удобном и неудобном случае, что с коммунистами у них нет ничего общего!

— Ну неужели нельзя обойтись без этого набившего оскомину жупела, — захныкал Дрессель.

— С помощью этого жупела легче всего предать забвению преступления против человечности, — резко бросил Мертенс. — Старый, как мир, трюк; но он имеет успех только у отпетых трусов.

— Коллеги! Коллеги! Так дальше нельзя... С одной стороны, надо признать, что коллеги Вальдесберг и Хольц мешают ходу обсуждения, но, с другой стороны, и коллеге Мертенсу не хватает необходимой выдержки. Речь идет о нашей школе, о спокойствии и порядке в ней, а не о бывших судебных процессах. Я вижу, что мы не придем ни к какому решению, и поэтому закрываю совещание. Дело будет передано в высшие инстанции.

Мертенс, вспыхнув, повернулся к директору:

— Стало быть, вы опять отступаете перед реакционерами и мракобесами?.. Но вам не удастся заглушить голос правды только потому, что господам, как вот эти... — он кивнул в сторону Вальдесберга и Хольца, — того хотелось бы. Я обращусь к общественности, господин директор!

— Это ваше дело, но сейчас прошу вас замолчать, — ответил Штининг. — Совещание закрыто!

На следующий день школьного учителя Курта Мертенса арестовали по подозрению в краже судебных протоколов. Целых два года просидел он в следственной тюрьме. Как ни настаивал Мертенс на судебном разбирательстве, оно так и не состоялось. За недостатком улик его освободили. Но к этому времени пресловутое «экономическое чудо» так вскружило всем головы, что о делах, происходивших в школьном здании на Булленхузердамм, вскоре вовсе позабыли.